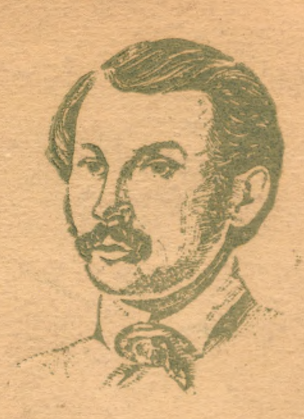






БЕСТУЖЕВ /МАРЛИНСКИЙ/

С. ГОЛУБОВ





А. А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

Жизнь Замечательных Людей
СЕРИЯ БИОГРАФИЙ ПОД РЕДАКЦИЕЙ ИОСИФА ГЕНКИНА

БЕСТУЖЕВ (МАРЛИНСКИЙ)

С. ГОЛУБОВ

3-4
ВЫПУСК
(123-124)

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ
ОБ'ЕДИНЕНИЕ
МОСКВА
1938

ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!

Редакция «ЖЗЛ» просит Вас, прочтя эту книгу, прислать краткий отзыв о ней (тема, содержание, язык, оформление) и Ваши пожелания по дальнейшему улучшению книг нашей серии.

Пишите по адресу: Москва 6, 1-й Самотечный пер., 17, редакция «Жизнь замечательных людей».

Редакция

О Бестужеве-Марлинском у нас знают. Одним он известен, как видный участник декабристского восстания, — Бестужев просто, не Марлинский. Другим — именно как Марлинский, некогда прославленный и давно позабытый родоначальник русской прозаической повести. И, действительно, этот замечательно многосторонний человек оставил резкий след в самых различных областях общественной деятельности, которую с темпераментом горячей молодости развертывала буржуазная интеллигенция первой четверти прошлого века.

Ходовые представления о Бестужеве-Марлинском идут от большого интереса советского читателя к его эпохе, — к «удивительному времени наружного рабства и внутреннего освобождения» (Герцен). Любя Пушкина и Грибоедова, наш читатель любит и их друзей. Изучая прошлое русской революции, он запоминает рядом с Рылеевым и Каховским фигуры их ближайших товарищей. Знакомясь с историей русской литературы начала XIX столетия, он то и дело наталкивается на произведения, которые давным-давно вышли из круга обиходного чтения. И везде— Бестужев-Марлинский. Уже ровно сто лет так или иначе помогает он формированию взглядов на прошлое русской общественной мысли.

Однако именно этот попутный, боковой характер сведений о Бестужеве-Марлинском лишает его образ целостности и ясности. Сведения собственно о нем, докатившиеся до нашего времени, похожи на куски давно побледневшей и запутавшейся в пересказах легенды, на стершийся от старости исторический

анекдот. Определить самостоятельную ценность Бестужева как писателя, установить его подлинное значение как общественно-политического деятеля, оживить разные стороны его туманного образа — задача настоящей книги.

В литературоведческих исследованиях, в работах о декабристском движении, наконец, в художественных произведениях советских авторов уже достаточно обстоятельно раз'яснена и талантливо показана историческая обстановка, которая породила и убила Пушкина, Грибоедова, Рылеева, Полежаева. В этой же самой обстановке возник, созрел и погиб Бестужев-Марлинский. Естественно, что с основными чертами исторических условий, в которых он действовал, подготовленный советский читатель хорошо знаком.

Это обстоятельство позволило развернуть в настоящей книге общеисторический фон и картину среды, из которых выступает Бестужев-Марлинский, с прямым расчетом на то, что важнейшие социально-политические и историко-экономические особенности описываемой эпохи читателю уже известны.

Книга, которая пытается на место тусклой легенды поставить образ живого человека со сложной историей внутреннего развития, деятельности и общественных отношений, должна оперировать множеством фактов. Этого рода данные изложены, насколько позволил размер книги, полно и, во всяком случае—точно. В частности, приводимые в книге диалоги представляют собой иногда сокращенное, очень редко дополненное воспроизведение подлинных разговоров, которое абсолютно близко к текстам, зафиксированным в делах процесса декабристов, мемуарах современников, письмах и других материалах подобного рода.

Автор.

ОКТЯБРЬ 1797 — АВГУСТ 1806

Человек родится в мир
равен во всем другому.

Радищев.



Восемнадцать крепостных душ... Это и много и мало. Много, потому что это—восемнадцать живых людей, каждый из которых — мир, полный мыслей, чувств и ощущений. Мало, потому что души эти жили среди песков и болот Ново-Ладожского уезда и приносили своему господину дохода не больше полутораста рублей в год. Обладателем смиренных, трудолюбивых, но почти бездоходных восемнадцати душ был «старинный российский дворянин», отставной артиллерии капитан Александр Федосеевич Бестужев.

Наперекор феодальной спеси века капитан был женат на простой нарвской мещанке Прасковье Михайловне, выходившей его от жестоких ран, полученных во время последней шведской войны. Прасковья Михайловна оказалась плодовитой супругой. В 1791 году она родила сына Николая, через два года — дочь Елену, еще через пять — сына Александра, а потом— пошло и пошло. Скоро составилась вокруг Александра Федосеевича большая семья, и доход, поступавший с села Сольцы, никак не соответствовал увеличившимся до крайности расходам. Александр Федосеевич даже и не вспоминал о том, что он помещик, — такой эфемерной была его связь с родовой землей и крепостными душами. Уже родились Мишель, и Петр, и Павел, всего со старшими пять сыновей, пять молодых Бестужевых, — точное воспроизведение геральдического символа, обозначенного в фамильном

бестужевском гербе: золотой пятилистник на черном поле щита. Побеги древнего рода были любезны отцовскому сердцу, — дороже всякого золота. Но их окружало черное поле грозной нужды. Александра Федосеевича вывел из беды граф Александр Сергеевич Строганов.

Заняв должность правителя канцелярии Академии художеств и Публичной библиотеки, которые находились под начальством этого знатного и несметно богатого вельможи, Бестужев попал в атмосферу приятную и свежую. Дух любви к искусству и уважения к знанию окружал мецената и его сотрудников. Помогая Строганову в пополнении его знаменитой картинной галлереи, минералогической и других коллекций, Александр Федосеевич попутно за бесценок приобретал в собственность дублеты различных редкостей. Скоро кабинет его обширной казенной квартиры на Васильевском острове стал похож на музей, и библиотека удивляла друзей подбором книг и многотомностью.

Александр Федосеевич был от природы чрезвычайно деятелен. Служба при Строганове оставляла ему немало досуга, и он с пользой употреблял его. В кабинете — блеск стекол, которыми прикрыты коллекции минералов, из-за зеленых занавесей с полок высоких шкафов глядят тисненые корешки бесчисленных книг. Над бюро склонился пудреный парик человека, с челюстью, обвязанной черным сукном. Александр Федосеевич пишет. Смелые мысли толпятся в его голове, как солдаты, живо пристраиваясь одна к другой.

Александр Федосеевич давно уже сочинял книгу под названием «Опыт военного воспитания». Отрывки из этого труда он часто читывал у себя в кабинете друзьям.

Русские юноши должны ездить верхом и ходить пешком, плавать, бегать, носить тяжести, любить холод, ненавидеть лакеев, читать классиков, решать геометрические задачи, преследовать человеческую низость тем упорнее, чем выше она поставлена светом.

Не все одобряли смелый дух книги. Многие с ужасом затыкали уши. Старый приятель автора — И. П. Пнин предложил поднести «Опыт» наследнику престола, великому князю Александру, либеральные настроения которого казались несомненными. Александр Федосеевич решился; А. С. Строганов помог. Бестужев был проведен в дворцовые покои наследника, имел с ним беседу и получил благосклонный совет — из осторожности не печатать «Опыта» отдельной книгой, а выпускать его в свет частями. Для этого надо было издавать журнал. Наследник обещал поддержать издание журнала ежегодной субсидией в две тысячи рублей. Когда Бестужев уходил из дворца, его грудь содрогалась под напором слез благодарности и радостного восторга: «Наконец-то, истинно просвещенный государь готовится воссесть на российский трон! О, счастливое отечество!..»

«Санкт-Петербургский Журнал» начал выходить в свет ежемесячными книжечками с января 1798 года. По виду это было обыкновенное литературно-публицистическое издание тех времен, с множеством неподписанных авторами статей и сантиментальных стихотворений. Все, что печаталось в журнале, выходило из под пера его издателей — Бестужева и Пнина. «Опыт военного воспитания» аккуратно появлялся в каждой книжке.

Читателю легко было разгадать конечный вывод рассуждений обоих авторов:

— Власть тиранов — преступление перед природой, и деспотизм — попрание ее священнейших прав!

Журнал яростно восставал против крепостного рабства, ратовал за политическое равенство и даже, как Пестель через много лет, — решительно возражал против «аристократии богатств». Наследник читал книжки журнала и аккуратно высылал издателям деньги. Недаром его ближайший друг, молодой граф Павел Строганов, сын вольтерьянца Александра Сергеевича, слыл революционером. Париж 1789 года видел его, под именем Павла Очера, на Марсовом поле в день Федерации; его любви искала прекрасная Теруань де Мерикур; Барнав выдал ему диплом от клуба якобинцев, и красный фригийский колпак в течение многих месяцев не сходил с его аристократической головы.

11 марта 1801 года император Павел был убит. Александр I сел на трон, и уже с 13 марта негласный «Комитет общественного спасения» (гр. Павел Строганов, Н. Новосильцов, гр. В. Кочубей, кн. А. Чарторыжский) начал действовать. Новый император советовался со своими молодыми друзьями и подписывал один либеральный указ за другим.

На петербургских улицах люди бросались на грудь друг другу. Целовались незнакомые. Город задыхался от об'ятий, кипел радостными восклицаниями, захлебывался восторгом. Воздух был звонок и чист. Чахлая петербургская весна выглядела пышной красавицей. Казалось, что перед Россией открываются «двери нового блаженства» и уже никогда больше не захлопнутся. Открыло свои публичные заседания Вольное общество любителей словесности, наук и художеств; Бестужев и Пнин были его членами. Александр Федосеевич деятельно готовил свой «Опыт» к выпуску отдельной книгой.

А между тем работа над превращением России в кордегардию не прекращалась. Румяный, как свежая немецкая булка, и упрямый, как памятник с берлинской Пуппен-аллеи *, Александр принял эту традицию вместе с троном и вовсе не собирался от нее отказываться. На широких просторах потешных Марсовых полей попрежнему совершались великолепные священнодействия парадов. Но этого мало. Теперь даже генералы ложились на землю, чтобы лучше видеть равнение солдатских ног. Даже фельдмаршалы сгибали свои тучные фигуры, чтобы перчатками поправлять безукоризненный строй у его основания. Штыки, вздернутые кверху, сверкали гладкими стальными лентами. Помпоны на киверах, высоких, как пожарные каланчи, не шевелились ни при ходьбе, ни при ветре. Подклеенные к широким скулам бакенбарды были одинаково черны.

— Хорошо, — говорили знавшие царский вкус гвардейские танцмейстеры в густых эполетах, — хорошо! Только... все-таки дышат мерзавцы...

Барабаны били походную дробь. Зеленые улицы шпицрутенов падали на голые спины, и из спин летели клочья окровавленного мяса.

— Не розог, — кричали остервеневшие полковники, — не розог сюда, а лесу!

Прутья, размоченные в святой воде благочестивых молебствий, свистели в казармах, на торговых площадях, и уже вся Россия начинала превращаться в одну гигантскую казарму. Мрачное царствование «курносого злодея» постепенно воскрешалось под державой его ангелоподобного сына.

---

* Аллея, украшенная мраморными статуями курфюрстов и королей из династии Гогенцоллернов.

Кабинет старого Бестужева часто оставался пуст. Александра Федосеевича так занимали служебные дела, что он почти не бывал в нем. Кабинет сделался местом постоянного пребывания Саши. Мальчик знал здесь все: каждую книгу в библиотеке, каждый камешек в минералогической коллекции, автора каждой картины и особенности любого инженерного или фортификационного модельного образца. Когда в кабинете, по широким турецким диванам рассаживались вечерние гости Александра Федосеевича, Саша всегда оказывался тут же, в высоких вольтеровских креслах. Гости дымили из длинных чубуков, которые ловко раскуривал для них белобрысый Тихон. Они говорили без принуждения, рассказывали занимательно, спорили без желчи и раздражения — Саша слушал и запоминал. И чего только здесь ни услышишь! Урал, Яик, рудники, варницы, шахты и штольни, золото и алмазы, яшма и порфир, — все это плывет перед глазами сонного мальчика, сливаясь в волшебную картину невиданных чудес. Грезы переходят в сон — крепкий и бездумный.

Брат Николай учится в Морском корпусе. Он уже прочитал всю отцовскую библиотеку. Говорят, что он очень умен. Почему этого никто не скажет о Саше? Часто называют его одаренным мальчиком, способным, даже талантливым. Но никто никогда не скажет просто, как о брате Николае:

— Умен!

Если случается Саше заговорить о чем-нибудь очень серьезном, друзья отца весело смеются. Толстяк-баснописец, Александр Ефимович Измайлов, норовит ущипнуть:

— Вишь, завирашка какой... Фертик-то не без блесток вышел!

И — все. Это обидно, очень обидно, Однако горь-

кие наблюдения решительно забываются, когда Саша с утра попадает в пустой отцовский кабинет и, взобравшись с огромной книгой в руках на кресло, начинает читать. За Сашей, как тень, следует Мишель. Он становится позади кресел и жадно разглядывает открывающиеся в книге, по мере того как Саша читает, гравюры. Костюмы и жилища разноплеменных народов, оленья упряжка, байдарка, алеут, киргиз... Мишель не смеет торопить Сашу. Если брат Николай умен, потому что он старше Саши, то Мишель глуп, так как он младше, и сам скромный Мишель это хорошо знает. Саша любит быть первым, хотя бы позади оставался только брат. Поэтому часто, с самым докторальным видом, он об'ясняет Мишелю, что за вещи хранятся на этажерках: минералы, граненые камни, редкости из Помпеи и Геркуланума, вазы и чаши с Екатеринбургской фабрики. Раскрытый рот Мишеля доставляет ему удовольствие. Александр Федосеевич невольно потворствует сашиной заносчивости. Ключ от кабинета доверен ему. Он имеет право взять любую книгу, но читать может только те, на которые указал отец. По правде сказать, последнего требования Саша не выполняет. «Видение в Пиренейском замке», «Ринальдо Ринальдини», «Тысяча и одна ночь» — эти книжки Саша прочитал тайком от отца, лежа под кустами в саду.

Однажды, когда брат Николай пришел из корпуса, Александр Федосеевич позвал его к себе вместе с Сашей. Поставив Сашу между колен, а Николая обняв рукой за шею, он сказал:

— Вот что, друзья, надобно брать вам уроки у профессоров Академии художеств. Каждое воскресенье — урок. Иной раз здесь — дома, а почасту и в Академии.

Новое дело сразу захватило Сашу. Академические

профессора были сухи и скучны, от них воняло водкой и луком, но мраморный мир античных образов, который они раскрывали, был необычайно завлекателен. Рисование целый год оставалось сашиной страстью. Потом он остыл, и вот как это случилось. Однажды старшая сестра Лешенька заметила странную особенность сашиных копий. Все они были похожи на оригиналы, но похожи как-то карикатурно. Зевес был Зевесом, но только пьяным, и Сократ напоминал об'евшегося блинами попа. Лешеньке не много трудов стоило сочинить по этому поводу ядовитую эпиграмму на Сашу:

Он, к модным знаниям стремя дары натуры,
Был мастер рисовать одни карикатуры.

Саша кипел гневом, повторяя эпиграмму, и вдруг потерял вкус к рисованию. Лаокоон, которого он готовил к именинам Александра Федосеевича, так и остался неоконченным. Впрочем, уже из наброска было видно, что Лаокоон собирался на сашиной копии танцовать тампет.

Лето 1807 года Бестужевы провели на Крестовском острове, на маленькой даче между двумя просеками, возле прудов и холмика, называвшегося Куллерберг. При даче был сад с чугунными скамейками и дорожками, посыпанными красным песком. Крестовский остров казался в те времена пустыней. Кроме великолепного дворца князей Белосельских-Белозерских, которым принадлежал остров, да полсотни крестьянских дворов и дач, на нем почти ничего не было, и от самого Куллерберга до взморья тянулся еловый лес. Несколько жалких речонок, с качающимися пешеходными мостиками, пересекали остров.

Словом, все было так, как обычно бывало в прочитанных Сашей «разбойничьих» романах.

Детские игры тоже были разбойничьими. Саша, единогласно признанный атаманом, долго и мучительно колебался, прежде чем назваться Карлом Моором или Ринальдо. Однако он так яростно ненавидел немцев, что в конце концов дело бесповоротно решилось в пользу Ринальдо. В жаркий полдень шайка славного разбойника смело заняла островок, сообщавшийся с берегом посредством маленького пловучего плота. Но сбиры (полиция) св. Германдаты окружили храбрецов, которым, по меньшей мере, грозила многолетняя тюрьма. Ринальдо был принужден отступить. Куда? Конечно, на плот. Сигнал подан. Мишель кинулся через кусты, но кусты хватали его за ноги, и он два раза упал. Когда ему удалось освободиться из чащи и выбежать на берег, плот уже отчалил. Мишель замер в ужасе.

Грозный голос Ринальдо донесся с плота:

— Прыгай, если любишь жизнь!

Мишель любил жизнь и прыгнул, но неудачно. Ноги его скользнули по мокрой доске плота, и он опрокинулся. Затылок его ощутил страшный удар — все кончилось.

Когда Мишель очнулся, он увидел себя на берегу. В том месте, где лежала голова раненого разбойника, песок был красен от крови. Ринальдо стоял на коленях, бледный, и целовал Мишеля.

— Я уже думал, что ты умер, — сказал этот удивительный разбойник, — вот было бы горе для батюшки с маменькой! В твоей ране виноват я, — признаюсь, но зато, Мишель, ты не попал в руки сбиров, — подумай только! Уж это было бы вовсе стыдно. А так ты все-таки жив и, кроме того, вел себя прекрасно.

Он поднялся с колен и обратился к разбойникам:

— Братцы! Я горжусь этим молодым храбрецом и делаю его своим помощником.

После этого случая почти никому уже не приходило в голову сомневаться в том, что Саша — подлинный Ринальдо. Вскоре это еще раз блестяще подтвердилось.

Разбойники выехали на лодке в набег. Лодка шла вниз по речке, обтекающей остров, и атаман стоял у руля, подавая команды. Вдруг днище лодки грозно затрещало. Суденышко повернулось боком к течению, и вода живым ключом побежала через пролом прямо под ноги разбойникам. Лодка сразу огрузла и стала быстро оседать. Кто-то пронзительно крикнул, маленький Петруша заплакал; разбойники оказались страшными трусами, и каждый из них думал только о своем собственном спасении. Один Ринальдо не растерялся: он сорвал с себя курточку и заткнул пробоину в днище.

— К берегу, греби к берегу, — командовал он.

Но гребцы, подняв весла кверху, махали ими над водой, бессмысленно восклицая:

— Ух! Ух!

Громче всех продолжал кричать Петруша. Тогда Ринальдо схватил его и высоко поднял над головой:

— Жалкий трусишка! Ежели ты не перестанешь кричать, я брошу тебя в бездну!

И все смолкли. С силой заработали весла. Лодка благополучно приткнулась к берегу.

К концу лета Саша был первым из разбойников Крестовского острова и немало этим гордился. Он всегда и во всем любил быть первым, но только здесь это определилось как несомненный факт. Положение было завоевано и казалось несокрушимо прочным. Однако осенью все неожиданно изменилось.

АВГУСТ 1806—МАРТ 1810

Есть в действии начало бытия.

Гете.

ФАСАД огромного здания с фронтоном, украшенным двуглавым орлом, с колоннами и статуями на пышном под'езде, выходил на Большую Неву, за Масляным буяном. В Горном корпусе, который считался благоустроеннейшим учебным заведением в России, числилось около двухсот кадетов; половина из них состояла «волонтерами», то есть находилась частично на собственном, а не на полном казенном содержании. Саша Бестужев поступил в корпус «волонтером», с платой по 250 рублей в год, и на этом основании полагал себя кадетом только наполовину. Однако в тот же самый день, когда Александр Федосеевич сдал его с рук на руки командиру корпуса Казадаеву, старичку в синем фраке, с крестом на шее и с полным розовым лицом, — над мальчиком было проделано все, с чего обычно начинается самое настоящее кадетское рабство. Корпусный маркшейдер — эконом Гец взял мальчика за рукав и быстро повел из командирского кабинета в подземелье. Гец широко шагал своими длинными немецкими ногами по коридорам и лестницам; Саша еле поспевал бегом. В подземелье, сыром и душном, посреди клеток, расставленных вдоль стен, Сашу посадили на барабан. Солдат с нашивками и без левого глаза живо срезал темные кудри с сашиной головы и, выбрав из разных клеток однобортный сюртук толстого серого сукна с черным воротником, серый же суконный жилет, короткие серые штаны, белые нитяные чулки и тяжелые башмаки без ушков, положил все это перед мальчиком на пол.

— Извольте переодеться.

Гец подтолкнул сапогом казенное добро к барабану.

— Быстро одевай, — сказал он так сурово и холодно, что Саша вздрогнул.

Затем его привели в столовую, где за столами необозримой длины сидели такие же, как он, серые мальчики. Два солдата разносили в ушате зловонный суп. Третий тащил в черном горшке дымящийся сбитень. Это — все. После обеда в столовую вошел Гец. Многие мальчики побледнели. Гец оглядел серые шеренги жестокими глазами.

— Сегодня суббота, — выговорил он с каким-то мрачным удовольствием, — поэтому сегодня я буду сечь. Как и всегда, я буду сечь у себя на квартире. Следующие шалопаи будут сегодня высечены...

Он назвал два десятка фамилий.

Кадеты встали и, пропев молитву, попарно пошли в дортуары. Саша тоже шел, стараясь не выпадать из такта маршировки. Стены дортуара были дикого цвета. На окнах стояли горшки с цветами. В подвешенных против окон к потолку клетках щебетали и пели птицы, — чижи и канарейки. Между койками бродили собаки, принадлежавшие старшим кадетам. Мебель в дортуаре была разнобойная — шкафчики красного дерева, ореховые этажерки и дубовые столы. По углам — большие мышеловки. Унтер-офицер, надзиравший за дортуаром, указал Саше койку. Она стояла под глиняной лампой, висевшей на проволоке и источавшей густой аромат гнилого масла. Но подушки, одеяло, тумбочка возле кровати были домашние, бестужевские, давно знакомые и такие близкие в этом чужом месте, что Саша сейчас же с радостно-теплым чувством прикоснулся к одеялу и погладил подушку.

Колокол будил кадетов в шесть часов утра. После умыванья надзирающий унтер-офицер строил свою команду в дортуаре. Приходил лекарь и осматривал глаза, уши и руки выстроенных. Затем дежурный кадет читал молитву, и сбитенщик разносил свой товар. В восемь часов начинались занятия в классах.

На первом уроке — это был урок русского языка—старик-учитель, Алексей Дмитриевич Марков, заставлял детей читать по-славянски. Приметив на задней скамейке Сашу, он обрадовался новичку и позвал:

— Ну-ка, иди сюда, суслик, иди сюда... Стань-ка здесь, хомяк, не бойся... Читай-ка, тюлень, — хорошо прочитаешь — я тебе отличную отметку поставлю.

Саша читал бойко: «Во мнозем времени премудрость, в мнозе же житии ведение...»

Вдруг в дальнем углу класса закипела ссора, раздались оплеухи и свист. Учитель ударил по кафедре большой медной табакеркой и, просыпав табак на колени до блеска заношенных панталон, рассвирепел.

— Тише, вы, егозы, свинопасы! Вишь, ты, — орут, как волы. Ей-ей без каши оставлю... Каратыгин *, барабанная палка, пентюх, мерин сивый, чушка, — иди сюда да читай, вместо того, чтобы драться, сиволапый лабазник...

Так прошли два часа этого урока.

Затем была физика. Учитель Вольгемут пользовался известностью в Петербурге как наставник великих князей Николая и Михаила. Трудно сказать, как шли его занятия с великими князьями, но в Горном корпусе они шли плохо. Электрофорная машина была непослушна, как больной ребенок, и упряма, как осел;

* В. А. Каратыгин — знаменитый впоследствии трагик петербургской сцены.

магдебургские полушария обнаруживали полнейшее равнодушие друг к другу. Крупные градины пота катились с лица на франтовской фрак Вольгемута.

— О, я бедный, — говорил он, наконец, с отчаянием, — каков есть корпус, таков и его машин. О, я несчастный!

Наконец, и этот урок кончился.

Вечером кадеты потихоньку курили в корпусном саду вакштаф, кнастер, а некоторые — и настоящий турецкий табак. Огромный кадет второго верхнего класса, собрав вокруг себя мелюзгу, читал развратные стихи. Саша долго не мог уснуть.

Маленький Бестужев был физически крепок и очень ловок. Его лицо всегда было полно воодушевления, а веселые карие глаза — живости и мысли. Он постоянно чем-нибудь увлекался, но, достигнув желаемого, редко пользовался плодами проделанной работы. Процесс достижения был для него неизмеримо приятнее момента, когда достигнутое оказывалось в руках. Его настоящая жизнь тонула в воображаемой, складываясь из восторженных преувеличений.

Он завел дневник и начал вписывать туда все, что случалось с ним в корпусе, а также и дома по воскресным дням. Каждая запись была отражением чего-нибудь действительно происходившего. Но, напоминая о нем, она нисколько на него не походила. Все было как-то странно преувеличено в этом дневнике; недостатки товарищей сделались жестокими пороками, достоинства их характеров и умов подняты до античных сравнений, субботняя порка в квартире Геца могла бы служить сюжетом для романтической элегии, нелепый Марков выглядел, по крайней мере, инквизитором Торквемадой.

Саша долго обдумывал эпиграф, которым было бы уместно украсить первую страницу журнала. Наконец,

нашел. На первой странице стояло: «Рука дерзкого откроет, другу я сам покажу».

В воскресенье, приехав из корпуса домой, Саша таинственно развернул перед Мишелем тетрадь.

— Читай.

Мишель прочитал эпиграф.

— Понимаешь ли ты, что тут написано? — важно спросил Саша.

— Что ж тут понимать? — отвечал наивный Мишель.

— Ах, глупец! Я развертываю перед тобой книгу, назначенную мною только для друзей. Этим я говорю тебе: Мишель, ты — друг мне. Да знаешь ли ты, что такое дружба, — святое и великое чувство, которое имеет начало, но которому нет конца?..

Он много говорил ошеломленному Мишелю в этом роде и, наконец, поцеловав его, сказал самое главное, припасенное еще в корпусе:

— Братом может быть всякий, а другом — дело иное.

Учился Саша хорошо. Но он, вероятно, учился бы еще лучше, если бы не одно досадное обстоятельство. Учителя, преподававшие предметы, которыми Саша по врожденной склонности мог бы увлечься, были возмутительно плохи. И, наоборот, предметы, вызывавшие в нем отвращение, преподавались отлично. К числу таких предметов относились математика и немецкий язык. Необходимость разговаривать с товарищами три дня в неделю по-немецки, твердо установленная корпусными правилами, была для Саши источником почти физических страданий. Искалеченный в 1812 году, строгий и вспыльчивый дежурный офицер Александр Исаакович Ганнибал был неумолим. Поймав Сашу в «немецкие дни» на фран-

цузском или русском разговоре, он бросался к виноватому, как вепрь из чащи, и, страшно тыкая вперед перебитой рукой, рычал:

— Лгун, животное, лгун, лгун! А ты не смотри, что я калека, не смотри. Тотчас велю розог подать, лгун...

При этом темнокоричневое лицо Ганнибала синело, а толстые красные губы вздувались подушками.

Все остальные предметы Саша знал хорошо. Часто он считался даже первым в классе; однако, взобравшись на первое место, сейчас же, как говорили кадеты, «отпускал вожжи».

Впрочем, и в эти счастливые дни ничегонеделания он все-таки бывал чрезвычайно занят. Только уроки и учебники никак не участвовали в его занятиях.

— Отчего это, Саша, так получилось, — спросил его Мишель, — ты очень хорошо шел в прошлом месяце, а теперь по истории тебе три человека сели на голову?

Саша улыбнулся.

— Есть причина, Мишель. И причина эта — мой «Очарованный лес».

Мишель изумился.

— Что? Какой лес?

— Видишь ли, друг мой. Это — мое сочинение. Ты знаешь, что мне трудно оторваться, ежели я чем увлекусь. И вот, — стоит только мне побродить в «Очарованном лесу», как я уж и слетел.

Оказалось, что Саша сочинял большую пьесу в пяти актах. Все красиво-волшебное, замеченное в «Днепровской русалке», «Князе-невидимке» и «Волшебной флейте», было пересоздано им в новую сказку, таинственную и странную. Князья, девы, оруженосцы, шуты, черти и колдуньи — все это сталкивалось, боролось, действовало разными способами, путаясь в

лабиринте чудесных вымыслов. Русалки говорили стихами, а гномы — прозой. Пьеса была интересна, потому что развязка наступала в конце и сразу.

Бывая по праздникам в родительском доме, Саша однажды забрел на чердак и нашел здесь много необыкновенного: ящики с рукописями старого «Санкт-Петербургского Журнала», картоны с чертежами горных машин и множество всякого иного хлама, оставшегося от времен военной службы Александра Федосеевича. Когда решено было поставить «Очарованный лес» на кукольной сцене и нехватало только пустяков — самой сцены, кукол и декораций, — Саша вспомнил о богатствах чердака.

Александр Федосеевич разрешил взять с бронзовой фабрики необходимые инструменты, и через две недели упорного труда кукольный театр был готов. Черти летали по воздуху, шут-лакомка срывал с дерева прельстившие его яблоки. Второстепенные персонажи были вырезаны из картона и тщательно разрисованы ловкой рукой Саши. Его талант карикатуриста очень пригодился.

Первое представление собрало не только родителей, но и дворню, и сопровождалось развеселым смехом и бурными хлопками. Правда, не обошлось без недоразумений: шут-лакомка уже протянул руку за яблоком, но так и не сорвал его — лопнула оживлявшая шута проволока; черти, взлетев на воздух, вдруг упали вниз без признаков жизни. Но находчивость никогда не оставляла Сашу. Явившись на сцену и ловко об'яснив зрителям наглое поведение шута и чертей, он так удачно связал его с дальнейшим действием пьесы, что публика не испытала ни малейшего разочарования.

— Ежели злые духи не хотят летать в воздухе, — пусть бродят по земле. Отныне их место — там...

МАРТ 1810— АПРЕЛЬ 1816

Брат — это друг, данный природой.

Вольтер.

В СЕРЕДИНЕ марта 1810 года Сашу вызвал к себе маркшейдер Гец и сказал:

— Собирайся домой. За тобой карета приехала.

Саша не понял.

— Как-с?

Гец улыбнулся его удивлению, кажется, впервые в жизни.

— Собирайся. Поедешь домой. Твой отец болен...

Александр Федосеевич Бестужев умер 20 марта 1810 года. Покойника обмыли, одели в артиллерийский мундир старого покроя и положили на стол. Пришли священники и громко откашливались, готовясь петь. Брат Николай стоял у двери, низко опустив темную голову. Мишель, Петруша, сестры, Прасковья Михайловна рыдали. Саша смотрел на суету, закипавшую вокруг умершего. Суета эта имела характер каких-то хлопотливо-мятежных забот. Было похоже на то, что люди, которые остались жить, нарочно усложняли свою деятельность, чтобы подчеркнуть разницу между собой и мертвым. Эта мысль потрясла Сашу. Он кинулся вперед, чтобы сказать о том, как это ужасно, запретить, наконец, и... не смог. Его подняли с пола, бесчувственного вынесли в гостиную и опустили на диван.

Летом 1811 года, в одно из своих кратких появлений в семье, на Васильевском острове, Николай Бестужев сказал брату Александру:

— Хочешь, Саша, поплавать с нами на фрегате «Малый»? Ежели хочешь, могу взять.

Еще бы не хотеть! Фрегат «Малый» принадлежал Морскому корпусу и служил для практических летних занятий кадетов в море. Брат Николай шел в этот учебный поход в качестве корпусного офицера (он был произведен в мичманы в январе 1809 года), Мишель и Петруша — по долгу своей кадетской «службы», а Саша — просто в погоне за неизведанными впечатлениями, и потому был всех счастливее.

Во время летних корпусных походов гардемарины подробно осматривали Кронштадтскую гавань, посещали Стрельну, Лисий Нос, Ораниенбаум и Петергоф. Трехмачтовый «Малый» каждое лето носил по этим местам сотню быстрых мальчиков в черных двубортных курточках с галунами на рукавах и воротниках. Вооружение тогдашних трехмачтовых судов состояло из стоячего и бегучего такелажей, — то есть, из бесчисленного множества снастей и веревок, толстых смоляных вантов и штагов, тонких талей и путеньантов, фалов и брасов, закреплявших мачты, реи и паруса.

На «Малом» все в порядке, и каждая снасть готова выполнять свое назначение. Фрегат вытянулся на рейд. Николай Бестужев — на вахте. Команда:

— Пошли все наверх.

Толстый боцман пронзительно свистит, и все на корабле приходит в движение. Под напором полсотни кадетских тел, с визгом и лязгом двинулись вокруг шпиля тяжелые дубовые вымбовки (брусья), и якорный канат, натягиваясь постепенно, стал, наконец, тугой вертикалью. Якорь вышел из грунта. Фрегат идет вперед; как крылья гигантской птицы, развертываются паруса, вертится могучее колесо штурвала, паруса надуваются ветром, фрегат рвется в мор-

ской простор, рассекая водорезом зеленую бездну. Море кипит и бежит за кораблем длинным белым шлейфом.

Все на палубе. Капитан ходит по шканцам с трубою подмышкой. Николай Бестужев с рупором стоит на пушке, опираясь на борт. Кадеты столпились на юте. Петербург уходит в даль; крепость и дома сливаются в тонкую черту. На западе огненный шар солнца плывет на далеких волнах. Правый берег залива, суровый и дикий, долго извивается черной змеей и, наконец, исчезает. Левый берег мелькает белыми фасадами дач, церквами, дворцами, затем вдруг переходит в холмистую цепь возвышенностей, увенчанных лесом, и тоже, наконец, падает в море. Впереди — беспредельность. Волны бегут от корабля прочь, пенясь и дробясь в свинцовых брызгах.

Саша смотрел на эту картину очарованными глазами. Он никогда не видел ничего волшебнее.

Через несколько часов подошли к Кронштадту. Вдоль стен гавани — пушки и множество корабельных мачт. Гавань похожа на лес, обожженный молнией. Вышли из Кронштадта.

Утро. В прозрачной голубизне неба светом и тенью играют летучие облака. Вдруг темная полоска тучи на горизонте желтеет, и все меняется. Хвост урагана бьет по фрегату, море кипит и пенится. Гардемарины на реях крепят марселя. Саша робеет, но не хочет отстать, — оглядываясь, ползет по веревочной лестнице. Над ним смеются лихие «старики».

— Вишь, горная крыса затесалась на корабль...

Паруса круто надуваются. Фрегат падает на бок, пушки нижней батареи почти хлебают воду. Саша крестится, прощаясь с жизнью. Опять смеются лихие «старики».

Но вот шквал уходит в сторону и уносит с собой

мрак бури. Фрегат выпрямляется. Все мокры, веселы; смехом и шутками провожают испытание. Одному Саше не весело. Да, здесь он не первый...

Вечером брат Николай позвал его к себе в каюту.

— Вот что, Александр. Ты не знаешь ни моря, ни корабля. Жизнь здешняя для тебя нова и непривычна. Для матросских работ у тебя нет сноровки. Я запрещаю тебе принимать в них участие. Будь пассажиром.

Саша покорно наклонил голову; действительно, у него нет сноровки.

Через неделю фрегат стал на якорь в устье Невы, чтобы сдать в корпусный лазарет заболевшего гардемарина. Саша подошел к Николаю.

— Брат, я не могу так больше. Отпусти меня на берег.

— Почему? — спросил Николай с удивлением.

— Я не могу. Кто я такой? Мне нет другого званья, как подземельный крот да горная крыса. Верно, что не было у меня сноровки. Но нашлась бы. А посмешищем целого фрегата я быть не могу. Отпусти, брат.

Глаза Саши туманились слезами, губы вздрагивали. Николаю стало его жалко.

— Хорошо, попробуй еще. Живи наравне со всеми.

Утром вышли в море. Перед Николаем Александровичем суетился Саша в матросской рубашке, с фуражкой набекрень, пристегнутой ремешком к воротнику, смоляная веревка вместо пояса, словом,—самый лихой «старик», истый фор-марсовой. И никакой робости... Да, это не ворона в павлиньих перьях! Вот он бежит, не держась, по рее, чтобы крепить штыкболт, спускается вниз головой с верха мачты по одной веревке... Всходит на клотик, венчающий мачту, и из озорства становится там на колени. Дня не

прошло — насмешки пропали, и Саша стал на корабле своим из своих, лучшим товарищем.

— Вот так характер! — думал пораженный Николай.

Два месяца радостно-тревожной, полной романтических восторгов морской жизни прошли. Поход кончился, и фрегат «Малый» стал на петербургском рейде. Саша вернулся домой с огромным багажом. Это были смоляные веревки, блоки, разноцветный флагдук, порох, сигнальные ракеты, фальшфейеры. Запас рассказов, который он привез из плавания, был почти неограничен.

— Решено, Мишель, — говорил он младшему брату, — я пишу морской роман или драму...

В Горном корпусе давно начались классные занятия. Однако «морская лихорадка», которой заболел Александр Бестужев во время летнего похода, его не оставляла.

Гуляя по штольням искусственных шахт, устроенных в корпусном саду, он думал: «Вот — катакомбы, вот — те гробы, в которых буду я погребен заживо. Этого вынести невозможно. Моей душе нужны свет и свобода. Только море может дать их. Прекрасное, чудное море!..»

Он выходил из шахт угнетенным, тоскующим, неспособным ни к математике, ни к минералогии. Все воскресенья он тратил на устройство модели многопушечного фрегата. С терпением и любовью изготовлял крохотные приспособления, необходимые для вооружения полуаршинного корабля, и с редкой настойчивостью преодолевал затруднения. Он кроил и шил паруса, скручивал оснастку, работал то ножом, то долотом, то стругом; отливал оловянные пушки, золотил кормовую резьбу, красил рангоут и корпус

фрегата. Мишель и Петруша помогали, но для них Александр оставлял больше черную работу.

Все переменилось вокруг влюбленного в море мальчика. Сад стал палубой огромного корабля, а деревья — мачтами. Веревочные лестницы поднимались до марсов и салингов. Переговоры велись при помощи сигнальных флажков. Гроза была праздником матросской ловкости. Вершины деревьев скрипели, качаясь под ударами ветра, — Александр с верхнего сучка командовал кораблем.

Тихон бегал по саду, разыскивая смелого капитана и стараясь перекричать голос бури.

— Александр Александрыч, пожалуйте домой, маменька кличут!

— Сейчас, — отвечал капитан, — полшлага еще!

Отдав все распоряжения по кораблю, он врывался в тихую комнату Прасковьи Михайловны и, уткнув мокрую голову в ее колени, ласкаясь, говорил:

— Ах, маменька! Ведь я все равно нашалю впоследствии. Так меня и без Горного корпуса в Сибирь сошлют...Ох, корпус!

Все смеялись, и он сам — тоже.

Но скоро шутки перешли в мольбы. Он страстно упрашивал мать спасти его от Горного корпуса и обещал изо всех сил стараться, чтобы выдержать экзамен на гардемарина не позже весны. Прасковья Михайловна любила сыновей, но не баловала их. Она хорошо усвоила педагогические приемы покойного мужа. Однако для хороших мыслей у нее редко находились такие же хорошие слова. Страдания сына ее мучили, но она знала, что счастье человека далеко не всегда застегнуто в военный мундир, а служить родине можно не только шпагой, но и киркой. Все это ей было понятно, а слов не находилось, и Саша донимал ее неотступными просьбами.

Наконец, в дело вмешался брат Николай. Ему было ясно, что Александр с его увлекающимся характером потерян для Горного корпуса. Он доказал это матери. Прасковья Михайловна, перекрестив перо и бумагу, дрожащей рукой подписала прошение о «возвращении кадета Горного корпуса Александра Бестужева в первобытное состояние».

Итак, прощай, Горный корпус! Здравствуй, море!

Готовиться в гардемарины Александру привелось под гром бородинских батарей, при свете московского пожара, среди величественных событий грозной войны.

Военная суматоха родила новый журнал под боевым названием «Сын Отечества». Его издатель, чиновник Греч, в первом номере своего «Сына», обращаясь к Наполеону, неистово восклицал:

«Предчувствуй бессмертие, тебя достойное! Предчувствуй, как и когда потомки будут клясться твоим именем! Ты восседаешь на престоле своем среди блеска и пламени, как сатана в средоточии ада, препоясан смертью»...

Прасковья Михайловна плакала, когда Лешенька читала ей эти строки. В обществе танцовали только модную Багратионову кадриль, и во всех гостиных звенела распеваемая нежными девическими голосами патриотическая песенка:

«Что же делать, — это правда, —
Помешал нам Удино
Враз прикончить Магдональда.
Но нам это — все равно:
Мы побили Удино!»

Народ толковал, будто царь, в бытность в Москве, приложившись к иверской, вышел на площадь и держал к православным такую речь:

— Помогите, деточки! Уж я с горя иссох, как лутошка!

Пьяные дворяне по уездам кричали:

— Бери, государь, все, что есть! И Дуньку отдам, и Лушку, и Марфушку... Всех забирай!

Протрезвившись, закапывали банковские билеты в землю и, разведя сверху огородные грядки, скакали с семействами на своих в Тамбов и Нижний. Николай Бестужев, с Морским корпусом, Мишелем и Петрушей, переселился в Свеаборг. Саша кипел военным пылом и даже собирался бежать из дому для бранных подвигов. Но не успел.

Вооруженный народ погнал обмороженных «шарамыжников»* по голодной дороге, навстречу тифу и штыкам, и Саша снова утонул в занятиях. Он уже видел себя мореплавателем, посещал незнакомые миру страны, прокладывал через океаны новые пути и любовался чудесами субтропической и полярной природы. Подготовка шла удачно. Оказалось, что по ряду предметов он знал гораздо больше, чем нужно. Все было превосходно, кроме... диференциальных и интегральных исчислений, о формулы которых, как об острый риф, разбивался быстрый корабль воображения и надежд. Здесь Саша оказывался бессильным. Терпение его иссякало. Гнев туманил мозг. Когда Николай с Морским корпусом вернулся из Свеаборга, между братьями произошел серьезный спор.

— Ужели нельзя быть хорошим моряком без этого? — с негодованием спрашивал младший. — Ужели гений Колумба нуждался в этом хаосе цифр с плюсами и минусами?

— К чему пустые разговоры? — отвечал старший. — Как не понять, что именно эти плюсы и минусы дали

* От cher ami (фр.) — милый друг.

средства Колумбу стать великим мореплавателем. В них почерпал он силу и терпение.

Николай Александрович достаточно знал характер брата, чтобы не усомниться в прочности его морских увлечений. Ему было жаль Александра. С предусмотрительной осторожностью, как самый внимательный и нежный отец, он стал развертывать перед ним действительную картину прозаической и тяжелой жизни моряка. Александр слушал и молчал. Мечты его рушились. Казнокрадство адмиралов и офицеров, гнилые корабли на Маркизовой луже, изрытые розгами матросские спины, пьянство и хамство кают-компаний, — все это постепенно ослабляло пароксизмы «морской лихорадки», и Николай Александрович исподволь увеличивал дозы лекарства.

— Знаешь, Николаша, — сказал ему, наконец, Александр с грустной улыбкой, — я убедился, — таким моряком, как хотелось мне, я никогда не смогу быть, а таким, как другие, ни за что на свете не буду.

Пароксизмы исчезли, и Александр забросил морские учебники. Гардемаринские галуны прибавили Мишелю храбрости перед незадачливым братом.

— Не стыдно ли тебе поворотить с полдороги, — говорил он менторски. — Ужели ж пойдешь ты в армию вытягивать носок?

— Э, нет, — отвечал Александр; — ты увидишь, что нет. Я буду артиллеристом или инженером. А вернее — артиллеристом, как покойный батюшка.

Снова раскрылись учебники. Но изучение свойств порохов требовало знания физики и химии, а физика и химия — математики. Вобан был великим фортификатором, но тригонометрия была для него домашним делом. Александр ходил в Педагогический институт слушать лекции профессора Соловьева по математическим наукам и возвращался домой со вздохом.

Дома же строились маленькие крепости и разбивались пальбой из крохотных пушек, снятых с модели когда-то столь тщательно построенного фрегата. Мины взрывались в спальне Александра, а фейерверки со щитами и фонтанами пылали по высокоторжественным дням перед окнами спальни Прасковьи Михайловны. Все это было очень интересно и красиво, но... Николай Александрович ясно видел, что Александру не суждено ни строить крепостей, ни разрушать их, совершенно так же, как не суждено было плавать на кораблях.

Однажды старший Бестужев приехал в домик на Васильевском острове не один. Из саней выскочил сперва генерал, молодцеватый и бравый, в светлозеленом, густо зашитом золотой канителью мундире, в шляпе с лихо развевавшимся пестрым плюмажем, в белых лосиных панталонах, засунутых в огромные ботфорты, — генерал-картина, годный для любой выставки генералов, если бы такая выставка вдруг где-нибудь открылась. За ним следовал Николай Александрович с озабоченным лицом. Гости прошли в гостиную. Прасковья Михайловна радостно всплеснула пухлыми руками, белыми, как сметана. Она любила этого веселого и добродушного генерала — давнишнего сослуживца покойного Александра Федосеевича. Когда-то он часто бывал у Бестужевых и подолгу сиживал за трубкой в кабинете хозяина. Потом посещения стали реже и, наконец, почти вовсе прекратились. Генерал-майор Петр Александрович Чичерин командовал лейб-гвардии драгунским полком и метил в командиры кавалерийской бригады, — он делал карьеру.

Покончив с воспоминаниями, дав и получив дюжи-

ну справок о старых знакомцах, раскритиковав погоду и цены на овес и верховых лошадей, генерал спросил хозяйку:

— А позвольте, матушка, узнать, что поделывает у вас друг мой Саша? Остальные детки ваши все на виду — один офицер, двое гардемарины, последний — кадет. А вот о Саше ни слуху, ни духу.

Прасковья Михайловна потупилась. Это было ее больным местом. Генерал встал с кресла и, гремя шпорами, принялся делать затейливые зигзаги по маленькой гостиной.

— Говорят: учись, служба не пропадет. А я говорю: служи, ученье не пропадет. Что толку в том, что он способный малый. Да, может, все учителя ему просто льстят... Не так надо, матушка Прасковья Михайловна. Пошлите-ка его в манеж учиться. Лошадь не льстит, — тотчас сшибет седока, если он ездить не умеет. Э, да я знаю, что с ним делать. Зовите сюда молодца!

Александр вошел в комнату, не предчувствуя, что судьба его решена. Его бледносиний фрак с золочеными пуговицами, белый батистовый галстух, застегнутый двумя блестящими запонками, заставили генерала покачать головой.

— Друг мой, Саша, — сказал он с упреком, — ты не любишь фрунта, а хочешь быть полезным военной службе по ученой части, — прекрасно! Но одного желания мало, — надо иметь возможность. Этой возможности нет без обер-офицерских эполет. Но ведь их тебе у нас не дадут без знания фрунта, хоть бы ты звезды с неба в рукав собирал. Итак, горькой этой участи тебе не миновать. Мы же постараемся ее облегчить, сколь сие возможно. Вот мой совет: я беру тебя в свой полк юнкером. Месяцев пять-шесть ты потрешь солдатскую лямку, а потом — офицер, и

тогда свободен. Я же благословлю тебя на все четыре стороны, — держи экзамен хоть прямо в начальники штаба.

— Спасибо тебе, батюшка Петр Александрыч, — проговорила Прасковья Михайловна. — Что ж ты, Саша, онемел, что ли? Благодари скорей его превосходительство!

АПРЕЛЬ 1816 — НОЯБРЬ 1817

Да здравствует разум!

Пушкин.

Высокий, на четырех крючках, непомерно жесткий воротник душил, как собачий ошейник. Поясницу сковывал тугой, как корсет, зеленый мундир из толстого солдатского сукна. С восьми часов утра и до вечера — в манеже. Овес и лошади, мундштуки и шенкеля, ординарцы и скорый смотр, — других разговоров не слышно. Это началось 12 апреля 1816 года.

Александр всегда любил лошадей. Здесь было раздолье. Из двух жеребцов эскадронной конюшни, на которых новый юнкер остановил ослепленный взгляд, — рыжегалого в масле, с лебединой шеей, глазами навыкате и таким оскалом, что в ноздрю хоть кулак суй, Александру дали под верх. Лошадь оказалась злой. Рыжегалый бил передними ногами о землю, стараясь сбросить седока, и то-и-дело звякал мундштучными дужками о стремена, пытаясь ухватить его за носок.

Эскадронный командир, усатый и горластый капитан Климовской, долго смотрел, как Александр крутил по манежу на своем звере. Наконец, обернулся к низенькому поручику с кривыми ногами и сказал:

— Сидит, покамест, немудро, но рука золотая.

Александр тут же дал себе слово превратить свирепого Камрада в танцовщицу, повинующуюся малейшему движению партнера. Силы и игривости в коне было с избытком. Оставалось помучиться самому и хорошенько вымучить лошадь.

При виде плохого ездока эскадронный командир кричал так, что в манеже дрожали стекла:

— Вахмистр, бери его за нос, он — физик!

И вахмистр выводил юнкера из езды. С Бестужевым этого не случалось. А случись, — умер бы от позора.

Лейб-гвардии драгунский полк квартировал в Петергофе. Дворцы глядели на осеннюю непогодь пустыми окнами. Фонтаны замерли. Кроме драгун и дворцовых служащих, жителей в городке не было. Скука висела в воздухе.

«По-российски, французски, латынски и немецки читать и писать умеет, вышней математике, физике, истории, зоологии, ботанике, минералогии, политической экономии, статистике, правам, мифологии, архитектуре, рысованию, фехтованию и танцевать знает», — значилось в юнкерском формуляре Александра Бестужева.

В записи не было никаких преувеличений. Все это Александр действительно изучал и знал. Но для чего эти знания ему, драгунскому юнкеру? Над прошлым поставлен крест. Оно ушло навсегда, а будущее — далеко и незаманчиво. Оставалось одно—побеждать настоящее. Александр много работал над собой, и это ему удавалось. Товарищам-юнкерам и многим офицерам скоро полюбились его приятная наружность и бойкий, безобидно-острый нрав. Однажды полковой квартирмейстер поручик Пенхержевский пригласил Александра вечером к себе. Только подходя к доми-

ку, в котором квартировал поручик, Александр сообразил, что он зван на попойку, и не ошибся. Офицеры в расстегнутых мундирах сидели на соломенных стульях вокруг большой пуншевой вазы и, нещадно дымя из длинных чубуков, сквернословили. Кто-то пел:

Плохой драгун . . . .
Который пунш тянуть не любит.
В атаках будет отставать,
На штурмах камергерить будет.

Хриплые басы подхватывали припев:

Друзья, не станем пить воды, —
От ней великия беды!

Поручик Пенхержевский, любивший выражаться витиевато, обнял Бестужева и сказал:

— Вся природа слилась в одной картине. А я уже думал, что вы, любезный Бестужев, променяли мою скромную хижину на какой-нибудь пышный дом разврата и невежества...

«Истинное удовольствие быть дураком, когда это нужно», — вспомнил Александр старую латинскую поговорку. И, схватив граненый фужер с пенящимся напитком, опрокинул огненную влагу в горло.

По своему солдатскому положению, Александр Бестужев почти нигде не бывал и не мог знать общественных настроений, господствовавших в Петербурге. И все-таки много странного бросалось ему в глаза и уши. Он узнавал то самое, что когда-то говорилось с глазу на глаз в кабинете покойного Александра Федосеевича. Но слова были другими, мысли смелей и выражения резче. Кроме того, все это говорилось не за запертыми дверями, а на улицах, в кон-

дитерских, в гостиных и за столом, — открыто и громко.

Сын петергофского дворцового управляющего, подпоручик Клюпфель, был масоном петербургской ложи Избранного Михаила. В ореховой шкатулке с гербом он тщательно хранил эмблемы своей таинственной масонской должности: фартук, перчатки и молоток. Клюпфель очень гордился этими знаками и особенно тем, что в прошлом году ужинал в ложе с каким-то высоким лицом и даже по-братски пил токайское из одного с ним бокала. Однажды подпоручик предложил Александру с'ездить вместе в Петербург, чтобы присутствовать на обеде, который ложа Избранного Михаила давала гвардейским фельдфебелям и унтерофицерам. Александр согласился. Поехали.

Обед происходил в конногвардейском манеже. За длинными столами сидели увешанные медалями и крестами, обшитые шевронами ветераны последней войны, недавно вернувшиеся из заграничного похода. Клюпфель и Александр смотрели на эту удивительную картину из ротонды манежа. Обедавшие вели себя безукоризненно, с достоинством вынимали из карманов часы и серебряные табакерки, складно вклеивали в речь французские фразы. Зрители пожимали плечами, меньшинство восхищалось. Выходя из манежа, Клюпфель и Бестужев обогнали высокого жилистого человека в очках, с худым пасторским лицом, на котором желтая морщинистая кожа висела бульдожьими складками. Рядом с ним шел, опираясь на трость, плотный и крепкий мужчина в синем рединготе. Он хромал на левую ногу. Клюпфель раскланялся с обоими.

— Да-с, Николай Иванович, — громко и оживленно проговорил высокий и похожий на пастора чело-

век, — общественное мнение не батальон, ему не скажешь «смирно».

Хромой улыбнулся. Александр вздрогнул, услыхав его ответ:

— Вы правы, почтеннейший Николай Иваныч! Вероятно, самодержавие может возвышать и усиливать государства. Но может ли оно вместе с сим и осчастливить народы? Пусть наш историограф * думает: да, а я думаю и всегда буду думать — нет!

Александр попросил Клюпфеля об'яснить ему, что за люди эти два Николая Ивановичи. Подпоручик с важностью отозвался:

— О, это — заметные люди. Тот, что в очках, — издатель «Сына Отечества», известный наш журналист Греч. А хромой — Тургенев; только-что вернулся из Германии и уже назначен помощником статс-секретаря в Государственный совет. Греча я хорошо знаю по ложе. С Тургеневым же встречался в обществах.

Александр оглянулся. Греч говорил что-что, повидимому, очень острое, и на желтом лице его холодной маской застыл смех. Тургенев медленно застегивал редингот, согласно кивая толовой.

Октябрь подходил к концу. Петергоф был скучен, как чистилище. В эти унылые дни манежные и строевые ученья затягивались непомерно. После манежной гонки, фигурных стоек в пешем строю и бесчисленных ружейных приемов Бестужев читал по вечерам так много и так усердно, что в конце концов сон схватывал его посреди мысли.

Но читать удавалось только по вечерам, да еще во

* Карамзин.

время дежурств по конюшне. На сеновале, где дежурные по конюшне юнкера имели обыкновение проводить свои «казенные» часы, бывало всегда ароматно, прохладно и тихо. Дождь стучал по черепицам плоской крыши, и старый конюх-солдат подымался по лесенке с котелком в руках. Что за каша на сеновале, и как вкусен здесь ее горький дымок! Торопясь и обжигая рот, Александр глотал кашу и снова хватался за книгу. Иногда это был кто-нибудь из древних, — юнкер на сеновале плакал над героической искренностью Демосфена, восторгался суровым мужеством Тацита. Чаще — французы. Человек, которого в XVII веке Мольер называл мизантропом и который в XVIII столетии назывался Руссо, на сеновале раскрывал перед Александром свое странное сердце, похожее на кусок мозга. Читались и другие авторы. В «Мемуарах» Сюлли Бестужева поразили слова:

«Революции, совершающиеся в больших государствах, никогда не бывают делом случая или каприза народов».

У Сея он нашел:

«Революции нового времени, разрушив известные предрассудки, изощрив умы и опрокинув неудобные преграды, повидимому, были скорее благоприятны, чем вредны, для успехов развития богатства».

Все это были новые для Бестужева идеи, смелые и свежие, до ощущения холода в голове. Над этим стоило думать, и Бестужев думал. Удивительная вещь: ни в Горном корпусе, ни во время усиленных занятий по подготовке в гардемарины и артиллерию, — никогда мир не развертывался перед ним так широко, как на сеновале, в часы юнкерских дежурств по конюшне. Из этого удивительного обстоятельства Бестужев сделал важный вывод: лучшим руководителем

в занятиях впредь должен быть его собственный рассудок. Об этом гордом решении он написал брату Николаю в Кронштадт и, как часто уже бывало в жизни Александра, по врожденной склонности к преувеличениям, сильно зарвался. Когда он грыз перо над письмом к брату, крохи ослепительных мыслей, выпавшие из прочитанных на сеновале книг, вдруг показались ему чем-то вроде величественной и цельной религии, обязательной для всякого мыслящего человека. И он не усомнился попрекнуть брата: в двадцать четыре года людям уже надобно делать дела, а Николай все еще сидит мелким лейтенантом в Кронштадте, да еще вдобавок отягощает свое будущее связью с замужней адмиральшей. Нет, Александр иначе смотрит на свои жизненные задачи: женщины для него — ничто до тех пор, пока он не завоюет места среди мужской половины света. А для этого — на первом плане уверенность в себе, строгость в вопросах чести, отважный взгляд на людей и обстоятельства, презрение к обществу, дружба с избранными. Тогда откроется дорога и расступится толпа. Имя должно шуметь, ибо шум—передняя славы. Слава, только слава, снабжает способами и вооружает средствами для действия. А действовать предстоит...

Все это очень туманно. Николай Александрович читал драгунское письмо и качал головой. Повидимому, Александр предвидел для себя в будущем необходимость какой-то большой борьбы и собирался готовить себя к этой борьбе, чтобы вступить в нее, как живое предопределение победы, — славным и испытанным вождем. Честь — божество человека, говорит он. Все это так, но в практической жизни долг стоит чести, и даже ценнее ее. Владычество над миром принадлежит в будущем не буйным, а терпе-

ливым людям, хотя уверенность в себе и превосходная вещь. Отважный взгляд на людей — тоже прекрасно, но ведь любой гвардейский забияка, любой бреттер гордится именно своей отвагой, когда выходит на поединок, чтобы застрелить человека. Презрение к обществу и дружба избранных — просто нелепо: лучший общественный человек легко может быть вместе с тем и лучшим офицером, но, наоборот, — едва ли, и два десятка петербургских товарищей способны заменить весь свет только для эгоиста, погруженного в спячку. Так размышлял Николай Александрович над письмом брата и ответил строго:

«Ты привык думать, но не обдумывать, — две вещи, совершенно различные»...

Старший брат был прав, посылая Александру отповедь. Феерию парадоксов нужно было рассеять. Когда воображение слишком сильно разыгрывается, необходимо ловить его разошедшиеся концы. Но Александр вовсе не собирался этого делать.

Как и раньше, изображая Ринальдо в детские времена, он и теперь не шутил. Новая теория захватила его. Он стал дерзок и страстно желал... дуэли,— это совершенно входило в план. Он издевался над чином прапорщика — уж очень мелкой была эта ступень к славе, но чем больше издевался, тем нетерпеливей ждал офицерского чина, так как солдатское ярмо невыносимо терло его болезненное самолюбие. Первый, кому случилось заметить эту жадную нетерпеливость, был Мишель. Однажды Александр шел по Невскому, торопясь на Васильевский остров, чтобы недолгие часы отпуска провести с матерью и сестрами. Он шел пешком, так как юнкерам строго запрещалось ездить на извозчиках. По мостовой в грохо-

чущих каретах скакали генералы. Офицеры звякали палашами по граниту широких тротуаров, заглядывая под шляпки встречных дам. Бестужев спешил, досадуя на непрерывные остановки: перед каждым эполетом он, бедный юнкер, должен был делать фрунт для отдания чести. И вдруг из пестрой толпы гуляющих, прямо перед ним вырос веселый, розовый, с ямочками на щеках, парадный Мишель. Его шинель была ловко откинута с левого плеча, и серебряный мичманский эполет ярко сиял под солнцем. Мишель был произведен в офицеры две недели назад, и ему еще не было полных семнадцати лет. Александр стремительно бросился к младшему брату с намерением поздравить и расцеловать. Но мичман отступил в сторону. Ямочки на его щеках ослепительно сверкнули, и он предостерегающе поднял руку в свежей сиреневой перчатке:

— Вы не знаете своей обязанности, г. юнкер. Сделайте фрунт и шапку долой!

Александр побледнел. Мишель! Младший брат! И какой адски самодовольный олос! В совершенной растерянности юнкер неловко повернулся, чтобы сделать фрунт, и сорвал с головы фуражку.

Но мичман уже обнимал его и говорил, заливаясь звонким смехом:

— Саша, да неужели ты мог подумать...

Александр смотрел волком. Глаза его гневно пылали. Мишель почтительно взял его под руку. Они сделали несколько шагов. Александр остановился.

— Брат, что это значит?

— Мне просто хотелось отмстить тебе, Саша, за то, что ты так необдуманно свернул с полдороги. Милый, ведь если бы ты тогда не воротился, мы прогуливались бы сейчас вместе по Невскому в одинаковых эполетах.

Александр крепко сжал сиреневую перчатку брата.

— Прошу тебя, — никогда не шути так. А теперь — прощай. Солдату не след прогуливаться под руку с офицером. Но знай, что я не останусь перед тобой в долгу, и ты еще будешь догонять меня по службе... и вообще!

1 мая 1817 года из Кронштадтской гавани вышел в море, под командой адмирала Кроуна, корабль «Не тронь меня». Корабль шел в Кале и должен был, дважды обогнув Европу, доставить из Франции в Россию остатки русского оккупационного корпуса. Лейтенантом на этом корабле служил Николай Александрович Бестужев, мичманом — Мишель. Среди пассажиров, ехавших за границу, было много интересных лиц: дивизионный генерал Огильви, генеральша Жомини, издатель «Сына Отечества» Н. И. Греч. Собирались в каюте Огильви и говорили о Франции, с ее толстым королем и тонкими разногласиями партий. О России не говорили. Но получилось так, что толкуя о Франции, все-таки с какого-то бока имели в виду обязательно и Россию. Суждения строились от противного и не доводились до конца. Огильви был страстным поклонником английских государственных учреждений; генеральша Жомини не скрывала своих горячих республиканских симпатий, — она была уроженкой Швейцарии; Греч говорил больше всех и громче всех. В короткие промежутки между припадками свирепо мучившей его морской болезни он выбрасывал за борт ящики с петербургской провизией и вместе с ящиками как бы сбрасывал с себя последние покровы петербургской осторожности.

Ящика с черносливом Николай Иванович не выбросил за борт, а подарил Мишелю. Семнадцатилет-

ний мичман вспыхнул и хотел отказаться — он был офицером на этом корабле, о каком же подарке смеет говорить Греч? Но чернослив был вкусен необыкновенно, а Николай Иванович сделал подношение так ловко, что отказаться было тяжелее, чем принять.

Гречь много толковал о русской литературе, и тоже — совершенно нараспашку. Он утверждал, что русская литература бедна, так как образованные люди в России не умны, а умные—необразованны, что литература наша похожа на дворню, которая в лакейской поет, поздравляя барина с именинами, что басня — уловка рабства и что именно поэтому сочнейшая отрасль русской словесности — басня, а прочее — гиль.

«Не тронь меня» скользил уже мимо французских берегов. Николай Александрович сказал Мишелю:

— Когда вернемся домой, моим первым делом будет познакомить брата Сашу с Гречем.

— Почему? — спросил Мишель.

— Потому что около этого человека Саша сможет отыскать себя. Он пишет мне замечательные письма, как самый заправский литератор. Но мысль этих писем—шепелява. Греч выведет его талант на дорогу...

Александр Бестужев не без основания считался лучшим юнкером в полку. Он был исправен на ученьях и забавен на офицерских пирушках, одинаково ловок в движениях и в разговоре. Даже забиячество, которым он щеголял последнее время, нравилось, так как в острых сарказмах Александра не было ничего нарочитого; они казались неотделимыми от его бойкой речи. После учений офицеры часто собирались друг у друга за картами и пили шампанское. Иной раз варили жженку, и тогда сахарная голова, поста-

вленная на двух скрещенных палашах, роняла в синий огонь тяжелые капли. Александр нередко бывал участником этих вечерних сборищ, особенно когда после производства 6 июня в фанен-юнкеры освободился от мелких нарядов на дежурства. Карты и жженка кипятили кровь. Молодежь много говорила о странных порядках, посредством которых управлялась Россия, о танцмейстерстве, укоренившемся в войсках. И тут Александр Бестужев оказывался совершенно в своей сфере. Когда затевался словесный поход против правительства, он был первым крикуном и застрельщиком. В эти минуты ему казалось, что он уже начинает «делать дело».

На одной из таких вечерних пирушек присутствовал заехавший из Петербурга гусарский корнет. Его совершенно лысый череп при молодом лице, похожем на лицо красивой восковой куклы, субтильная фигура юноши при строгих манерах старика были необыкновенны. Гусар не слушал полковых толков, загадочно молчал и пил шампанское из маленькой рюмки. Хозяин дома называл его Чаадаевым. Вечер складывался довольно скучно: бранили Аракчеева злодеем, высшие власти — глупцами, дворян — холопами, попов — неучами, мужиков — рабами, жалели Россию. Наконец, Чаадаев поднялся и, протягивая руку за фуражкой, сказал:

— Страна почти без прошлого, с презрительным настоящим и с будущим, непостижным уму.

Это были единственные слова, сказанные им за много часов. Но в них было собрано все, о чем говорилось в тот вечер. И так коротко, так ясно...

Редкие встречи с людьми, подобными Чаадаеву, заставляли Бестужева больно чувствовать свое одиночество в полку. Принцип «дружбы с избранными»

предполагал существование избранных. В лейб-драгунском полку их не находилось.

•

Корабль «Не тронь меня» вернулся в Россию из далекого плавания 8 августа. Николай Александрович и Мишель Бестужевы сошли на землю в Кронштадте, переехали в шлюпке залив и на извозчичьих «калиберах» примчались на 6 линию Васильевского острова, к Андреевскому рынку, куда после смерти мужа перебралась Прасковья Михайловна с дочерьми. По счастью, это случилось в отпускной день Александра, который он всегда проводил у матери.

Об'ятия еще не кончились, когда начались рассказы. Александр с восторгом слушал братьев. Франция... Тучный Людовик XVIII с разбухшими от подагры ногами; король, за которым водят его верховую лошадь и которого водят за церковными процессиями... Франция. Отечество самого живого в мире народа... Никто не верит в прочность реставрированной монархии, похожей на оторвавшийся хвост длинного карнавала... Крики: Наполеон или свобода!.. Купцы-республиканцы... Бывшие якобинцы из Парижа и Лиона — страшные лионские якобинцы с добрыми и честными лицами. Сколько впечатлений, каждое из которых стоит сотни прочитанных книг!

Рассказав о Франции, Николай Александрович потребовал от Александра русских новостей. Их было немало, тех новостей, которые просачиваются из дворца и министерств в клубы и гостиные, развозятся в каретах по городу и отношение к которым служит пробным камнем политического здравомыслия. Александр передал братьям множество толков о политике императора. Рядом с прекрасными намерениями — освободить крестьян от рабства — применя-

лись варварские меры по удушению русского просвещения. Да, удушению... Для этого и создано министерство духовных дел и народного просвещения во главе с князем А. Н. Голицыным, известным хлыстовскими замашками своей расслабленной старости. Религия идет в поход на науку, знание гибнет...

Странны были русские новости. Хорошее переплеталось в них с диким, и все вместе было так же непонятно, как сам император. Вот — потеха для острого гречева языка!

Николай Александрович тут же предложил брату познакомить его с этим либеральным, веселым и умным журналистом.

НОЯБРЬ 1817 — ДЕКАБРЬ 1818

А здесь он — офицер
гусарской.

Пушкин.

ЭПОЛЕТЫ засверкали на плечах Александра Бестужева 8 ноября 1817 года, через девятнадцать месяцев после его поступления в полк. Это был переход из одного бытия в другое, рождение для нового существования. И, словно для того, чтобы радость была полней, это производство, долго ожидаемое, так неожиданно пришло.

Обмундирование висело в шкафу, давно уже изготовленное артистическими руками лучшего в Петербурге военного портного. Оно было красиво, сложно и неудобно. Бестужев стоял перед зеркалом в светло-зеленом мундире с цветными выпушками по всем швам, с чудовищно высокой талией и короткими фалдочками. Громадный черный платок, тщательно обмо-

танный вокруг шеи, широким веером распирал густо расшитый, необозримый, добирающийся до ушей воротник. Причудливые узлы шнуров с небрежным изяществом падали на грудь и спину из-под эполет, похожих на большие золотые котлеты; эти котлеты были начинены тысячью прав и прекрасных возможностей, которые раскрывает мир перед теми, чьи плечи ими украшены...

На Васильевский остров Александр Александрович приехал в извозчичьей карете, — первое из новых прав. Прасковья Михайловна, братья, сестры и дворня встретили его на крыльце: посыльный от генерала Чичерина еще вчера доставил на остров записочку с приятным уведомлением.

После торжественного обеда, точно такого, каким отмечался при жизни Александра Федосеевича день семейных именин, Николай Александрович об'явил:

— Теперь идем к Гречу.

И трое братьев, под руку, блистательной шеренгой, зашагали по бесконечным понтонам разводного моста к недостроенному Исаакиевскому собору, возле которого на углу площади, в большом доме Бремме, проживал знаменитый журналист.

Греч оказался не только занимательным собеседником, но и гостеприимным хозяином. Форменный синий фрак с золотыми пуговицами и Владимирский крест на шее как-то не шли к этому весело-любезному и приветливо-насмешливому человеку. Жена Греча — Варвара Даниловна, дочь богатого придворного часовщика Мюссара, племянника славного Жан Жака Руссо, — держалась принужденно и безлично. Брат Павел Иванович, прапорщик гвардейского Финляндского полка, с ухватками казарменного ловеласа, мастерски подавал губами военные сигналы, чудовищно раздувая при этом щеки. Молодое поколение Гречей —

кудрявый подросток Алеша в щегольском фрачке от Буту и хорошенькая Софочка, с холодно-презрительным выражением бледного личика, были благовоспитанны и молчаливы.

— Чем уважить столь редких гостей? — воскликал Греч. — Прикажите только, и я дочь родную велю зажарить. Не боишься, Софочка? Напрасно. Мы живем в такой удивительной стране, где и это возможно. Берусь отыскать в наших законах указ, которым Владимир, — он тронул массивный крест, качавшийся между кружев галстуха, — назначается за детоубийство. Все возможно, решительно все. Если правительство не бездействует, — оно делает глупости. И единственное спасение от его дурных мер — дурное их выполнение.

«Ого! — подумал Александр. — Вот так сказано!»

— Впрочем, довольно о правительстве. Бог с ним. Пойдемте в кабинет, и я угощу вас, друзья, трубками с настоящим турецким, да стихами одного молодого бездельника.

В длинном и ослепительно чистом кабинете, с лакированным люком и чугунной лестницей вниз, в типографию, у окна стоял большой канареечный садок. Птицы порхали, кричали и пели на десятки ладов. Против садка — стол-бюро и еще несколько рабочих столов и высоких конторок, заваленных книгами и рукописями. Греч присел к бюро, снял с верхней крышки бархатный фолиант библии и извлек из его желтых недр белый листок золотообрезной бумаги.

— Вы только послушайте:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.

Каково?

— Вся Россия, все мы, все, что нас мучит, заключилось в этих четырех строчках, — крикнул восхищенный Александр, — но о ком это, Николай Иваныч, о ком?

— О Чаадаеве. Стихи к его портрету.

— А автор кто?

— Пушкин.

Петербург повторял стихи и остроты молодого Пушкина. Вскоре Александру Бестужеву показали в креслах Большого театра кудрявого юношу с бледно-смуглым лицом, тонкого и подвижного. Пушкин был на кого-то похож. Бестужев долго воспоминал и, наконец, вспомнил: на дежурного офицера в Горном корпусе — Ганнибала. Но тот был нехорош собой, почти до уродства, а Пушкин — миловиден, облагороженная копия оригинала. Гвардейский сапер Михаил Пущин познакомил Бестужева одновременно и с Пушкиным и со своим братом Иваном, конным артиллеристом, давним, еще лицейским товарищем Пушкина. Круглолицый и румяный Пущин был очень дружен с Пушкиным, но постоянно осаживал его порывы.

Бесцеремонно лорнируя ложи, Пушкин громко рассказывал о сорвавшемся с цепи медвежонке, при встрече с которым в Царскосельском саду позорно бежал император.

— Нашелся один добрый человек, — говорил Пушкин, заливаясь звонким хохотом, — да и тот — медведь...

Кругом улыбались.

— Тише! Безрассудный, — опасливо шептал Пущин.

Александр Ефимович Измайлов, издатель журна-

ла «Благонамеренный», известный своими баснями и эпиграммами, проживал на Песках в доме Моден. Он встретил Бестужева дружески, но по-своему. Потолковал о покойном Александре Федосеевиче, справился, как здравствует Прасковья Михайловна, тщательно осмотрел блестящий мундир своего гостя и даже заглянул на подкладку, под фалды. Прочитал принесенные гостем стихи и, отложив в сторону, сказал:

— Ломишься в поэты, Саша? Это — славно. Стихи напечатаю. А помнишь, как я тебя завирашкой звал? Поверь, друг мой, до сей поры, только-что о тебе подумаю, так на язык и лезет: завирашка, да завирашка...

Грубые шутки Измайлова отдавали застарелой наглостью. Бестужев покраснел.

— Еще бы не помнить, Александр Ефимыч, — сказал он, — и это помню и еще как с братом Мишелем отыскивали мы на чердаке непринятые покойным батюшкой рукописи басен ваших, да оклеивали ими декорации в кукольном нашем театре. На целый год хватило...

Измайлов шумно вздохнул и сказал задумчиво:

— Всего бывало. Только стихи твои пущу без подписи, уж на то не прогневись. Так-то, друг Завирашка...

Бестужев ушел, гремя саблей. Собственно говоря, он и не хотел, чтобы стихи пошли с подписью. Важно было видеть строчки, вылившиеся из сердца, напечатанными. И даже лучше без подписи: неизвестно еще, как стихи будут выглядеть не в чернилах, а в типографской краске. Именно эта неуверенность в себе заставила Бестужева обратиться к Измайлову, а не к Гречу. Казалось страшным, что судьей первых неверных опытов будет насмешливый Греч.

Бестужев намеревался испытать себя и в прозе. Для этого он выбрал отрывок из сочинения графа де Брей * и перевел его под названием: «О нынешнем нравственном и физическом состоянии лифляндских и эстляндских крестьян». Отрывок был выбран не без расчета. Недавно освобожденные от крепостной зависимости балтийские крестьяне вдруг вышли на сцену общественной жизни как новое явление, интересное и даже значительное, если иметь в виду все растущие склонности общества к раскрепощению крестьян в остальной империи. Выбирая отрывок из де Брея, Бестужев хотел выступить перед русской публикой как ловкий парижский публицист, умеющий своевременно и живо осветить занимающий умы вопрос. Греч одобрил и самую идею, и отрывок, и перевод, в который, впрочем, внес множество грамматических исправлений. Бестужев пробовал спорить, но был опрокинут навзничь первым же наскоком Греча. Николай Иванович не без основания считался превосходным русским грамматиком. Статья вышла в № 38 «Сына Отечества».

Бестужев жил в Марли, той части Петергофа, которая примыкает к дворцовому строению этого имения. Поручик Пенхержевский, часто заходя в занимаемый Александром домик, уже несколько раз заставал его на диване, над листами бумаги, развеянными по полу, и с пером, которое острые зубы прапорщика грызли с жестоким постоянством.

— Что это ты, любезный, все пишешь, как Геродот? — подозрительно спрашивал поручик. — Вот, и

---

* Essai critique sur l'histoire de la Livonie etc. 1807.

сегодня. А ведь нынче, чай, не почтовый день... Ха-ха-ха!

Бестужев посмотрел на поручика и удивился. Этого человека он считал еще недавно своим другом из числа «избранных». Но ведь Пенхержевский просто глуп, несмотря на свою необыкновенную способность витиевато выражаться. Вообще свет оказывался неимоверно узеньким: с тех пор, как брат Николай Александрович снова ушел в заграничное плавание, ни одного вполне рассудительного и честного друга не оставалось у Александра. Товарищи по полку, все вообще, не годились в друзья.

Поручик Яковлев, прозванный «куликом» за длинный нос, — дерзкий хвастун и неистощимый враль. Простодушный Кардо-Сысоев полагал, что Дания — главный город Ганноверского королевства и что экватор и Эквадор — одно и то же. У Сиверса почти не оставалось носа от древнейшей из венерических болезней. Все — в этом роде. Оставался Клюпфель со своими масонскими знаками, но трудно представить себе существо более надутое и скучное, чем Клюпфель.

Пенхержевский присел на диван к Бестужеву и, подбирая с полу исписанные листы бумаги, небрежно их перечитывал.

— А это что?

Это была карикатура, бойко набросанная Бестужевым в минуту, когда ничего не писалось. Все офицерское общество полка было представлено в виде птичьего двора. Старая способность Бестужева «уродить» людей на рисунке весело разыгралась в карикатуре. Пенхержевский живо узнал «Кулика» — Яковлева, себя — в жирном гусе, Клюпфеля — в торжествующем индейском петухе. Поручик водил пальцем по бумаге и, отыскав знакомое лицо, отваливался

на спину и стонал от смеха. Потом вдруг вскочил и вместе с веселым листом кинулся вон из горницы: унес показывать бестужевский шедевр.

В течение целого дня по полку гуляли Пенхержевский, карикатура и общий довольный хохот. А на утро Пенхержевский, туго затянутый парадным шарфом и в кивере, явился к Бестужеву с вызовом от Клюпфеля. Поручик был обижен и требовал сатисфакции.

Стрелялись через сутки, версты за три от большой петергофской дороги, в чахлых березовых кустах над речкой. Бестужев ехал на место встречи с сладким замиранием сердца. Клюпфель — глуп, но пуля дурака бьет не слабее всякой другой. И в сознании смертельной опасности, которой нельзя было миновать, несмотря на ничтожность создавшего ее случая, заключалось что-то грустно-поэтическое. Вся жизнь — сцепление пустяков и ужасов, — такая же, на многие годы растянувшаяся, дуэль. Презрение к жизни переполняло грудь Бестужева, когда он стоял перед дулом клюпфелевского пистолета. Грянуло, ткнуло в шею, затянуло дымом, — ничего: пуля прошла через воротник и широкий галстух. Свой заряд Бестужев выпустил в березку возле Клюпфеля и — попал, — деревцо жалко надломилось.

— Довольно! — закричали секунданты.

Клюпфель подошел с протянутой рукой, — бледный и нелепо улыбающийся. Назад ехали вместе. Когда караульный унтер-офицер на заставе лихо крикнул:

— Бом — высь! —

и пестрый шлагбаум начал медленно подниматься, недавние враги обнялись.

Чичерин сделал вид, что ему неизвестно о поединке. В глазах юнкеров и только-что произведенных

прапорщиков Бестужев сразу стал героем. Поэт, остроумный рисовальщик, дуэлянт — по духу времени и вкусу, такая репутация должна была считаться завидно блестящей. Бестужев достиг того, к чему всегда стремился — первенствовать среди общества, в которое забросила его судьба. Он мог бы теперь наслаждаться своим положением в полку. Но — странное дело: как только это положение было достигнуто, оно сразу потеряло цену и интерес. Снова с сокрушительной силой проявилась эта удивительная особенность Бестужева, — заветная приманка вчерашнего дня уже сегодня казалась скучной, ненужной ветошью, и выбросить на удивление людям свое равнодушие оставалось единственной забавой. Конечно, в этих настроениях было немало условного, почерпнутого не из души, а из книг. Наконец, они были просто модны.

Николай Александрович Бестужев вернулся из заграничного плавания поздней осенью и привез с собой множество политических новостей. 27 сентября на Аахенском конгрессе была подписана конвенция о вывозе из Франции союзных войск, а 3 ноября — протокол нового союза пяти великих держав и самая удивительная из всех политических деклараций. В этом документе государи России, Австрии и Пруссии сообщали миру, что отныне цель их будущей политики заключается в поддержании существующего порядка, который, по их мнению, вполне согласован с духом христианского братства, об'единяющего монархов. Только система, даровавшая Европе мир, способна обеспечит продолжение мира. Сущность этой системы в том, что монархи и их подданные должны считать себя членами одной и той же христианской нации. Сам бог — верховный владыка

этой нации, и ему «собственно принадлежит держава, поелику в нем едином обретаются сокровища любви, ведения и премудрости бесконечныя». Этот пустой и трескучий акт считали в Европе произведением пера русского императора. Новый союз, заключенный «во имя пресвятой и нераздельной троицы», получил название Священного Союза.

Греч злобно хохотал над всей этой метафизикой, когда братья Бестужевы заехали к нему в один из четвергов. Николай Иванович был практический человек, и подобные отвлеченности шевелили в нем желчь. В это время он был занят по горло устройством солдатской ланкастерской школы взаимного обучения в гвардейском корпусе и удивлялся успехам солдат — через два месяца занятий они читали и с таблиц и по книгам, многие уже и писали порядочно. Прилежание, рвение, удовольствие, с которыми они учились, были поразительны и трогательны...

Греч провел своих гостей в кабинет. Там сидел у бюро Николай Тургенев. Спокойные серые глаза его были глубоки и выразительны. Короткая левая нога, заставлявшая его ковылять на ходу, казалась особенно досадным промахом природы в этом человеке большого тела и сильной мысли.

Греч показал на Николая Александровича:

— Господин Бестужев только-что прибыл из-за границы и рассказывает такое, что и в голове вместить невозможно. Мое мнение — Священный Союз еще себя покажет.

Тургенев быстро развернул Гамбургскую газету.

— Однако император держится своего. Читайте, что он сказал недавно генералу Мезону: «Наконец, все народы должны освободиться от самовластия. Вы видите, что я делаю в Польше и что хочу сделать и в других моих владениях». Я слышал наверное, что

Новосильцов, по поручению государя, уже составляет «Уставную грамоту» русскому народу, и это — конституция.

— Да он не хочет, — он только хочет хотеть, собирается хотеть, — заметил Греч, — а это вовсе не одно и то же.

В последнее время Александр Бестужев несколько сторонился Греча. Николай Иванович как-то пообещал выносить из него писателя в яйце подмышкой. Покровительственный тон фразы взбесил Бестужева. Не скажи ее Греч, может быть, в драгунской голове и не родилась бы дерзкая мысль об издании нового журнала. Но Греч неловко затронул самолюбие, и мысль родилась.

Бестужев живо настрочил прошение в Петербургский цензурный комитет, приложил к нему копию своего формулярного списка, и все это из рук в руки сдал экзекутору министерства просвещения, клеившему возле печки конверты из серой бумаги.

В прошении значилось, что прапорщик лейб-гвардии драгунского полка Александр Бестужев желает издавать с 1819 года журнал под названием «Зимцерла» по следующей программе: иностранная и отечественная литература, переводы в стихах и прозе, сочинения, до всех отраслей гражданских и военных наук касающиеся, стихотворения всех родов поэзии, библиография, критика и смесь. Журнал должен быть двухнедельным. В каждой книжке — не более четырех печатных листов.

«Довольно разговоров и робких мальчишеских опытов, — думал Бестужев, сдавая экзекутору прошение, — довольно поклонений Гречу. Пора делать дело!»

«Зимцерла» — древнерусское слово, обозначающее конец зимы, весну. Копаясь в статьях Каченовского,

Бестужев с торжеством выхватил из них это словечко. Его смысл был совершенно у места, и, кроме того, оно было непонятно, таинственно, странно. В таких случаях слово должно шуметь... О себе Бестужев в прошении из'яснялся так:

«Будучи занят делами по службе, не мог я еще быть известен публике, кроме следующих пиэс, помещенных в журнале «Сын Отечества» (№№ 31 и 38): «Дух бури» (стихами из Лагарпа) и «О состоянии эстонских и ливонских крестьян», но надеюсь заслужить внимание оной изданием помянутого журнала».

В январе 1819 года Бестужеву выдали копию решения цензурного комитета. Цензоры Тимковский, Яценков, Зон и Спада находили, что программа задуманного Бестужевым журнала — необычайно широка и требует от издателя обширнейших сведений по всем своим частям да, кроме того, еще и «практической опытности для правильного суждения о предметах, до государственного управления относящихся». Комитет не решался «сего в господине Бестужеве ни отрицать, ни предполагать, по его слишком еще молодым летам (ему от роду 20 лет)». Дальше язвительно отмечалось: несмотря на то, что в послужном списке Бестужева перечислено до двадцати наук, которым он обучался, «однако же в писанной им, Бестужевым, программе Комитет не без удивления заметил в десяти не более строках три ошибки против правописания, что доказывает по меньшей мере его невнимательность и небрежность». Да и в указанных Бестужевым произведениях его пера комитет не находил ни чистоты слога, ни правильности языка. Цензоры считали, что издатель, кроме обширных сведений, должен обладать еще величайшим терпением, беспрерывной внимательностью и навыком к

трудам, а г. Бестужев сам из'ясняет, что занят делами по службе. Естественно, что «занятия по оной будут часто отвлекать его от многотрудных занятий журналиста».

Отказ. Решительный отказ... Бестужеву казалось, что Комитет угорел. Как? Три ошибки против правописания — причина для отказа? Двадцать лет — преступление? Служба — ярмо?

ЯНВАРЬ 1819 — ДЕКАБРЬ 1819

И случай, преклоняя темя,
Держал мне золотое
стремя.

А. Бестужев.

ПРОВАЛ «Зимцерлы» не обескуражил Бестужева. Это было одно из тех затруднений, которые, по свойствам бестужевского характера, волной поднимали его кипучую энергию. Ему хотелось многое сказать о русской литературе. Он был недоволен ходом ее развития. Творчество Карамзина и Жуковского представлялось ему беспринципным, бессильным, лишенным самобытности. В Бестужеве созревал протест против литературных авторитетов. Но недостаткам их творчества надо было противопоставить положительное мнение об истинных задачах литературы. Бестужев принялся усиленно читать иностранных критиков и размышлять. Разрозненные мысли постепенно складывались в цельный взгляд.

Литература должна служить целям общественного развития, улучшая нравственную природу читателей. Для этого нравственного улучшения общества лите-

ратура располагает могучим средством, прививая читателю вкус ко всему изящному. Создание этого вкуса, его очищение — прямое дело государственной важности. То, что физически прекрасно, отражается прекрасными явлениями и в нравственной жизни людей. Разум, вкус, моральные чувства — разные стороны прекрасного, и из них вкус — источник чистейших нравственных удовольствий. Поэзия и музыка исправляют людей. «Безнравственность может написать прекрасную статью об электричестве, о хозяйстве, но поэма, высокий роман и история личин не знают», по крайней мере, не должны знать.

Связав все эти разрозненные мысли Сульцера, Шэфтсбюри и Гутченсона в одно целое, Бестужев почувствовал себя во всеоружии. Это было именно то, чего ему нехватало, — положительный взгляд на вещи, твердая позиция и арсенал аргументов. Интуиция оделась в броню понимания. Бестужев полагал себя в силе раз'яснить литературе ее задачу. Для этого надо было выступить в роли критика, так как «критика — краеугольный камень литературы».

В театре было душно. Давали трагедию Расина «Эсфирь» в стихотворном переводе Катенина. Сам Катенин — маленький, круглолицый и розовый полковник лейб-гвардии Преображенского полка — сидел в первом ряду кресел и кипел, как кофейник на огне. В антрактах возле него собирались друзья и, пожимая руку знаменитого переводчика, почтительно слушали его бойкие речи. Катенин был умен и начитан, знал и понимал театр, наизусть декламировал Эсхила, Софокла, Эврипида, Корнеля, Расина и любил говорить. Он подавлял собеседников тяжестью своих тирад и в вопросах драматургии считался чем-

то вроде диктатора. Бестужев прошел мимо горячившегося полковника.

«Вот, с кого я начну!» — подумал он и громко сказал Клюпфелю:

— Надо постегать этого литературного диктатора, Катенина. Мочи нет быть с ним вместе в театре. Погляди, как судит и рядит, хоть вон беги...

Несколько дней после этого спектакля Бестужев не выходил из своего домика в Марли. Товарищи заглядывали. — «Пишет», — и, махнув рукой, уходили. Эскадронный командир смотрел сквозь пальцы на вечное отсутствие Бестужева в манеже и при разводах. — «Пишет!». В полку гордились тем, что прапорщик Бестужев — сочинитель. Это ставило его над строевыми буднями полковой жизни. — «Пишет!»... Действительно, он писал для «Сына Отечества» критический разбор катенинского перевода «Эсфири». Поставив последнюю точку и даже не перечитав написанного, радостный и возбужденный, Бестужев помчался в Петербург.

Статья разорвалась в гречевом кабинете подобно конгревовой ракете. Александр Александрович прочитал ее громко и выразительно. Его темные глаза пылали. В длинной комнате с канареечным садком у окна и сверкающим полом было тихо. Варвара Даниловна застыла в принужденной позе изумления. Сестра хозяина, Катерина Ивановна, — старая дева с малиновым лицом и белыми, как лен, бровями, — уронила в растерянности из прически старомодный гребень, да так и не подняла его, раскрыв рот с черными, как обгорелый частокол, зубами. Сам Греч, в серой китайчатой курточке с карманами, поднял очки на лоб и забыл их там. Вот так критика!

Бестужев открыл статью кропотливым сличением отдельных мест перевода с оригиналом. Затем объ'я-

вил, что фрагментов, сохранивших красоту подлинника, он насчитывает во всем переводе только десять, приводя в качестве примера:

«Пучины бурные разгневанных морей
Не так опасны нам, как лживый двор царей».

Все остальное об'являлось сцеплением «непростительных ошибок против вкуса, смысла, а чаще всего против языка, не говоря уж о требованиях поэзии и гармонии». В доказательствах критик не имел недостатка: «таинственное наречие» переводчика давало для них богатый материал.

«Прилежный слух вперил сих повестей во чтенье»...

— Что это такое? — гневно восклицал Бестужев. — Поэтому, когда у слуха и зрения одинаковые свойства, можно сказать: развесил глаза? Признаюсь, услышав на сцене слова сии, я зажмурил уши.

— Кто не скажет, прочитавши нашу Эсфирь, что она есть пародия Эсфири Расиновой?

Особенно крепок был конец статьи:

«Не обязавшись перепечатывать Эсфирь снова оканчиваю замечания сии, хотя они могли бы быть бесконечны. Особы, желающие увериться в истине их, могут получить подлинник перевода Эсфири у театральных дверей за сходную цену, с полною коллекцией его красот и недостатков».

Греч вскочил с «вольтера».

— Ну, брат Александр, ты распоясался. Таких критик у нас еще никто не писал от роду. Да знаешь ли ты, что такое Катенин? Он живет в Преображенском полку на Миллионной, возле дворца, и ежедневно видит государя, когда тот с утренней про-

гулки заходит в казармы. О Катенине недавно Пушкин обмолвился, —

. . . . . . Катенин воскресил
Корнеля гений величавый.

...А ты его рылом в песок, в песок... Что же мне теперь с тобой, драгун, делать? А разбор хорош, справедлив, и шуму будет много, ежели напечатать...

Греч прошелся по комнате.

— Вы — хозяин, — скромно сказал Бестужев, — решайте. Только думается мне, что отечеству нужны не катенинские переводы, а «Сыну Отечества» — не слюнявые критики отпетых пустозвонов. Да подсчитайте, чего будет стоить шум!..

Но Греч уже все подсчитал.

— Беру! — крикнул он и, быстро подойдя к люку, ведущему в типографию, скомандовал, как капитан на корабле: — Иогансон, несите сюда корректуру третьего номера, — будем делать замену.

Статья Бестужева в «Сыне Отечества» имела успех небывалый, поразительный. Читая эту статью, все, кто видел «Эсфирь» на сцене и восхищался фанфарной громкостью неуклюжих катенинских стихов, протирали глаза. Перелистывая статью, они как бы вновь смотрели трагедию, и она слышалась им совсем по-другому. Удивлялись, как эти явные недостатки перевода не были никем замечены раньше, как мог Катенин их допустить. Многие утверждали уже, что только Катенин и мог допустить их. Враги литературного диктатора торжествовали. Друзья наезжали к нему в Преображенские казармы с пошлыми фразами сочувствия. Катенин в несколько дней побледнел

й осунулся. Рассказывали, что старик Расин является к полковнику по ночам и грозит ему иссохшим перстом. Все спрашивали:

— Позвольте, но кто же это — Александр Бестужев?

Пожимали плечами. До Петергофа домчался слух, что Катенин уже шлет секундантов к Бестужеву. Клюпфель и Пенхержевский явились в Марли, предлагая Александру услуги на случай поединка. Буря перенеслась в журналы. Чернильные брызги разлетелись по салонам. «Мамаево побоище» кипело. Бестужев становился литературной известностью. Каждые сутки прибавляли к этой известности что-нибудь новое. Говорили, что он — красавец собой, завзятый дуэлянт, молод, но забористой необыкновенно; одни передавали за верное, что он богат и печатает только для славы, другие,—что он проиграл в штосс пять деревень и решил поправить дела на литературе. От всех этих рассказов и пересказов на Бестужева падала зарница если не славы, то модной известности несомненно. Почта начала заносить в Марли душистые записочки и пригласительные билеты на семейные торжества и бальные вечера. Бестужев поспевал везде. Завязывались новые, интересные отношения. Издатели просили статей, повестей, стихов и, когда Бестужев скромно замечал, что он только критик, твердили:

— Помилуйте-с, с вашим талантом...

Вальсируя на именинном балу в доме какого-нибудь действительного статского советника, Бестужев считал голубые жилки на мраморных плечах своей дамы и обдумывал, в какой журнал и что именно написать. Всех настойчивее был Греч. Он потирал руки от удовольствия, предвидя после нескольких бестужевских статей, подобных прогремевшей, неиз-

бежное увеличение числа подписчиков «Сына Отечества». В его кабинете было решено, что следующий выстрел Бестужев направит в Шаховского.

За кулисами театра, в репертуарном комитете, в театральной школе толстый, суетливый, брызгающий слюной в собеседников, шумно-бестолковый князь Шаховской был все. Он выпускал актрис на сцену и выдавал их замуж, одобрял и браковал комедии, испытывал дарования, упразднял бесталанных и вместе с тем наводнял репертуар своими собственными произведениями. Он строчил комедии и водевили с лихорадочной торопливостью, подгоняемый дорогими капризами актрисы Ежовой, с которой был в связи. Его комедия «Урок кокеткам» (или «Липецкие воды») шла на петербургской сцене с громадным успехом. Все в этой комедии нравилось неизбалованной публике: и чисто русские характеры персонажей, и легкий стих, и вкрапленные в пьесу воспоминания о славных войнах 1812—1814 годов. Театр дрожал от смеха, когда бледной тенью выходил на сцену влюбленный поэт Фиалкин — в его вздохах и слезливых сантиментах публика узнавала приторного Жуковского. Каждое представление «Липецких вод» было триумфом автора и актеров. По всем этим причинам Греч и полагал, что именно сюда следует направить критический выпад Бестужева.

Сам критик, готовясь выступить против всемогущего Шаховского, хотел сразу сделать два дела: свалить назойливый авторитет и поднять в публике чувство вкуса к подлинно изящному. «Липецкие воды» никак не могли служить нравственным целям, которые Бестужев ставил перед искусством.

Статья была написана с жаром.

«К счастью, театральный репертуар не есть книга бессмертия», — язвительно замечал для начала Бесту-

жев и, пускаясь в разбор комедии, находил в ней множество грубейших ошибок против законов драматургии.

«Первые три действия проходят в рассказах, обниманиях и пересудах между родственниками, в кокетстве графини и перебранке ее любовников». Только в предпоследнем действии происходит нечто, похожее на завязку. Характеры главных персонажей не разработаны и выражаются не столько в действиях, сколько в аттестациях, которые даются им со стороны третьих лиц. Язык персонажей не выдержан. Графиня говорит то языком прихожей, то как доктор философии. Князь Холмский — резонер без резонов. Угаров — лицо ненужное и ненатуральное. Фиалкин...

Фиалкин — это Жуковский, которого сильно не любил Бестужев. Но Фиалкин — просто смешон, а Жуковский — опасен для русской литературы, тем более опасен, что очень талантлив, и бороться с ним надо не пошлой комедийной стряпней.

«Наше мнение следующее: комедия «Урок кокеткам» есть вместе и урок драматическим писателям... и вообще принадлежит к числу пиес, которые знаменитый Попе называл барабанными», — так кончалась статья.

«Драгунская» критика «Липецких вод» появилась в февральской книжке «Сына Отечества» и снова подняла на ноги литературных бойцов. Имя Бестужева опять было у всех на устах, и маленькая слава бежала перед ним, расчищая путь. Греч радовался за отечество и «Сына», а Бестужев ежедневно скакал из Петергофа в Петербург и назад в надвинутой на лоб фуражке с кисточкой, как носили тогда гвардейские франты.

Два года назад, в торжественные дни юбилея реформации и Лейпцигской битвы, немецкие студенты и профессора собрались в Вартбурге и говорили горячие патриотические речи в духе «самого крайнего» либерализма. После речей разложили костер. В пламя полетели волюмы сочинений, напоминавших либералам горькое время наполеоновского самоуправства в Германии. Кто-то крикнул:

— А Коцебу?

И огненный столб взвился над грудой печатных произведений Августа Коцебу.

Коцебу состоял в Германии политическим агентом России и сражался с немецкими либералистами на страницах «Литературного Еженедельника», к которому особенно благоволил Меттерних. Этого было достаточно для ненависти и презрения к нему со стороны молодого немецкого общества. Когда же одно из шпионских донесений Коцебу попало в печать, гнев вылился через края чаши терпения, и кинжал восторженного студента обрезал нить подлых дней Августа Коцебу. Занд был казнен как убийца, но платки, омоченные в его священной крови, хранились, как реликвии, у бурно бьющихся студенческих сердец.

О, юный праведник, избранник роковой,
О, Занд, твой век угас на плахе,
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.*

Убийство Коцебу вдруг поставило русское правительство лицом к лицу с европейским либерализмом. Либералы Европы, оглушаемые до сей поры треском речей императора Александра, услышали голос императорского шпиона, продающего венчанному

* Пушкин.

обманщику славу и честь своей родины. С русского императора и его министров упали покровы привычного политического обмана, и конец маскарада произошел на глазах всей Европы. Стыд приходит в таких случаях уже после ярости.

Удар Занда пришелся по Коцебу, больно задел императора Александра и благодетельно отозвался на русских либералах. Кинжал немецкого студента вырыл пропасть между Александром и европейским либерализмом, приблизил вплотную к последнему русских либералов и окончательно разлучил их с царем. Александр открыто пошел назад, — дальше обманывать было некого и незачем. Русские либералы ринулись вперед, — верить Александру дальше было бы нелепо и смешно.

Только слепые могли не видеть, как резко переменился Александр. Хромой Тургенев писал 26 июня 1819 года брату:

«Тот, которым восхищалась Европа и который был для России некогда надеждой, — как он переменился!.. Теперь нельзя ничего предвидеть хорошего для России».

Местом, где было сосредоточено все откровенное и прямое, что говорилось в Петербурге по адресу императора и правительства, где переваривались все свежие европейские новости, был дом Е. Ф. Муравьевой, урожденной баронессы Колокольцовой. Александр Бестужев любил бывать в муравьевском дворце на Фонтанке. Ему нравился дух этой семьи, аристократической по имени и положению в обществе, но вместе с тем совершенно свободной от узости чисто аристократических интересов. Отец хозяйки дома, старый барон Колокольцов, давно уже умер, но тень его как бы еще жила на Фонтанке. Он был крупнейшим землевладельцем, откупщиком, акционером Рос-

сийско-Американской компании, энергичным, предприимчивым дельцом и одновременно сенатором, — государственным сановником подвижной, чисто английской складки. Практических наклонностей старый барон не передал своим наследникам, но его глубокая симпатия к деловым взглядам на жизнь и ее задачи, к английско-американским формам общественных отношений, к новым приемам хозяйственной деятельности продолжала жить среди них.

Старший из сыновей Екатерины Федоровны, Никита, был поручиком гвардейского генерального штаба. С увлечением копаясь в огромной дедовской библиотеке со стеклянным куполом, он сочинял острые замечания на «Историю» Карамзина. Часто случалось, что в библиотеке собирались его личные гости, молодые гвардейские офицеры, и тогда вход в эту комнату для всех прочих бывал решительно закрыт.

Не только Бестужеву нравился этот необыкновенный дом. У Муравьевых постоянно появлялись и обритый после болезни Пушкин; и знаменитый Карамзин, высокий и статный, с развевающимися на ходу жидкими волосами; и директор департамента духовных дел в министерстве просвещения, веселый афей * Александр Иванович Тургенев.

Был в Петербурге еще один дом, где Бестужев часто встречался с Пушкиным, — у Олениных. Президент Академии художеств, Алексей Николаевич Оленин, — щупленький, крохотный человечек в выцветшем ополченском мундире 1812 года, с огромным носом и гигантскими сведениями из всех областей искусства, — любил артистические разговоры, споры о литературе, толки о политических новостях. За гастрономическими обедами в доме Олениных об'едал-

* Атеист.

ся хитрый звездоносец Крылов и, закрыв глаза, слушал неугомонный говор общества, изредка шумно вздыхая. Называли басни, сложенные им во время этих послеобеденных отдохновений и записанные тотчас по приезде домой.

Везде, где бывал Александр Бестужев, его принимали охотно. Он был умен, разговорчив, весел, остер, и литературная известность делала хорошее имя двадцатидвухлетнему прапорщику. Когда какой-то усатый ротмистр шпорой сорвал в кадрили кружево со шлейфа бестужевской дамы, прапорщик попросил его вон из залы, и после минутного разговора был вызван. Стрелялись в Лесном, — классическом месте самоубийства запойных чиновников и влюбленных немок. Ротмистр дал мимо, а Бестужев выстрелил в воздух и, вскочив на лошадь, ускакал в Петергоф. То, что было бы поставлено многим другим молодым людям в упрек как бреттерство, принималось в Бестужеве за изысканное благородство, — и хвалебная молва о нем бежала по городу.

Юнкерские мечты сбывались.

ЯНВАРЬ 1820 — ДЕКАБРЬ 1820

Ремесленники так злы,
что дают сдачи, если их
бьют.

Стендаль.

ПЕТРУША Бестужев, юноша кроткого нрава, флегматик, до страсти любивший чтение серьезных сочинений, не по летам молчаливый и задумчивый, надел 22 февраля 1820 года мичманские эполеты. А 1 марта и Александр Бестужев прочитал приказ о

своем производстве в поручики. Геральдический пятилистник старинного рода расправлял и выравнивал ростки. Новый поручик хорошо знал историю своей родины и своего рода. Ему было известно, что не Бестужевы, а Бестужевы-Рюмины наполняли XVIII век блеском имени. Но корень обеих фамилий — общий, и этого было довольно для Бестужева, чтобы с грустью думать о потерянной славе рода. Пылкость воображения и врожденная склонность к преувеличениям питали в нем эту фантасмагорию. Если бы Прасковья Михайловна не была до замужества простой нарвской мещанкой, может быть, миражи болезненного самолюбия беспокоили бы ее сына гораздо менее. Бестужев зорко приглядывался к окружающему. Он видел Никиту Муравьева, вовсе не кичившегося своей знатностью и даже готового променять ее на почтенное гражданское имя в стране, обеспечивающей свободу полезной деятельности. Он высоко ставил практический разум Греча, удивлялся редкому соединению в нем дерзости и осторожности, ценил и уважал его жизненные успехи, достигнутые без всякой помощи знатности.

Люди с умом и талантом не могут не желать революции. И Никита Муравьев и Греч ждали революции. Однако делать ее собирался только первый. И правильно: революцию в России надлежало делать дворянам, — такова старая традиция, освященная примерами античной истории. Аристократический строй должен быть свергнут, но свергнуть его надлежит аристократическими же руками. Бестужев не богат, как Муравьев, но он и не выходец из толпы немецких бродяг, как Греч. Следовательно, его место среди российских римлян, которые непрочь за славу отдать все, чем владеют, и даже то, чего у них нет. Да и в самом деле, разве «исторический дворянин»

Бестужев чем-нибудь хуже Алексея Орлова или Потемкина?

Так представлял себе Бестужев смысл борьбы, о которой смутно мечтал еще в юнкерские времена.

Никита Муравьев подал в отставку. Когда Бестужев спрашивал о причине, Никита строго глядел своими большими серыми глазами и отвечал невнятно о каких-то «важных делах», решительно не позволяющих ему служить дальше. В библиотеке дома на Фонтанке все чаще собирались молодые друзья хозяина из гвардейских полков — князь Лопухин, отставной капитан Семеновского полка Якушкин, князь Федор Шаховской и другие. Летом собрания и секретные переговоры происходили на даче.

Бестужеву очень хотелось проникнуть в муравьевскую тайну, но она так тщательно охранялась, что самолюбие заставляло его сторониться Никиты с некоторым даже раздражением. Он предпочитал живые и откровенно рискованные либеральные разговоры. Эти разговоры велись в любой ресторации, и даже у пышного Андрие за обедом можно было ежедневно видеть подвыпивших офицеров, напевавших переведенную Катениным с французского песенку:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о, злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами.
Ах, лучше смерть, чем жить рабами,
Вот клятва каждого из нас».

И Бестужев распевал вместе с другими, высоко поднимая руку при последнем стихе. Когда он думал

о том, что эту песню кричал Париж в бурные дни революции, волосы оживали у него под фуражкой и комок сладких слез подступал к горлу. Он любил свободу и ненавидел деспотизм...

Европа кипела в котле революций. В марте испанский король присягнул «Конституции 1812 года»; он был вынужден к этому военным восстанием и подведен к присяжному акту не кортесами, а железной рукой Риэго.

«Слава тебе, слава тебе, армия гиспанская!» — отметил Н. И. Тургенев в своем интимном журнале.

«Революция совершилась в три месяца, и не пролито ни капли крови... Это прекрасный аргумент в пользу революций», — писал Чаадаев брату.

В Берлине народ открыто бранил короля. Португальская хунта, воспользовавшись пребыванием короля в Бразилии, после быстрого военного восстания взяла в руки управление страной. Прошли времена, когда каждая почта сообщала о введении конституции то в Бадене, то в Дармштадте, и либералы, встречаясь на петербургских улицах, спрашивали друг у друга шопотом:

— А нет ли еще где-нибудь новой конституции?

Теперь вопрос, с которым они радостно пожимали при встречах дружескую руку, звучал совсем иначе и задавался громко:

— А нет ли еще где революции?

В это удивительное время император России гостил в Грузине у верного своего друга, «неученого новгородского дворянина», графа Аракчеева, а министр просвещения, князь Голицын, строго выговаривал попечителю петербургского учебного округа Уварову за

статью в «Невском Зрителе» под скромным названием «О влиянии правительства на промышленность»:

— Таковое смелое присвоение частными людьми себе права критиковать и наставлять правительство ни в коем случае позволено быть не может...

Внезапно разразилась гроза над Пушкиным.

Еще недавно видели его в театре. Он ходил по креслам, показывая знакомым и незнакомым портрет Лувеля * с подписью «Урок царям». Петербург еще твердил его эпиграммы: «Всей России притеснитель»... «Холоп венчанного солдата»... И вдруг Пушкин исчез, сжался, затих и стал бегать даже от друзей.

Дело обертывалось плохо. Можно было думать, что Пушкина ждет Сибирь. Вспоминали и о Соловецком монастыре. Чаадаев кинулся к Карамзину. Историограф поехал во дворец, к императрице Марии Федоровне. От Карамзина Чаадаев поскакал к графу Каподистриа, начальнику поэта в коллегии иностранных дел. Весь Петербург двигался для Пушкина и говорил о нем.

Вдруг стало известно, что Пушкина уже нет в Петербурге. Он выехал на юг из отцовской квартиры, в доме Клокачева у Калинкина моста, ранним утром, с дядькой Никитой, не успев проститься ни с кем, даже с Чаадаевым, которого не захотел будить. Поэта проводили до заставы лицейские товарищи — барон Дельвиг и Яковлев. Пущина не было в городе.

Молния ударила в Пушкина, но гром напугал всех петербургских либералистов. Опасность сковала языки и развязала негодование. Шум и крики замерли, наступила пора тихих разговоров с глазу на глаз...

---

* Седельщик, убивший престолонаследника Франции, герцога Беррийского.

Спасаясь от скуки пресных светских отношений, из которых вдруг выпала острота политических споров и суждений, Бестужев с яростью принялся грызть перо. Чернильная война была ему по душе, и он напечатал в «Сыне Отечества» серьезный «Разбор песни о сражении русских с татарами» и в «Благонамеренном» — злое «Письмо к издателю о переводе отрывка из Расина «Сон Гофолии». Автором песни и отрывка был Катенин, недавно вышедший в отставку из полковников Преображенского полка. Церковнославянская затхлость катенинского языка, манера воскрешать архаические литературные образы, залоснившиеся от долгого употребления писателями XVIII века,— все это бесило Бестужева. В разборах и критических статьях, направленных против Катенина он был беспощаден, и обидно-ядовитые словечки из арсенала «драгунской критики» снова начали гулять по Петербургу.

Однажды Николай Александрович вошел в петергофскую квартиру Александра с развернутым номером «Невского Зрителя» в руках.

— Вот, как надо писать в наше время, — сказал он, — читай. Я прискакал к тебе из Петербурга, — какие жестокие стихи, какая правда, какой удар по злодею...

Александр прочитал:

«К временщику».

(Подражание Персиевой сатиры: «К Рубеллию»).
Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!
. . . .

Тиран, вострепещи! Родиться может он!
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!
. . . .
Но если злобный рок, злодея полюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Все трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!

— Аракчеев, — прошептал Александр, роняя книжку журнала на диван.

Сатира «К Рубеллию» была уже однажды переведена пьяным поэтом Милоновым, который, не проспавшись, приписал ее Персию. Но то была просто сатира на придворного льстеца, а эта — вызов, адресованный в длинный, деревянный, унылый дом на Литейной, прямо в логово Аракчеева. Изумление, ужас, оцепенение охватили Александра. Сатира была подписана: Рылеев. Младенец бросался на великана. Кто этот смельчак?

— Рылеев погиб, — грустно сказал Александр.

— Погиб несомнительно, — подтвердил Николай Александрович, — дерзновенный поэт будет истреблен тотчас. Слишком верно изображение, слишком близко, чтобы Аракчеев не узнал себя в нем.

Так думал и весь Петербург, читая сатиру и удивляясь неслыханному мужеству автора, вдруг показавшему, что и в цепях можно говорить правду, вызывая сильных на суд.

Дни скользили в тревожных сумерках. Но туча уходила в сторону, — никто не слышал о гибели Рылеева. Тогда поняли, что Аракчеев не решился признать себя в дерзкой сатире, и шопот похвал неведомому стихотворцу нарушил мертвенную тишину ожидания.

Служить в полку становилось все трудней. Начальство не угнетало Бестужева нарядами в караулы, строевые обязанности субалтерн-офицера были ничтожны, хозяйственных обязанностей на нем не лежало вовсе. Бестужев мог проводить целые дни дома, в Марли, и уезжать в Петербург, когда вздумается. Но самый дух службы становился невыносимым. Эскадронный командир, капитан Климовской, ударами могучих кулаков разбрасывал по манежу из пешего строя солдат. Каждое посещение эскадрона полковым командиром, генералом Чичериным, означало безжалостную порку солдат дюжинами. Вахмистры свирепствовали пуще офицеров. Душно становилось в полку, и желчь подымалась в Бестужеве мутным наплывом. Впрочем, говорили, что в лейб-гвардии драгунском полку еще можно служить, так как он стоит в Петергофе, не на глазах царя. Гвардейские же полки, квартировавшие в столице, почти не сходили с плац-парадов.

Гвардия получила новых полковых командиров.

Полковник Шварц принял Семеновский полк от генерала Потемкина, назначенного начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. Потемкин был известный щеголь, доктор Оксфордского университета, мягкий и либеральный человек. При нем семеновцы понятия не имели о том, что такое палка. Про Шварца же рассказывали, что в Калужском гренадерском полку, которым он раньше командовал, осталась после него братская могила засеченных рекрут и солдат. Так и называлась она: «Шварцова могила».

Уже из первого приказа, подписанного новым командиром, стало ясно видно, что будет дальше. Шварц выражал полное недовольство Семеневским полком, — все было плохо — от строя до артельного хозяйства рот. Кровати были выброшены из ротных

помещений и заменены нарами. Мгновенно пропали куда-то солдатские самовары. Запустели полковые огороды, — стало не до них. А приносили они каждой роте по 500—600 рублей в лето. Многие солдаты вязали султаны на продажу, — дело очень выгодное, — и имели достаток. Стало и не до султанов. На вольные работы новый командир велел отпускать нижних чинов только гуртом, по-взводно, но где же сыскать гуртовую работу на взвод, состоящий из знатоков самых разнообразных ремесел? Все свободное от службы время солдаты были заняты одним делом:

По три денежки на день,
Куды хочешь, туды день.
Купишь меду, купишь клею
И сандалишь портупею...

В манеже—сыро, пар густо клубится у ртов, голоса начальников звучат, будто из подвала. Начищенный, прибранный, обтянутый и вытянутый в блестящую пружину Шварц учит роту. Он выколачивает темп, не жалея своих упругих ляшек, то и дело выскакивает вперед и, скрючась, шагает задом, подавая такт дрыганьем всех суставов. Заметив непорядок, бросает марширующий взвод и ястребом слетает на правый фланг. Кулаки Шварца свистят в воздухе.

— Х-р-р-як!

Он плюет солдату в усы, потом швыряет свою шляпу на пол и яростно топчет ее ногами. В каком-то вдохновении неистовства он останавливает две шеренги и, повернув их лицом друг к другу, приказывает первой оплевать вторую. Солдаты делают это без смака. Один посмел обтереть заплеванные глаза.

— Розог!

Скамейка как бы сама выбегает перед фрунт, дневальные расправляют пучки лоз, штаны падают с обреченного солдата, через смуглое тело протягиваются полосы, — белые, словно после терпуга, — и тотчас наполняются кровью. Шварц облизывается. У него вид дровосека в разгаре работы. Он застегивает перчатки на кулаках, о которых солдаты говорят, что от каждого пахнет покойником. Учение продолжается.

Этот жестокий истязатель вздумал во время ученья 2-й фузилерной роты поставить под тесаки нескольких нижних чинов, имевших знаки отличия военного ордена. Телесные наказания таких солдат были строжайше запрещены уставом, и солдаты хорошо знали о незаконности наказания. «Государева» рота — обшитые шевронами, увешанные крестами участники великих боев — решила жаловаться на вечерней перекличке. Уговоры ротного командира, капитана Кашкарова, не подействовали. Батальонный командир, полковник Вадковский, имел еще меньше успеха.

Вечером бунтовавшая рота была арестована и тайно отправлена в крепость. Пропажа головной части поразила полк. Темной и холодной ночью сразу зашевелились все батальоны и высыпали на площадь без ружей, без шапок, без строя. Офицеры из сил выбивались, пытаясь унять волнение, — напрасно. В мутном рассвете все еще кипел людьми неоглядный плац.

К солдатам примешивались кучки народа, шедшего из слобод на раннюю работу. Путаница в распоряжениях создавала всеобщий сумбур. Командир гвардейского корпуса генерал Васильчиков, в ленте, звеня орденами, врезался с карьера в мятежную толпу.

— Изменники! Бунтовщики! — кричал он, и ры-

жая лошадь, скаля зубы, вертелась под ним, разбрасывая в стороны солдат.

К утру полк вывели из казарм, в шинелях и фуражках, при унтер-офицерах и офицерах, окруженный пехотой с примкнутыми штыками. Несколько эскадронов конной гвардии провожали его до крепости. Семеновцы шли под арест почти охотно. Крепость — не Шварц. Свернули с Невского на Фонтанку.

А. И. Тургенев вышел на под'езд своего дома и увидел эту необычайную картину. Он спросил у какого-то солдата:

— Куда вы?

— В крепость.

— Зачем?

— Под арест.

— За что?

— За Шварца.

Ропот и трусливое уныние поселились в Петербурге. Конные раз'езды рыскали по городу. Лавки запирались до сумерек. Семеновские казармы были мертвы. Солдатские жены и дети толпились у замкнутых ворот, спрашивая проходивших мимо военных:

— Служивенький, куды ж кормильцев-то наших угнали? Не слыхал ли?

Генерал Васильчиков приказал произвести посадку 2-го и 3-го батальонов арестованного полка на суда для отправления в Кронштадт, а оттуда — в Свеаборг и Кексгольм. Шесть орудий сторожили выход батальонов из крепости при посадке.

Все это было предпринято и исполнено генералом Васильчиковым по собственному его разумению, так как «августейшего махалы» не было в Петербурге; он

заседал на конгрессе в Троппау. «Грехи людей мы режем на металле, а добродетели их чертим на воде». Васильчиков никогда не читал Данте и, может быть, даже не слышал о нем, но адская надпись эта послужила для него законом. Вековая история славных походов, Полтава и Кульм, — в одно мгновение все было забыто, и грозная когорта царской гвардии перестала существовать в течение суток.

Общее сочувствие было на стороне семеновцев. Но, кажется, не было человека, который так страстно переживал бы это сочувствие и так искренно волновался бы судьбой погибшего полка, как Александр Бестужев. Он хорошо знал из семеновских офицеров Сергея Муравьева-Апостола, поручика Арсеньева, полкового ад'ютанта Бибикова. Что будет с ними? Что делается с 3-м батальоном, вывезенным в Кронштадт? Бестужев взял на двое суток отпуск к младшему брату Петруше, служившему при главном начальнике Кронштадского порта, и на новеньком пароходе Берда, только-что открывшем пригородные рейсы, 20 октября выехал в Кронштадт.

На рейде качалась дырявая посудина, без бортов и окон, наполовину залитая водой. Эта посудина была когда-то кораблем и называлась «Память Евстафия». Последнее слово стерли с носа время и непогоды; осталось: «Память», — память о корабле. Здесь квартировали опальные семеновцы, без теплой одежды, без обуви, почти без провианта, сумрачно всматриваясь в свинцовый морской горизонт. Полковник Вадковский был с батальоном. Он встретил Бестужева на верхней палубе, завернутый в шинель, измученный лихорадкой, с из'еденными от досады губами.

— Хорошо ли вы сделали, Бестужев, что навестили нас? — сказал он угрюмо. — Это опасно. Ведь мы — бунтовщики...

Он принялся рассказывать о том, как местное начальство не отпускает солдатам ни муки, ни хлеба, как он вчера стоял на коленях перед адмиралом Моллером, как нетерпеливо ждут арестанты минуты, когда смогут забыть о «Памяти».

— Но как мы пойдем в Свеаборг, — говорил Вадковский, — не знаю. Скоро зима. Штормы бушуют в Балтийском море. Даже по регламенту Петра Великого запрещено выходить кораблям из гавани в конце октября...

Бестужев простился с горемычными семеновцами и грустно возвращался в Петербург. «Так и молчим мы скромно и боязливо, — думал он, раскачиваясь под ветром вместе с пароходом, — так и промолчим, наверно, до той поры, когда придется качаться, вместо фонарей, с пеньковыми галстухами на шеях. А все потому, что правительство берет у нас больше, чем жизнь. Оно отбирает у нас разум и волю. Но что человек, у которого отняты разум и воля? Дрессированный пудель, выделывающий штуки на потеху господина. Россия, — как Уголино, который пожирает своих детей, чтобы сохранить им отца. И есть люди, которые думают, что этого требует слава родины»...

Пароход остановился против Летнего сада. Бестужев вскочил, огляделся и зашагал на берег. Даже в этот печальный осенний день «оштукатуренная Лапландия» была прекрасна, — и золото Летнего сада, и золото решетки, и каналы, и дворцы, и улицы... Бестужеву уже с лета казалось, что он влюблен. Она была нежная светлая женщина, с глубоким взглядом ласковых глаз, легкими кудрями темнорусых волос, с черными бровями, — «Светлана» баллад, сочиненных для нее Жуковским. Ее муж — хром и, говорят, подлец. Воейковы в июне переехали в Петербург из Дерпта, где Александр Федорович

был профессором в университете. Здесь он пристроился на службу в департаменте духовных дел у А. И. Тургенева. Александра Андреевна вошла в мысли Бестужева сразу, но прочно ли — он не знал. До сих пор он любил любовь за то, что она уносит время, но не сомневался в том, что и время уносит любовь. Человек, не умеющий любить, представлялся ему чем-то вроде часов без пружины, и только. Но прежде он не побежал бы к женщине, как мальчишка, со стихами в кармане. Теперь же изо всех сил спешил к Воейковым, ощупывая за бортом мундира свежий номер «Соревнователя» со своим стихотворением, написанным в подражание Овидию.

Бестужев писал сестрам в деревню, где время «свинцовым маятником означает длинные скукою дни и вечера», что он почти ничего не делает, хотя постоянно собирается делать много. Строго говоря, это было правильно. Мелкими статьями, стихотворениями, разборами он постоянно напоминал о себе публике, заставляя ожидать неизмеримо большего. Хотя это большее никак не могло родиться, Вольное общество любителей российской словесности в заседании 15 ноября избрало Александра Бестужева своим членом.

1820 год закончился для него предпринятой для развлечения поездкой в Ревель. Он аккуратно вел записи о всем виденном и многом из слышанного в дороге и в Ревеле. Из этих записей составился бойкий и острый очерк, очень разнообразный по содержанию и чрезвычайно занимательный по манере повествования. Встретив еще под Петербургом, на первой станции после заставы, своего петербургского приятеля, гусара и собутыльника по ресторации

Фельета, Бестужев слышит от него ужасные предсказания о скуке, ожидающей его в Ревеле. Бестужев будет «зевать, как кремлевская пушка», ибо ревельцы — жалкие невольники своих собственных карманных часов. Затем перед читателем мелькают живописные типы проезжих, стихи о зимнем солнце, Нарва с черными башнями древнего замка, философские рассуждения, исторические воспоминания о битвах русских с ливонскими рыцарями, картины ревельских балов и томные образы белокурых красавиц, театр с Trauerspiel, встреча нового года в маскараде у совершенно онемечившегося русского генерала, виды города с фонарями посреди улиц, со стрельницами на старинных воротах, готическими колокольнями, ратушей, свинцовым прибоем зимнего моря... История города Ревеля, описания местных школ, клуба Черноголовых, обратный путь, история фантастического предка Бестужевых, боярина Гедеона, — обо всем успевает рассказать автор своим живым и легким языком. Все это — на ходу, на скаку, археология пополам со стихами и бытовыми набросками наблюдательного путешественника, но все — интересно и в общем очень содержательно.

10 января 1821 года Бестужев вернулся в Петербург.

ЯНВАРЬ 1821 — МАЙ 1821

К мечам рванулись наши руки.

А. Одоевский.

11 МАРТА 1821 года флигель-ад'ютант русского императора, князь Александр Ипсиланти, тайно оставив Россию, с толпою греков перешел через Прут, вступил в Молдавию и поднял знамя восстания против турок. Русские батальоны стояли вдоль Прута; на другом берегу закипала яростная битва под Скулянами. В Петербурге узнали о событиях с запозданием. Но дня не прошло, как безрукий Ипсиланти был признан законным наследником Леонида, а Эллада, раздавленная турецким владычеством, сделалась подлинным отечеством сотен вольнолюбивых душ. По общему мнению патриотов, наступил момент, когда Россия должна была выполнить свое историческое предназначение. Античные реминисценции, традиция преемственности тысячелетней византийской славы, мечта о Константинополе, религиозные миражи, либеральное чувство, торжествующее при виде ударов, падающих на один из самых реакционных престолов Европы, — все сплелось в один клубок горячего сочувствия греческому восстанию.

Итак, поднимался Восток. На Западе только-что отгремела неаполитанская революция. Король Фердинанд был вынужден созвать парламент.

Сан-Доминго, маленькая негритянская монархия на острове Гаити, заставила своего короля Кристофа застрелиться и провозгласила себя республикой.

Разгром австрийцами конституционной неаполитанской армии немедленно отозвался в Пьемонте. 12 марта австрийцы вступили в Неаполь, а за не-

сколько дней до этого пламя революционного восстания залило Пьемонт.

Заседавшим в Лайбахе союзным императорам было много дела. Александр предложил поддержать русскими войсками усмирительную экспедицию Австрии в Италии. Император Франц, бледный, немощный и трусливый, охотно принял предложение своего союзника; оба императора были твердо уверены, что спасают друг друга. «Священный Союз» царей двигал свои силы против взволнованных народов.

Бестужев затевал перевод в армию. Поход русских войск в Турцию для помощи грекам казался ему неизбежным. Участие в этом походе гвардии было сомнительным. Вместе с Бестужевым множество его приятелей из молодых гвардейских офицеров собирались предпринять такой же решительный шаг. Слышно было, что сам кульмский победитель французов, граф Остерман-Толстой, которого прочили командовать русскими войсками, начал изучать греческий язык и взял к себе ад'ютантом грека. Молодежь следила за ходом восстания с волнением не простых наблюдателей и горестно переживала поражения Ипсиланти. «Кто знает, — думал каждый из этих прапорщиков и поручиков, — как обернулись бы дела гетеристов, будь я с ними»...

А дела гетерии обертывались плохо. Вступив 28 марта в Бухарест, Ипсиланти 1 апреля уже отступил от него. 2 мая его маленькая армия была разгромлена турками в первый раз, 17 — второй, а 7 июня, при деревне Драгачанах, — в последний. Ипсиланти бежал в Австрию, где его ожидала горькая судьба.

Среди этих печальных происшествий лейб-гвардии драгунский полк вдруг узнал оглушительную новость о походе за границу. Словно электрическим

пожаром, со всех сторон обожгло полк, — все пришло в движение, от генерала Чичерина, кинувшего под стол недопитую чашку с кофе, до фурштадтского солдата, починявшего заднее колесо полуфурки. Поход!

Путаясь шпорами в полах длинной шинели, прыгая через озера льдистой грязи, с замирающим сердцем бежал Бестужев из своего Марли в полковой штаб. Вот и кирпичный домик с зеленой крышей, мост через канаву, часовой под грибом на линейке... Вот и Клюпфель, и Пенхержевский, и братья Бурцовы, и Рукин...

— Куда идем?

— Успокойся, братец, — идем в Пьемонт усмирять революционеров...

— Как — в Пьемонт? А Греция?

— Дудки, — читай приказ... Там все обозначено!

«Поездка в Ревель» появилась во второй книге журнала «Соревнователь» и имела несомненный успех. Читатели восхищались живостью и рельефностью представленных в путешествии картин, красочностью легкого языка и бойкостью, с которой автор обгонял сам себя в своих рассказах. Литературные успехи Бестужева всегда сопровождались шумом. Критиковать «Поездку» было нелегко. В «невыровненных периодах ветреного кавалериста, сброшенных с пера, очиненного саблею, в быстрые промежутки забав и усталости», заключалось столько разнообразного материала, что легче было говорить о том, чего нет в «Поездке», чем об ее содержании. Однако журнальная полемика вспыхнула.

Еще в прошлом году Бестужев постоянно встречал язвительного Воейкова, мужа очаровавшей его Александры Андреевны, в доме Греча, на улице возле

Греча, в театре за спиной Греча. Очередная книжка «Сына Отечества» вечно торчала из кармана темно-серого воейковского сюртука. Воейков не просто смотрел на Греча своими черными масляными глазами, а как бы облизывал его взглядом, и притом так умильно, что все это обязательно должно было кончиться чем-нибудь очень выгодным для ловкого хромца. Действительно, с начала года «Сын Отечества» стал издаваться Гречем и Воейковым совместно. С этого времени Бестужев сделался свидетелем тяжелых сцен в кабинете Николая Ивановича: Воейков стучал палкой о паркет, требовал денег и грозил о чем-то донести правительству. Шишковатый нос Греча зеленел, и складки на щеках трепетали. Бестужев наблюдал развитие фарса, и просиживал часы у «Светланы».

Он тешил ее веселыми рассказами о буднях театральной и литературной жизни, которые были гораздо занимательнее торжественных фестивалей. Вчера толпа молодежи исхлестала нагайками князя Шаховского, трусившего на извозчике домой на Третью Подьяческую. Сегодня цензор Красовский в какой-то статье вычеркнул слова «великий пророк Магомет» и только после долгих споров с автором согласился напечатать их так: «великий лже-пророк»... Поэтик Олин сочинил «Стансы Элизе»:

— Что в мненьи мне людей? Один твой нежный взгляд
Дороже для меня вниманья всей вселенной...

— Э, нет, — вскипел Красовский, — позвольте-с. Слишком сильно сказано. К тому же во вселенной есть и цари и законные власти, вниманием коих дорожить должно...

У Воейковых жил Жуковский. Широкий, угловатый, почти квадратный лоб его был безмятежен, и

ласково-задумчивые, как у бычка, глаза глядели сквозь собеседника прямо в Зимний дворец. Бестужеву казалось, что он или вспоминает о том, что вчера говорила ему его высокая ученица, великая княгиня Александра Федоровна, или обдумывает, о чем он завтра скажет ей. Бестужева бесила эта царедворческая мечтательность, которая казалась ему особенно возмутительной теперь, когда союз порядочных людей с царями окончательно порван.

Итак — поход...

Император вызвал генерала А. П. Ермолова в Лайбах. Главнокомандующим русско-австрийской армией в Пьемонте будет этот могучий человек с львиной гривой поседевших в двенадцатом году кудрей. После Суворова и Наполеона Италия увидит Ермолова, — неплохо. Но все остальное — отвратительно.

В поход назначались Литовский, 3-й и 4-й пехотные корпуса, 4-й резервный кавалерийский и еще один корпус из 2-й армии, — всего 113 тысяч человек; кроме того — гвардия. В Петербурге оставались только гвардейский экипаж и лейб-гренадерский полк — для несения караулов в крепости, где томилось еще немало старосеменовских солдат. Пьемонт — не Греция, но поход развеселил многих, опечалил некоторых, польстил надеждою отличий всем. Что касается солдат, те просто радовались; они знали, что во время заграничного похода им станут платить увеличенное жалованье, улучшат пищу и будут обходиться с ними человеколюбивее. Цель войны была им непонятна и безразлична: дело, во всяком случае, шло не о России. Но офицеры понимали, что дело шло и о России тоже... Впрочем, покупка лошадей и

вещей, необходимых для похода, продажа экипажей и мебели, перспектива увидеть Европу, лежащая за хлопотами и суетой сборов, — все это занимало умы и отвлекало мысли от сделавшихся уже привычными политических интересов. Бестужев долго торговал у капитана фон-Дезина сильного гнедого под'ездка и, наконец, купил его за 250 рублей. Он хотел итти в поход с тремя конями, — два под верх и один упряжной с обозной двуколкой.

14 мая гвардия выступила из Петербурга, без всякого сожаления покидая недавно дарованные царские милости, — полковые огороды с непосаженной еще капустой, груды новых мундиров и шинелей, только-что завезенных в полковые цейхгаузы по случаю всемилостивейшего сокращения сроков носки обмундирования, и сырые манежи, в печках которых приказано было поставить новые вьюшки.

Бестужев крепко придерживал упрямо ложившегося в повод под'ездка и думал... о славе. Звон копыт о мелкий щебень дороги, перекличка горнистов, мерно качающиеся гребни киверов, блеск погонных ремней и звяканье ружей, ржанье коней и веселые шутки в солдатских рядах, солнце, ветер в лицо и светлая бледно-зеленая даль, — Бестужеву казалось, что слава уже сидит с ним в одном седле.

Три недели назад умер Наполеон. Все необыкновенное казалось после Наполеона возможным. Никакое начинание не могло быть дерзким в сравнении с его поприщем. Правда, четыре миллиона человек заплатили жизнью за его славу... Страшная и прекрасная вещь — подлинная слава!

И вдруг Бестужев вспомнил об императоре Александре, который, как слышно было, уже выехал из Лайбаха и собирался встретить гвардию на походе. Этот плешивый, полный, румяный и сладкий вла-

ститель тоже когда-то искал славы, и все думали, что он нашел ее. Но его слава об'елась протоколами конгрессов и умерла в жалких конвульсиях. Давно уже никто не уважал и не любил его. Он считал государственный столбняк своим идеалом. Его стараниями ширококрылый двуглавый орел России превратился в какого-то двуглавого рака.

Внезапное открытие осенило Бестужева: славы нет и больше не будет под знаменами Александра.

На третий день похода стало известно, что революция в Пьемонте кончена: австрийцы уже раздавили ее бесчисленными колоннами своих робких беломундирных войск.

— Куда же мы идем? — с недоумением спрашивали друг друга офицеры.

На привале под Лялицами Бестужев решился спросить об этом генерала Чичерина. Петр Александрович отвернулся и, прихлебывая кофе, ответил сердито:

— В Литву на квартиры. Там теперь гвардия стоять будет...

МАЙ 1821—ДЕКАБРЬ 1821

Кто я и как сюда попал?

Рылеев.

ПОГОДА испортилась. Низкие облака бежали по серому небу, клубясь и разрываясь в туманные клочья. Вдруг стало холодно. Волки подходили к околице и жалобно выли. Лошади у коновязей сбивались в пугливые табуны. Выпал град. Бестужев в бурке раз'езжал по соседним эскадронам, — полк растянулся на восемь верст. Офицеры ели плохо прожаренную говядину, запивали ее молоком и ругали императора. Бестужеву пришла в голову забавная мысль: Александр хитер, но обчелся. Он хотел походом и

расквартированием гвардии по литовским деревням разбить привычную дружбу тесных офицерских кружков, — кажется, выходило как раз наоборот. Присаживаясь к дружеским артелям товарищей, Бестужев с удовольствием слушал их озлобленные крики и сам кричал и бранил царя.

Из Лялиц пошли в Ямбург. 23 мая эскадрон Бестужева стоял на мызе Торманс-гоф, в сорока пяти верстах от Дерпта. Конные егеря стали в Дерпте, лейб-гусары — в Верро. Пошли, было, робкие толки об обратном походе. Но лейб-драгунам об'явили дальнейшее направление на Опочку, и толки унесло первым же ветром. Походная жизнь быстро приелась: переход и привал, переход и дневка, — все одно и то же, скучно. Дождь лил с каким-то упрямым постоянством, тучи неслись, ветер завывал, — грустная задумчивость одолевала Бестужева. Он принялся писать письма к маменьке и сестрам. Очевидно, это занятие будет и впредь самым развлекательным. Часто вспоминался Булгарин, — невысокий, тучный, широкоплечий и толстоносый губан, с угреватым лицом и воспаленными глазами, с которым Бестужев познакомился у Греча. Скучное существование на походе невольно сравнивалось с громогласными рассказами Булгарина — хвастуна и вместе труса — о службе его в наполеоновской армии. Готовя письма к почтовому дню, Бестужев с хохотом приписал к булгаринскому адресу: «Господину капитану французских войск в отставке». Фаддей должен будет застонать от страха, прочитав адрес, — это и надобно.

В конце июня драгуны пришли на кантонир-квартиры в Витебскую губернию и расположились вокруг местечка Режицы. Бестужев устроился на мызе Зеленполь, в тридцати пяти верстах от местечка. Дождь

сыпал мелким холодным горохом. Толстая арендаторша ни слова не знала по-русски. Приходилось выворачиваться, и Бестужев сам не заметил, как начал «мувить» и «гадать» по-польски. Кругом — голые печальные горы, между ними мертвой водой запало озерцо и, куда глаз хватит, ни одного дерева. Скучно. Уже надоели и суп с солониной и пустое пивко, — впечатления от жизни бедны и скудны. Самое поразительное из впечатлений — от местных крестьян-раскольников, филипонов. Барщина истерзала этих несчастных, голод истомил. Их лица бледны и худы. Помещики выдают им по полгарнца ячменя в неделю на человека. Страшная Россия!..

В августе приехал фельдмаршал граф Сакен, тучный, седой, с белым лицом, похожим на подушку. Начались смотры. Дряхлый фельдмаршал лежал под шинелью на пригорке, подпершись со всех сторон тюфяками, и смотрел, как кавалерия рысила по мокрым пескам, поливаемая сверху ушатами холодной воды. Одежда людей, лошадиная сбруя, — все промокло насквозь много дней назад и зарастало плесенью. Под лацканами колета Бестужев нашел бархатную поросль грибков. В эскадроне было много больных. Полк единодушно проклинал существование. А фельдмаршал вторую неделю лежал на пригорке и смотрел мутными глазами, как мимо рысила кавалерия.

Наконец, Сакен уехал, вернее — его увезли. Время проходило в вечной занятости и вечном ничегонеделании. Великими усилиями людей должны достигаться великие цели. И только у народов, опьяненных рабством, возможны громадные жертвы по нелепому приказу деспота и ради пустяков. Так размышлял Бестужев над старыми польскими книгами, в темные осенние вечера, когда ветер стучал ставнями и свистел в трубе, свеча оплывала, черные тени прыгали

на стенах, и горьким взглядом охватывалась жизнь. Бестужев принимал важные решения. Крохотная искра жизни, брошенная в мир темной смерти, он не хотел исчезнуть для будущего. Наследить в жизни— пустое, он хотел оставить верный и прочный след; непременно хотел, чтобы Россия его узнала по пользе им для нее сделанного. Недаром он так яростно ненавидел дряхлое рабство, с радостным трепетом угадывая шаги будущей свободы...

Встреча гвардии с императором Александром произошла в самом начале похода, в мае. Царь об'ехал колонны войск, здороваясь с солдатами и не обращая внимания на офицеров. Красивое лицо его было гневно. Слышали его слова, обращенные к какому-то полковому командиру:

— Перед взводом пройти не умеют, а суются делить Европу...

Начальник штаба, генерал Дибич, рыжий, лохматый и кипучий, по от'езде императора об'явил войскам, что в Италии народы усмирились и что государь доволен порядком похода. По обыкновению, занятый маршировкой и равнением шеренг, Александр не заметил главного. Дисциплина надорвалась; семеновский «бунт» гулко отозвался в гвардии. Между тем расправа с семеновцами все еще не была закончена. Почти год искала следственная комиссия виновных среди офицеров и нашла только троих, — подозрительных и «странных». С солдатами было проще. 29 августа состоялась высочайшая конфирмация приговора военного суда:

«Обратя строгость законов единственно на виновнейших, повелеваю: рядовых гренадерской роты — Степанова и Хрулева, 1-й роты — Кузнецова и Петрова, 2-й роты — Павлова, Чистякова и Васильева и

5-й роты Торохова, как настоящих зачинщиков, в пример другим, прогнать шпицрутенами сквозь батальон по 6 раз, с отсылкою в рудники».

Остальных солдат, признанных виновными (535 человек), повелено было привести вновь к присяге и разослать в Оренбургский, Сибирский и Кавказский корпуса.

В июне «Поездка в Ревель» вышла отдельным изданием с обозначением на титульном листе всех литературных званий автора — «член высочайше утвержденных Вольных С.-Петербургских Обществ: Любителей Словесности, Наук и Художеств и Соревнователей Просвещения и Благотворения». Тогда же в «Сыне Отечества» появилась одобрительная рецензия. К этому времени издатели «Сына Отечества» окончательно рассорились. Воейков умел создавать вокруг себя какие-то особенно тяжелые пары, и свойства этой воейковской атмосферы быстро разрушали его связи с людьми. Греч ждал только конца года, чтобы порвать с ним все деловые отношения по журналу, и с веселым ожесточением рассказывал, как Жуковский вытолкал Александра Федоровича вон из кабинета.

— А Воейков?

— И тут вздумал, каналья, обороняться костылем своим.

Все эти новости Булгарин исправно сообщал в письмах к Бестужеву, рассчитывая, что дружба с молодым и талантливым писателем может очень пригодиться впоследствии. У Булгарина было острое чувство предвидения; с угловатой решительностью он бросался на выгодных людей и всасывался в них, как легендарный упырь. Он писал не без веселой усмешки о том, как вдруг опустели улицы Петербурга, — вышел IX том «Истории» Карамзина, и город

углубился в изучение царствования грозного Иоанна. Не знали, чему более удивляться — тиранству ли остервенелого царя или силе дарования русского Тацита. Смелые и резкие черты, которыми историограф изобразил ужасы неограниченного самодержавия, наименование тирана, которым он открыто наградил самодержца, — все это было необычайно, поразительно. Оставалось понять, каким образом цензура, вычеркивавшая из глупых рассказов упоминания о «высочайшем» галстухе танцующего офицера, могла пропустить IX том «Истории» Карамзина. Но этого понять уже было никак невозможно.

Бестужев чувствовал, что он хилеет духом от невозможности прочитать знаменитый IX том, что его воображение складывает крылья в могильной тишине фольварка, вдали от книжной лавки Белизара, гречева кабинета и библиотеки услужливого Сленина. В июньской книжке «Сына Отечества» он нашел элегию «Курбский», подписанную знакомым именем — Рылеев.

Греч ухватился за ярко сверкнувшее уже однажды смелое имя поэта... И все это — там, когда Бестужев — здесь.

6 сентября Бестужев писал Булгарину из Полоцка о своих успехах в польском обществе и польском языке. В доме поветового маршала * Рика он был принят, как свой. В этой темной земле, где имена Нарушевича, Красицкого, Немцевича ** неизвестны, он наслаждался, по складам разбирая их произведения. Правда, ему несколько надоела бедная «латышская»

---

* Дворянского предводителя.

** Крупнейшие писатели старой Польши.

изба, к которой приковала его стоянка под Полоцком, но и этому пришел конец.

После маневров зимние квартиры лейб-драгунскому полку были назначены вокруг Минска. Бестужев устроился в сорока верстах от города, в деревне Выгоничи, принадлежавшей небогатому помещику Войдзевичу, и был очень доволен. В доме Войдзевичей нашлось решительно все, что делает приятной жизнь человека, выброшенного из обычной колеи. Бестужев обедал у хозяев. Две девушки, любезные и хорошенькие, доказывали, что звонкое веселье и искренняя радость реже всего встречаются во дворцах. Занимательная библиотека, фортепиано, умные рассуждения пана, купившего деревню на выигранные в стуколку деньги, и быстрые взгляды младшей из дочерей, черноглазой Сидалии обещали сносную зиму.

К декабрю Бестужеву начало казаться, что он «закохался». Нежные розовые губы Сидалии были по-деревенски свежи и вкусны. Жадность, с которой она слушала рассказы Бестужева о Петербурге, была трогательна. От смеха Сидалии, звеневшего, как серебряный колокольчик, при каждой ошибке рассказчика в польском языке, — а ошибки были постоянны, — отзывалось в голове сладким туманом.

И когда на святках, за картами, в яркой от дюжины свечей гостиной, старушка Войдзевич, заметив осторожность Бестужева в выборе хода, подняла на него теплые глаза и серьезно сказала:

— Пане поручику, кто не азартуе, тот не профитуе, — он не встревожился и не смутился.

Войдзевич помог Бестужеву обменять фон-дезинского жеребца на молодого чалого рысака, и поручик с беззаботным жестом состоятельного человека вынул из кармана сотню рублей приплаты. Хозяин был учтив без низкопоклонства и доброжелателен без на-

вязчивости, но он, конечно, подозревал в своем постояльце богатого и знатного гвардейца. У Бестужева же была давняя манера мистифицировать на этот счет своих случайных знакомых.

Нерешительность Бестужева старики Войдзевичи приписывали естественной в молодом человеке робости перед важным шагом и были терпеливы. Но поздней зимой старый пан неожиданно об'явил за обедом Бестужеву, что едет по делам в Петербург с дочерьми и желал бы побывать у его матушки, видеть сестер и братьев. Бестужев кинулся в свою комнату и тотчас настрочил письмо старшей сестре Лешеньше, благоразумной и тонкой.

«Вы увидите в лице девиц Фелиции и Сидалии, — писал он по-французски, чтобы Прасковья Михайловна не могла прочитать, — очень любезных особ... Постарайтесь, моя милая, своей обычной любезностью доставить им несколько приятных минут. Если случится пригласить их к обеду, попросите матушку, чтобы устроила его немного пороскошнее; честное слово, они были так предупредительны, когда кто-нибудь приезжал ко мне, словно это были их собственные гости. Поэтому-то, моя милая сестра, не распространяйтесь чересчур, мимоходом, о нашем состоянии; это ни к чему не послужит. Я сам никогда не говорю об этом ни слова»*.

Войдзевичи уехали. Товарищи по эскадрону, которые часто наскакивали на Выгоничи и, конечно, не исключительно для того, чтобы видеть Бестужева, начали показываться реже. Старая пани горевала о недавно умершем сыне и непрерывно говорила о дорожных опасностях, по всей вероятности, угрожавших

---

* Письмо от 7.1.1822 («Памяти декабристов», сборник материалов, Ленинград, 1926, т. I).

ее мужу и дочерям. Дом опустел; стало скучно до зевоты. Тогда Бестужев вновь принялся за книги. Он быстро нашел вкус в польской поэзии, восхищался патриотизмом, который в ней дышит, и вымыслом, облеченным в новые мысли и странные выражения. «Исторические спевы» лежали у него под подушкой. Походные передряги кончились, Сидалия была в Петербурге, голова начинала работать и воображение развертываться. Прасковье Михайловне в эти дни Бестужев писал так:

«Учась по-польски, я разрабатываю новую руду для русского языка. Известная вам лень моя мешает занятию; но думаю, что мало-помалу я привыкну к труду и буду кое-что бросать на бумагу. Походом отвык я писать, но теперь снова прибыкаю мыслить, а это приведет на первую дорогу»*.

Бестужев часто ездил в Минск. Там стоял штаб полка, и только оттуда можно было отправлять письма. Город был набит генералами и офицерами так туго, что скверный театр и танцовальный клуб, именовавшийся «Казино», были почти недоступны для старожилов. В «Казино» танцовали кадрили в сорок пар котильоны и бесконечные вальсы с фигурами. После — ужинали и играли в карты. Мелки прыгали по сукну столов, карты летали из рук банкометов, червонцы брякали и чубуки переставали дымиться в бледных губах, исковерканных корыстью и страхом.

Вино и карты никогда не лишали Бестужева самообладания, но хорошенькие городские польки, каждая из которых чем-нибудь походила на Сидалию и чем-нибудь от нее отличалась, в конце концов закружили драгуна. Они шнуровались до дурноты, были ве-

---

* Письмо от 7.12.1821 («Памяти декабристов», сборник материалов, Ленинград, 1926, т. I).

селы и свободны в обращении с мужчинами, снисходительны к порывам и легкомысленны. Бестужев оглянуться не успел, как погиб для Сидалии.

«Пьянствую и отрезвляюсь шампанским,— писал он Булгарину, — жизнь наша походит на твою уланскую. Цимбалы гремят, девки бранятся... чудо!»*

Однажды Бестужева вызвал к себе генерал Чичерин, квартировавший в Минске.

— Любезный Саша, — спросил он, с удовольствием глядя на возмужавшего и поздоровевшего за время похода офицера, — знаешь ли ты новость, которая должна доставить большую приятность твоей маменьке?

— Мне известно, что брат Мишель вернулся из Архангельска в Кронштадт, — сказал Бестужев с недоумением.

— Э, нет, любезный мой, не то, — хитро прищурился генерал, — дело идет о тебе. Ну, да бог с тобой, мучить не стану. В бытность мою в прошлом месяце в Петербурге говорил я о тебе с графом Комаровским. Вот его предложение: он берет тебя к себе в ад'ютанты, а я тебя отпускаю. Собирайся в путь.

Бестужев вышел от генерала в состоянии самом сбивчивом. Выгоничи, Минск, трактиры, цукерни, ад'ютанство, дорога, Петербург, братья, литература, — было от чего голове скружиться...

Кончился 1821 год. Новый, 1822, застал Бестужева еще в Выгоничах, но уже собиравшегося в Петербург и довольного судьбой, которая, по крайней мере, не завела его в курную хату и не заставила слушать новогодние приветствия петухов. Он ждал приказа о переводе, по собственному его выражению, «как протопоп — светлого воскресенья».

---

* Письмо от 14.1.1822 («Русская старина», 1906, февраль).

ЯНВАРЬ 1822—ДЕКАБРЬ 1822

Лишь тот достоин жизни
и свободы,
Кто каждый день за них
идет на бой!

Гете.

ПЕТЕРБУРГ встретил нового ад'ютанта так приветливо, как будто для пополнения армии столичных ад'ютантов только и нехватало именно его, Бестужева. На Васильевском острове, на 6-й линии, против Андреевского рынка, все так же пахло смолой, канатами, пенькой, Невой, а семейный кружок Бестужевых, как и в прежние времена, теснился вокруг черной вдовьей мантальи заметно постаревшей Прасковьи Михайловны. Мишель был недавно произведен в лейтенанты и выглядел вполне взрослым человеком.

Ад'ютантские аксельбанты быстро раскрыли перед Александром Александровичем двери знатных и богатых домов, куда обычно молодые люди, не носящие блистательных фамильных имен, допускались только с основательным отбором. Большой свет всегда манил Бестужева, обещая его воображению множество романтических впечатлений. Теперь, наконец, он мог разглядеть чопорные и сухие лица министров, дипломатов, генерал-ад'ютантов, прислушаться к невежественным разговорам этих чиновных людей, которые взирают на царя со скотским благоговением злобных псов и от него одного чают блаженства. Хоть здание их жизни ветхо и качается от ветра, но они спокойны, так как понимают, что Сибирь в России начинается от Вислы. Они спокойны, ибо все в России им кажется поконченным, запако-

ванным, сданным за пятью печатями на почту для выдачи адресату, которого заранее решено не разыскивать. Они наслаждаются существованием под одним общим для всех уровнем невозмутимого бессилия.

Болезненное чувство голодного самолюбия, всегда несколько мучившее Бестужева, здесь было вполне удовлетворено, — дважды удовлетворено. С одной стороны, получив доступ в этот позолоченный парник глупцов и бездельников, Бестужев поднимался в глазах людей одинакового с ним общественного положения на пьедестал светскости, для них недосягаемый. С другой, он имел все основания презирать то, к чему они стремятся, так как в превосходстве своей мысли над светской пустотой ему сомневаться не приходилось. Как и всегда, достигнутое казалось ему жалким, и это придавало весело-саркастический характер его шуткам.

В гостиных шопотом и с оглядкой говорили о событии необыкновенной важности: цесаревич Константин Павлович окончательно и бесповоротно отрекся от русского трона. Рассказывали о письме его к императору, об ответном письме императора, но подробности никому не были известны, так как все дело велось в покоях императрицы-матери, строго фамильным порядком. Утверждали, что именно для решения этого вопроса и с'ехалась в Петербург почти вся императорская семья, — даже великая герцогиня Саксен-Веймарская Мария Павловна прибыла из-за границы.

О молодом великом князе Николае, который должен был стать наследником престола, если Константин действительно отрекся, ходили дурные слухи. В армии его ненавидели за неумолимую строгость, придирчивость и фанатическое пристрастие к мело-

чам. Будучи жесток, как Павел, он был злопамятен, как Александр. Но самое скверное заключалось в том, что пустяки вызывали великокняжеский гнев, и пустяками же снискивалось великокняжеское расположение.

По темной винтовой лестнице Зимнего дворца уже несколько раз поднимался прямо в кабинет Александра монах в рыжих козловых сапогах, в залатанной рясе, с хмурым лицом, на котором щека щеку ест, с огненным взглядом маниака. Этот человек умел говорить непонятные и страшные вещи. Тонкие синие губы архимандрита Фотия даже простое приветствие произносили с каким-то свирепым намеком на анафему. Первым следствием этих секретных свиданий был указ от 1 августа, которым запрещались все тайные общества, под какими бы названиями они ни существовали. Все военные и гражданские чины должны были дать подписку в том, что они в тайных обществах не состоят и состоять не будут. Петербург стал походить на муравейник трудолюбивых шпионов, четыре полиции ретиво работали, охраняя порядок в столице, — полиция министерства внутренних дел, генерал-губернаторская, графа Аракчеева и, наконец, военная агентура гвардейского корпуса. В банях, в мелочных лавочках, на гуляньях, в театрах, на балах и в университете, — везде кишело шпионами. Многие из этих деятелей носили камергерские мундиры и служили за честь, а не из благодарности.

Удивительно, что все усилия бесчисленных шпионов оказались напрасными, когда понадобилось обнаружить автора рукописной статьи, вдруг разбежавшейся по всему городу в сотнях списков. Статья эта едко, зло и правдиво излагала историю возмущения семе-

новцев в 1820 году. Булгарин сообщил Бестужеву под страшной клятвой молчания, что писал ее Рылеев, которого он называл своим истинным другом, Конрадом и Рылеусом. Бестужев потребовал, чтобы Булгарин свел его с Рылеевым, и знакомство, вероятно, давно бы уже состоялось, если бы не рассеянная жизнь Александра Александровича, кочевавшего в продолжение всей весны с бала на бал.

Ад'ютанство при графе Комаровском нравилось Бестужеву. Но скользкие насмешечки Греча, находившего, что войска внутренней стражи — пятая по счету полиция в России, и что Бестужев, как ни кинь, служит в полиции, — отравляли удовольствие, которое может приносить беспечному молодому человеку прекрасное служебное положение почти без всяких обязанностей. Светские связи и отношения легко вывели Бестужева из затруднения—5 мая в приказе по гвардейскому корпусу было об'явлено о его переводе на должность ад'ютанта к главноуправляющему путями сообщения в империи, генерал-лейтенанту Бетанкуру, с оставлением в списках лейб-гвардии драгунского полка.

Потомок средневековых южнофранцузских «сиров», уроженец Тенерифского пика, небезызвестный испанский инженер, Бетанкур был вывезен из Мадрида русским посланником И. М. Муравьевым-Апостолом, отцом старых знакомцев Бестужева, бывших семеновцев — Сергея и Матвея Ивановичей. Возможно, что именно Матвей Муравьев-Апостол, проживавший весной в Петербурге, и сыграл роль внутренней пружины в истории перевода Бестужева. Бетанкур оказался вспыльчивым, добрым и веселым человеком, носил на голове целую копну серебряных кудрей, по-

ражал густомалиновым цветом лица и огромным носом, и ни слова не знал по-русски. Он был превосходным архитектором, недурным механиком и вообще глубоким знатоком того, что называлось «искусственной частью» в промышленности. В России, где многие сановники считали для себя унизительным заботиться о промышленности, полагая, что и в Европе никто не занимается этим прозаическим и вульгарным делом, Бетанкур был живым опровержением дикого взгляда. В обществе на него смотрели косо — он прибыл из страны, где с утра до вечера расхаживают по улицам с венками на головах и распевают гимны свободе. Министры, посещавшие Бетанкура по служебным делам, часто находили его в кабинете, но не за бюро, а за верстаком, с засученными рукавами белоснежной рубашки. Хорош главноуправляющий путями сообщения! В Бетанкуре было что-то новое, свежее и глубоко непонятное для мумифицированных русских сановников, — такое, от чего они шарахались в сторону. Но император его ценил, поддерживал огромным жалованьем и ливнем орденских наград, — кредит Бетанкура при дворе был высок.

Явившись к своему новому шефу, Бестужев был сразу очарован. Молодой, ловкий, смелый и находчивый ад'ютант, говоривший по-французски не хуже предков Бетанкура, также понравился генералу. Последнее обстоятельство скоро сказалось на службе: Бетанкур непрерывно гонял своих ад'ютантов по России, но Бестужева держал при себе, заставляя дежурить почти ежедневно.

В семье генерала Бестужев был принят почти родственно. Он бегал по комнатам вперегонки с пятнадцатилетним Альфонсом, слушал игру на арфе хорошенькой Матильды, рисовал карикатуры с Каролиной, брал уроки фанданго у Аделины и вместе с ге-

неральшей, — она была англичанка, — читал по воскресным дням «Потерянный рай» Мильтона. Жар раскаленного неба, под которым родился Бетанкур, пылал в крови его дочерей. Бестужев был влюбчив. Арфа и длинные нежные пальцы Матильды, ее низкий розовый лоб, сверкающий под завитками синевато-черных волос, глаза, полные темного огня, сделали свое дело. Бестужев ходил в тумане, слушал и не слышал, глядел и не мог наглядеться.

Было лето, знойное и яркое, совсем не петербургское лето. Бестужев вышел в сад, — так назывался унылый палисадник позади огромного дома, где помещалось Главное управление путей сообщения и жили Бетанкуры. На скамейке сидела Матильда. Она смотрела на солнце, лежавшее на далеких крышах и обливавшее город брызгами красного света, но видела только поручика. Он подошел, звеня саблей, — «теперь или никогда!» Тонкие пальцы Матильды тревожно мяли платочек. «Теперь!» Бестужев заговорил и сказал все. Матильда ничего не ответила — Альфонс уже бежал к скамейке по желтой дорожке. Сестра обняла его голову и поцеловала взволнованно и страстно. Бестужев понял: поцелуй предназначался ему. На следующий день они об'яснились окончательно.

Когда Бестужев, выбрав минуту, подошел к генералу, что-то обтачивавшему на станке, и сказал ему о своей любви, просто, без предисловий, в коротких и сильных словах, Бетанкур побагровел. Он грозно ударил ногой по станку, откатившемуся в угол, и живо накинул мундир, бренчавший алмазными крестами. Потом молча отошел к столу и закурил сигару; сел в кресло, обмахивая синее лицо огромным чертежом. Наконец, расхохотался так могуче и весело, что итальянское окно отозвалось тонким дребезжанием.

— Жених! — воскликнул генерал, перебрасывая свое железное тело из угла в угол в кресле, похожем на трон. — Невеста! Бестужев и дочь моя Матильда любят друг друга! Ха-ха-ха!

Бестужев стоял посреди кабинета в немом оцепенении. Этого он не ожидал.

Генерал еще долго продолжал всхлипывать, приговаривая:

— Жених! Ха-ха-ха! C'est bon pour le dragon* Ха-ха-ха!

Причина отказа осталась невыясненной. Не спрашивать же было о ней у человека, которому пропозиция Бестужева показалась такой уморительной! Александр Александрович был взбешен оборотом дела и хотел тотчас же представить генералу рапорт с просьбой об увольнении. Но удержался, опасаясь, что это еще больше рассмешит Бетанкура. Думал сказаться больным, — глупо. Перестал, было, показываться в доме генерала по вечерам — генеральша вызывала его записками. Матильда была бледнее обычного, почти не вставала из-за арфы, а в остальном обращение ее с Бестужевым было таким же, как и до происшествия. И — удивительное дело: Бестужев смотрел теперь на ее низкий лоб и тонкие пальцы, червяками скользившие по струнам арфы, и не испытывал решительно ничего, похожего на недавнее волнение страсти. Любовь была убита смехом.

Бестужев часто посещал заседания Вольного общества любителей российской словесности, в члены которого был избран еще в 1820 году. С прошлого года в состав общества входил и брат Николай

---

* Это по-драгунски (французская поговорка).

Александрович, занимательно описавший в «Записках о Голландии» одно из своих морских путешествий. На заседаниях братья встречались как старые друзья и единомышленники. Председателем общества был полковник Ф. Н. Глинка, ад'ютант генерал-губернатора Милорадовича, — маленький, щуплый, с большой головой рахитика, на слабых и тонких ногах. Это — тот самый Глинка, который два года назад, прочитав пушкинского «Руслана», не убоялся в послании к опальному поэту прокричать на весь свет об его гениальности. Признавать Пушкина гением за эти два года привыкли многие, но Глинка был первым, кто открыто сделал это в печати. Маленького полковника, в случаях его отсутствия, замещал на председательском кресле Греч. Почетным членом общества считался ученый хромец Николай Тургенев. Что касается Бестужева, он исполнял обязанности цензора поэзии и библиографии.

В мае на заседании общества Бестужев познакомился, наконец, с Рылеевым. В литературных кругах много говорили о постоянно появлявшихся в различных журналах исторических «Думах» Рылеева. Это были разнообразные картинки русского прошлого, написанные с под'емом и силой; характеры героев были возвышенны и исполнены гражданских и личных добродетелей, пороки злодеев беспощадно казнились. Автор пробивал «новую тропу в русском стихотворстве, избрав целью возбуждать доблести сограждан подвигами предков». Так думал Бестужев, читая рылеевские «Думы»; но и взыскательный Греч находил их «умными, благородными и живыми», а Булгарин превозносил до небес «народность и благородные чувствования», в них заключенные. Рылеев задумчиво принимал горячие похвалы.

По чрезвычайной своей скромности и несветскости

Рылеев с первого взгляда казался вовсе обыденным человеком. Но стоило поговорить с ним немного, чтобы увидеть, что это не так. Небольшой ростом, с быстрыми глазами, из которых глядела мысль, с волосами черными и чуть завитыми природой, он, разговаривая, вдруг становился выше, ярче, словно раздавалось в стороны его хрупкое тело, и дух светлел в лице. Говоря о литературе, он походил на прозрачную гипсовую вазу, снаружи которой нет никаких украшений, но, как только запылает в ней огонь, прекрасные изображения, изваянные внутри хитрой рукой художника, вдруг обнаруживаются сами собой. Бестужев любовался этим человеком.

С заседания они пошли вместе. Солнце уже закатилось, но Нева и ее низкие берега еще пламенели в дрожащем блеске зарева, и город казался ушедшим в мечтательный сон, полный воспоминаний и надежд. На всем лежал в этот вечерний час отпечаток возвышенной печали.

Они долго ходили по Васильевской набережной, доказывая друг другу, что нет и не может быть благоденствия в стране, где из шестидесяти миллионов народа невозможно набрать восьми дельних и честных министров.

— Пока первым министром в России состоит Николай-чудотворец, правительство может спать, пуская слюни пузырями.

Сказав это, Бестужев рассмеялся.

— Вы все шутите, — тихо выговорил Рылеев, — а я серьезно спрашиваю, — что делать?

Греч праздновал десятилетие «Сына Отечества». Гостей было много, больше сотни, и половина состояла из литераторов. Сын Греча, Алексей, слу-

жиевший в министерстве иностранных дел, чтобы не заниматься никакими делами, встречал гостей. Дочь, Софья Николаевна, молоденькая и хорошенькая, приседала с таким видом, как будто в груди у нее — хрустальный сосуд, который при всяком резком движении может разбиться. Сам Греч, в вицмундире, при орденах, прямой, как палка, ходил между группами гостей, прислушиваясь к разговорам, и гулко чмыхал носом, прежде чем сказать что-нибудь острое. Греч был доволен тем, что еще в начале года разделался с опасным Воейковым и праздновал юбилей своего «Сына» без компаньонов. Черная венгерка Булгарина сновала по зале, и грубый, прерывистый голос ее хозяина слышался в разных углах. Булгарин недавно добился разрешения издавать журнал и уже выпускал в свет тощие книжечки «Северного Архива» с историческими и статистическими статьями и описаниями путешествий. У Греча он залучал к себе сотрудников.

Слуги зажигали свечи в канделябрах, гости рассаживались вокруг стола, развернутого огромным «покоем», вилки звенели, пробки хлопали, тосты лились широкой рекой восхвалений. После обеда Рылеев долго разговаривал с Николаем Тургеневым. Греч подошел к Бестужеву.

— Как ты думаешь, любезный Александр, о чем могут толковать геттингенский аристократ и бедный российский цвибель через пять минут после того, как они познакомились?

— Какой цвибель? — не понял Бестужев.

Греч расхохотался.

— Я так зову этого маленького кадета, который даже и по-французски говорить не умеет. Однако талантлив, да и хребтом умеет брать, а ты просто талантлив, любезный Саша...

— Jeder ist seines Glückes Schmidt *, — отвечал Бестужев весело.

— А все-таки я уверен, что они толкуют о новом журнале, — вдруг рассердился Греч, — вот и вертись. Булгарин вылез в люди. Теперь эти два дурня... И верно: только журнал дает то, к чему, может быть, не надобно особенно стремиться, но на пути к чему не следует делать и промахов.

Греч отошел. «Журнал дает деньги и популярность, — подумал Бестужев, — но не только это, Николай Иванович!»

В последнее время Рылеев и Бестужев часто вместе хаживали по вечерам с заседаний Вольного общества. Постоянной темой их дружеских бесед был вопрос о том, как можно направить к высшей, практической цели знания, труд и способности людей, им подобных. В России, где правительство использует все административные достижения европейских государств, чтобы управлять своим собственным на чисто азиатский лад, вопрос этот был мудреной задачей. После разговора с Гречем Бестужеву показалось, что он решил эту задачу для себя и Рылеева. Они, по обычаю, вышли от Греча вместе.

— Слушайте, Рылеев, — спросил Бестужев, — о чем говорили вы так долго с Николаем Иванычем Тургеневым?

— Он рассказывал мне о записке, которую подал адмиралу Мордвинову. В записке Тургенев доказывает, что только гласность судопроизводства, отделение части судной от правительственной, устройство судов с адвокатами и стряпчими, — только одно это может спасти Россию от чиновничьего произвола. Он прав, но и я прав, когда думаю, что Мордвинов не

* Каждый — кузнец своего счастья (немецкая пословица).

дочитает записки до конца. Удивительное дело! мы не страшимся умирать на полях битв, но слово боимся сказать в пользу справедливости.

Бестужев снял кивер и глубоко вздохнул. Его карие глаза сияли радостным блеском, и крепкие красные губы вздрагивали от нетерпения. Рылеев был чуток и впечатлителен. Он понял, что Бестужев хочет сказать что-то важное.

— Ну, говорите же, говорите...

Александр Александрович передал ему свой разговор с Гречем. Деньги и популярность — прекрасные вещи. Но журнал еще тем хорош, что дает возможность высказывать истину. Журнал не поднять — трудно; пусть не журнал, а альманах; но почему бы Рылееву и Бестужеву не заняться, в самом деле, изданием альманаха?

Рылеев слушал и молчал. Потом вдруг воскликнул:

— Согласен! И хотите знать, как будет называться наш альманах? Смотрите, Бестужев!

Рылеев показал правой рукой в небо. Его шинель сползла с плеча и тащилась длинным хвостом по пыльному граниту.

— Видите?

Бестужев посмотрел по направлению его вытянутого, казавшегося неправдоподобно длинным, пальца. Над золоченым шпицем Петропавловской крепости тонким зеленым огнем искрилась переливчатая звезда.

Рождался альманах «Полярная Звезда». Литературное болото Петербурга колыхалось и шипело. Первым прослышал Булгарин и прибежал на Васильевский остров к Рылееву, где случилось в это самое время быть и Бестужеву. Ворвавшись в маленький домик на 16-й линии, отставной капитан французских войск наполнил шумом и криками все четыре

комнаты рылеевской квартиры. Стуча в грудь и по столу огромным кулаком, Булгарин требовал об'яснений.

— Ты пустишь меня по миру, — бросался он на Бестужева, — оставишь без копейки. Вот — дружба! Ах, проклятое человечество! Что же скажет теперь моя Ленхен? Что я скажу ей, когда карманы мои пусты?

И он выворачивал карманы венгерки, из которых сыпались империалы и ассигнации. Ленхен звалась его любовница, — розовая, синеглазая, полногрудая немочка, жившая у него в доме со своей сварливой теткой, известной среди приятелей Булгарина под именем «танты».

Фаддей Венедиктович лежал в кресле, изнеможенный, и, слабо помахивая толстой рукой, дышал, как висельник, только-что вынутый из петли.

Бестужев и Рылеев хотели, чтобы альманах «Полярная Звезда» был не только литературным предприятием, но в известном смысле и коммерческим. Он должен был давать достаточное вознаграждение литераторам, которые будут в нем участвовать, принося, конечно, вместе с тем, некоторую выгоду и издателям. Это было необыкновенно. Возникало даже сомнение, пожелают ли будущие участники «Звезды» писать не для славы только, но и для денег? Многие писатели были богаты и, занимаясь искусством, считали унизительным «трудиться из платы». Вопрос о гонораре был серьезным вопросом, который никогда до сих пор не поднимался. Самый характер издания был нов и свеж в России. В Германии и Англии литературные календари и альманахи выходили во множестве к каждому новому году. Россия же вовсе не знала альманахов, если не считать «Аонид» Карамзина, появившихся, впрочем, еще в XVIII столетии.

Бестужев и Рылеев были заняты по горло. Вместе

и в разбивку они ездили к Жуковскому, барону Дельвигу, Гнедичу, прося стихов и прозы для своего издания и осторожно намекая на гонорар. Однако опасения их оказались напрасными, — мысль о плате никого не смутила, а многим понравилась. Все обещали дать кое-что. Бестужев написал в Москву князю Вяземскому и Денису Давыдову. Знаменитый партизан отвечал по-кавалерийски:

«Гусары готовы подавать руку драгунам на всякий род предприятия, и потому стыдно мне было бы отказаться от вашего предложения».

Обещал выслать четыре пиесы.

Написал Бестужев и Пушкину в Кишинев. Ответ пришел без замедления, помеченный 21 июня. «Бес арабский» прилагал к письму свои «бессарабские бредни», — «Мечту воина», стихотворения «Овидий», «Гречанке» и элегию «Увы! зачем она блистает»... Просил кланяться его старинной приятельнице—цензуре, благодарил незнакомого еще Рылеева за приписку к бестужевскому письму и обнимал обоих.

Бестужев сочинял для альманаха большую критическую статью. Довольно! Довольно фельетонов с веселыми предложениями изобрести прибор для измерения плоскостей в русской словесности, с рецептами нахождения реактива для осадки немногих капель здравого смысла из модных поэм. Бестужев больше не будет учить своих читателей, как надо определять удельный вес краденых мыслей в любом из новейших сочинений, он не станет выдумывать паровых машин для изготовления общих мест к историческим романам, калейдоскопа для составления разных стихотворных размеров, ножниц для стрижки журналистских ногтей; все эти шуточные вылазки,

которые так нравились читателям, должны прекратиться. Бестужев хотел выступить с серьезным обзором всей русской литературы и просиживал над статьей долгие часы непогодливых осенних ночей.

В октябре Петербург был взволнован двумя событиями, неожиданными и странными: по повелению императора, заседавшего на конгрессе в Вероне, один за другим были высланы из столицы вице-президент Академии художеств Лабзин и старинный литературный антагонист Бестужева — Катенин. Первый — за то, что предложил на заседании академического совета избрать в почетные члены Академии вместо графа Аракчеева лицо, не менее близкое к особе государя, — царского кучера Илью Байкова. Второй — за свистки в театре по адресу трагической актрисы Семеновой, талант которой высоко ценился императором.

Бестужев сердечно жалел Катенина и возмущался, по обыкновению, громче всех. Рылеев также пылал гневом. В эти дни взволнованных мыслей и буйных слов приятели сошлись у Рылеева.

— Стой! — закричал Кондратий Федорович, — да почему бы нам с тобой не пустить и в народ что-нибудь против деспотизма? Говоря друг с другом, мы кусаем деспота, как блохи, а когда заговорят Охта и Кронштадт, — дело другое...

Бестужев подхватил:

— Верно. Катенин переводил с французского — это для нас. Мы же напишем народным языком, чтобы пронеслось между солдатами. Например, в роде подблюдных песен. Пишем песню, Конрад!

Друзья — на диване, чернильница — посередине, перья в руках; строчка за строчкой выливаются на бумагу; Бестужев начинал, Рылеев продолжал, — к вечеру была готова песня:

Ах, и тошно мне
Во своей стороне!
Все в неволе,
В тяжкой доле...
Видно, век так队 вековать...

Скоро сочинение подблюдных песен стало любимым занятием Бестужева и Рылеева. Булгарин, довольный ходом дел в своем «Северном Архиве», устроил ужин с шампанским. Сошлось человек пятнадцать. Было весело и шумно. Розовая Ленхен, сладко поглядывая на Бестужева, просила стихов. Читали стихи. Кто-то крикнул:

— К лешему стихи! А ну-ка, последнюю бестужевскую!..

Живо сбился в углу хор. Десяток голосов, освеженным морозным «Аи», вынес высоко вверх:

Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!
Где читают Pucelle *
И летят под постель
Святцы...
Где Бестужев-драгун
Не дает карачун
Смыслу...

Одни пели, другие смеялись, и только бледный Булгарин постоянно выбегал в соседнюю комнату и выглядывал из форточки на улицу, — квартира была в первом этаже.

— Ты — что? — спросил его Греч. — Живот болит?

* Поэма Вольтера.

Булгарин побледнел еще больше и зашептал:

— Слежу, не взобрался ли на балкон квартальный, чтобы подслушать...

И снова убежал. Ленхен смеялась и пила из бестужевского фужера. «Танта» вязала чулок, строго поглядывая на племянницу поверх оловянных очков. Бестужев неприметно обнял девушку. Хор гремел:

Где с зари до зари
Не играют цари
В фанты;
Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей
Танты...

ЯНВАРЬ 1823 — ДЕКАБРЬ 1823

Действительность возникает из почвы, а почва всякой действительности — общество.

Белинский.

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» вышла в январе 1823 года и поразила любительниц и любителей русской словесности прежде всего своим необыкновенно изящным видом. Издание было выпущено в свет с явным расчетом на то, что читателям будет приятно держать его в руках. В компактном томике заключалось 390 страниц текста. Прекрасно исполненная гравюра на обложке изображала лиру, овеянную грозовой тучей и поднимающуюся ввысь, — к лучезарной звезде.

В альманахе можно было найти несколько стихотворений славного и далекого Пушкина, обозначен-

ных двумя звездочками. Дельвиг, Баратынский, Гнедич, Рылеев выступали в нем с песнями, сонетами, элегиями и думами. Одна из рылеевских дум была посвящена Воейковой, другая — Булгарину. Сам Булгарин напечатал в «Полярной Звезде» три своих рассказа. Жуковский, князь Вяземский, Денис Давыдов — все крупные писатели дали что-нибудь в альманах.

Что касается Бестужева, он заявил о себе на страницах «Звезды» трижды. Ему принадлежали большая историческая повесть из русской жизни XIV века, с «примечаниями и эпиграфами из всех лучших поэтов» под названием «Роман и Ольга» и рассказ «Вечер на бивуаке». Кроме того, альманах открывался обширной статьей Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России».

Рождение «Полярной Звезды» происходило не без мучений. Мишель Бестужев, часто навещавший брата и Рылеева в последние месяцы двадцать второго года, запомнил навсегда бурные споры, которыми сопровождались выбор и чтение произведений, предназначавшихся для альманаха. Бестужев был придирчив и взыскателен. Авторам не проходили даром ни «уж, преклоняющий колена», ни «кровожадный мухомор».

Правда, молодой русский рыцарь, испытанный в мужестве на «игрушках военных» (турнирах), говорит в «Романе и Ольге» речи не хуже любого либералиста александровских времен. Но этот анахронизм не только не возбуждал протеста, но еще и нравился, так как приятно было культурному современному читателю услышать призыв к слиянию Руси с Западом или возглас о пользе самоуправления в государственном быту из уст давнего предка. Прошлое с легкостью переносилось в настоящее, и — наоборот. Витязь Роман казался живым, потому что он, как две капли во-

ды, походил на всем хорошо известного ад'ютанта генерала Бетанкура. Вместе с тем автор любовно и со знанием воскрешал житейско-бытовой антураж древности. В общем, несмотря на то, что в «Романе и Ольге» под русскими зипунами гуляли несомненные Карлы Мооры, повесть казалась похожей на прославленные создания Вальтера Скотта и не могла не иметь успеха.

«Взгляд» был написан тоже замысловато. Автор хотел очертить в немногих словах основные пути развития русской словесности, вскрыть причины ее бедности и подражательности, показать характерные особенности творчества всех главнейших писателей. Но он располагал для статьи на такую громадную тему всего только полсотней страниц, и на этом Прокрустовом ложе должен был уместиться целый трактат. Бестужев открывал статью рассуждениями о том, что русская литература скудна, мелка, что ее почти не существует. Но когда пришлось ему добраться до характеристики писателей, живых, здравствующих и усердно трудящихся на литературном поле, перо его ослабело. Жуковский, Гнедич, Глинка, Вяземский были налицо, их имена украшали альманах, и не было никакой возможности удержаться от искушения: благодарная рука автора «Взгляда» начала возлагать на прославленные головы венок за венком. Простодушие, народность языка и русский здравый смысл басен Крылова — превосходны; стихи Жуковского клонят воображение к таинственному идеалу прекрасного; поэзия Батюшкова — водомет, то ниспадающий вниз, то резво поднимающийся вверх; почти каждый стих Вяземского может служить пословицей, так как заключает в себе мысль; произведения Ф. Н. Глинки

благоухают нравственностью; обороты Баратынского — новы и свежи; Дельвиг одарен богатством вымысла. Все эти приятные дипломы прямо противоречили главной мысли автора о слабости русской литературы. Покончив с поэтами, Бестужев занялся прозаиками. Опять такое же затруднение. Русская проза — степь, и безлюдье этой степи доказывает, что просвещение наше во младенчестве. Но... Греч соединяет в себе остроту и тонкость разума с отличным знанием языка; Булгарин излагает мысли свои с какой-то военной искренностью слога; язык Свиньина небрежен, но выразителен... И все-таки словесность плоха; читатель вовсе не видит этого из статьи, но он должен верить на слово Бестужеву. Тут Александр Александрович пускается в исследование причин скорбного явления. Исследование это не глубоко. Необ'ятность империи, малое количество учебных заведений, феодальная нелюбовь дворян к наукам, рассеянность светской жизни... Заговорив о последнем обстоятельстве, Бестужев сел на коня. Равнодушие прекрасного пола к родному языку — вот еще одна важнейшая причина.

«Чего нельзя совершить, дабы заслужить благосклонный взор красавицы?.. Одна улыбка женщины умной и просвещенной награждает все труды и жертвы! У нас почти не существует сего очарования, и вам, прелестные мои соотечественницы, жалуются музы на вас самих!»

Среди этих общих мест, соскакивающих, наконец, на уровень простой салонной causerie*, Бестужев сумел, однако, сказать и кое-что очень дельное. Его суждение о Жуковском через много лет почти дослов-

* Болтовня (фр.).

но повторит Белинский, и только один Федор Глинка опередил Бестужева в оценке Пушкина.

«Еще в младенчестве он изумил мужеством своего слога и в первой юности дался ему клад русского языка, открылись чары поэзии. Новый Прометей, он похитил небесный огонь и, обладая оным, своенравно играет сердцами... Мысли Пушкина остры, смелы, огнисты; язык светел и правилен. Не говорю уже о благозвучии стихов — это музыка; не упоминаю о плавности их — по русскому выражению, они катятся по бархату жемчугом!..»

Бестужев разгадал и Грибоедова, известного тогда только по переделанной им с французского комедии «Молодые супруги» («Le secret du ménage»).

«Стихи его живы; хороший их тон ручается за вкус его, и вообще в нем видно большое дарование для театра».

В «Думах» Рылеева автор «Взгляда» видел прежде всего «стремление возбуждать доблести сограждан подвигами предков» и, конечно, не ошибался.

Издатели «Полярной Звезды», рассылая участникам издания бесплатные экземпляры альманаха (тоже — нововведение), не позабыли и опального Пушкина. Он отвечал прекрасным письмом:

«Милый Бестужев. Позволь мне первому перешагнуть через приличия и сердечно поблагодарить тебя за Полярную Звезду, за твои письма, за статью о литературе, за Ольгу и особенно за Вечер на бивуаке. — Все это ознаменовано твоей печатью, т. е. умом и чудесной живостью. О взгляде можно было бы нам поспорить на досуге. Признаюсь, что ни с кем мне не хочется так спорить, как с тобою, да с Вяземским: вы одни можете разгорячить меня,

Покамест жалуюсь тебе об одном: как можно в статье о Русской Словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это молчание непростительно ни тебе, ни Гречу, а от тебя его не ожидал... В рассуждении 1824 г. постараюсь прислать тебе свои бессарабские бредни, но нельзя ли вновь осадить цензуру и со второго приступа овладеть моей анфологией. «Разбойников» я сжег и по делом. Один отрывок уцелел в руках у Николая Раевского. Если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог не испугают нежных ушей читательниц Полярной Звезды, то напечатай его. Впрочем, чего бояться читательниц? Их нет и не будет на русской земле, да и жалеть не о чем... Дельвиг мне с год уже ничего не пишет. Попеняйте ему и обнимите его за меня. Он вас, т. е. тебя обнимет за меня. Прощай до свиданья».*

Лафонтен был хитер и зол только на бумаге. Большая часть петербургских писателей была, наоборот, добра, чувствительна и нежна только в своих произведениях. Как ни старался Бестужев быть приятным господам сочинителям во «Взгляде», буря разразилась и едва улеглась к концу года. Одни обиделись приговорами, которые столь безапелляционно выносил направо и налево Бестужев, другие жестоко оскорбились тем, что о них вовсе не было упомянуто. «Вестник Европы» возмущался самонадеянностью молодого драгунского офицера, взявшегося судить и рядить — кого? — писателей! «Сын Отечества» пачками печатал письма к Бестужеву, его ответы, статьи под заголовками «Беда от правды» и «Беда от неправды». Карамзин находил, что «Взгляд» написан как бы насмех, хотя автор и не без таланта, кажется. Измайлов

* Письмо от 13.6.1823 («Русский Архив» 1866, стр 1209—1210).

был беспощаден к Завирашке, которого когда-то щипал за ухо:

«Какое пристрастие и неосновательность в суждениях о новейших наших писателях и каким шутовским языком все это написано под руководством временных заседателей нашего Парнаса!»

Бестужев огрызался и, по обыкновению, хватко. Он твердо стоял за свое право рассуждать вслух о «священных цыплятах Капитолия», несмотря на молодые годы, и, кончая очередную отповедь, прощался с читателями аррогантным словцом:

«Далее писать некогда: мне пора на дежурство».

Однако «Полярная Звезда» имела успех небывалый, неслыханный. Приступая к изданию своего альманаха, Бестужев и Рылеев выражали желание, чтобы он, не пугая светских людей ученостью, «пробрался на камины, на столики и, может быть, на дамские туалеты и под изголовья красавиц». Их желание исполнилось совершенно. «Звезда» блуждала по красавицам и не возвращалась домой. Случилось даже нечто большее, чем ожидали издатели: в пыльной Пензе исполосованные розгами ученики тамошней гимназии переписывали библиотечный экземпляр «Звезды» для своих рукописных собраний, и не один из них до конца дней считал «Звезду» самым теплым другом своей холодной юности.*

Продавался альманах по 10 рублей за экземпляр, — цена чрезвычайно высокая. За вычетом всех расходов, включая авторский гонорар, его продажа дала издателям 4 тысячи рублей — прибыль по тому времени громадная.

* Например, Ф. И. Буслаев — впоследствии известный историк русской литературы.

Литературная репутация Александра Александровича твердо упрочилась и походила на самую настоящую славу; лишние червонцы тяготили карманы; Бетанкур был ласков. Бестужев вздумал побывать в Москве и взял для этого отпуск. Он выехал из Петербурга в сумерки. Тускло мигали огни Средней рогатки, пестрели в бледном свете фонарей шлагбаумы. Вот уже и застава позади. Голубой снег сыплется сверху и брызжет из-под копыт лихой ямщицкой тройки.

— Эй, вы, шалые, — приговаривает ямщик и вдруг — с присвистом, — эх, разореные!

Тройка берет в подхват, сани прыгают через ухабы. Навстречу бежит бесконечный ряд ямских деревень, черные и грязные избы с окнами, в которых давно повыбитые стекла заменены тряпьем и рваной бумагой. Мелькают Померанье с вафлями, Торжок с пожарскими котлетами, Валдай, Зимогорье с баранками. Наконец, — Москва.

Тенористый унтер-офицер на заставе, сняв шапку, приветствует Бестужева обычными словами:

— Пожалуйте вашу подорожную-с!

Шлагбаум медленно дыбится в небо. Москва.

Бестужев приехал в заштатную столицу 19 февраля, переоделся в гостинице и поскакал на Петровку, в дом с полукруглой ротондой, что на углу Кузнецкого моста. У него было письмо от петербургского знакомца, кавалергардского поручика Анненкова, к матери его, богатой и знатной московской барыне. В день приезда он и обедал у А. И. Анненковой, поднявшейся ради гостя с разглаженных и обогретых утюгами ватных шелковых халатов, лежа на которых, имела она обыкновение проводить время. Изредка только видывали ее за обеденным столом в креслах, которые грузная приживалка-немка усиленно подогревала сво-

им телом перед тем, как в них поместиться барыне. От Анненковой Бестужев проехал к Никитским воротам, к Сергею Дмитриевичу Нечаеву, московскому литератору, известному и в Петербурге, — не столько талантом, как богатством и сердечной добротой. У Нечаева он и заночевал в гостиной, на огромном диване, обитом бронзой, возле хозяйского кабинета. Утром гость и хозяин долго пили чай, и Бестужев записывал программу ознакомления с Москвой.

Так началось. А потом дни закрутились в наплыве нового, — впечатлений странных, мало похожих на привычные петербургские. С заседания Общества испытателей натуры, где какой-то профессор читал лекцию о спячке животных, Бестужев скакал в Архив иностранной коллегии, чтобы смотреть грамоты королевы английской Марии Кровавой, в которых Иван Васильевич Грозный назван Imperor of Kasania and Astrakannia *

Здесь же обнаружил он письмо к царю Михаилу от Людовика XIII,— Empereur et Grand-duc, notre trés cher ami...**

А вот — договор великого князя Московского Симеона Гордого с братьями,—половина XIV века. Признаки древности — точки по концам строчек... Бестужев записывает. Вечером — блистательный бал в Благородном собрании. Вот — князь Вяземский, в очках, с лицом здорового деревенского парня, чопорно-ласковый И. И. Дмитриев в белоснежном жабо и звездах, крикливый и непоседливый Денис Давыдов с шишечкой, вместо носа, глазами, как капельки нефти, с серебряным завитком на черной шапке курчавых волос.

---

* Император казанский и астраханский (англ.).

** Император и великий князь, любезный наш друг (фр.)

Бестужева зовут обедать, на карты, завтракать, ужинать. С Вяземским дружба; из этого человека брызжет эпиграммами, он не хочет блистать умом, но ему трудно спрятать его. Опера «Торвальдо и Дорлиска» в Итальянском театре, — как трогательна ария прощания! План археологических поисков — начиная с гробницы патриарха Гермогена... У Тютчевых — знакомство с Раичем, переводчиком Торкватова «Освобожденного Иерусалима», — тихий человек, зато воспитанник его боек.* У И. И. Дмитриева — знакомство с В. Л. Пушкиным, дядей Александра. Нос косит вправо, а брюхо влево, шепеляв и плюется, читал из «Опасного Соседа» и первый же смеялся до слез, другие, — глядя на него. Обед у Вяземского; к середине приехал Федор Толстой, багровый, с могучей гривой, красив и страшен, — убил на дуэлях тринадцать душ; слышно, — бросил теперь привычку исправлять фортуну за штоссом и играет чисто; рассказывал, как на Алеутских островах выбрали его королем, — человек-омут. В университете осмотр кабинетов — натуральный беден, у покойного батюшки раритетов было больше. Вечером Нечаев повез в университетский пансион, на заседание здешнего общества любителей российской словесности. Читают все вздор. Горбатый и рябой Снегирев жарко толкует о московских древностях, — глубокий знаток, но мерзок физикой и взглядами хам. Ночевать — к Нечаеву, хорош диван — еще не лег, а уж спится. На Сивцев-Вражек к Толстому-американцу. За обедом пили. Нет, в Петербурге так страшно не пьют! Были у девок. И здесь все по особому, — странные порядки...

С Вяземским дружба, — будто век знакомы. Зазвал обедать. В Гамбургской газете: депутат Ма-

---

* Знаменитый впоследствии поэт Ф. И. Тютчев.

нюэль выведен из французской палаты за речь против короля. В Английском клубе довольны: ежели во Франции так, то в России еще сечь надо. Папуасы! Вяземский читал басню, приготовленную им для «Полярной Звезды» на 1824 год в надежде, что солнце здравого смысла взойдет и цензура спрячется от лучей его, как сова в дупло. У Дениса Давыдова на Арбате, в Староконюшенном, разговор о военных записках Дениса. Вывеска на Арбате: Гремислав, портной из Парижа. У Марьи Ивановны Римской-Корсаковой, на Страстной, бал, довольно блистательный — вся Москва пляшет. Оттуда в клуб, где попойка тоже на всю Москву. У Троицы — с записной книжкой по ризнице, по арсеналу — кольчуги, латы, гроб Сергия XIV века, гробы Годуновых, — книжка исписана. В Успенском соборе латинские надписи на стенах, — разобрать нельзя, ушли в камень. На Кузнецком мосту упал от ран Пожарский...

Подорожная уже взята. Опять у Вяземского, — проговорили до трех часов утра. Прощай, Москва! Нечаев просит взять на память кольцо, древнее, серебряное, толстое, найденное на Куликовом поле. Прощай, Москва!

Бестужев выехал в Петербург 12 марта.

С начала 1823 года Булгарин начал выпускать добавления к «Северному Архиву» под названием «Литературные Листки». Коммерческая жилка Булгарина натягивалась мало-помалу и постепенно начинала издавать приятный для него звон. Радость, как и горе, редко приходит в одиночку. Министр просвещения, князь Голицын, рекомендовал учебным заведениям всех округов подписаться на булгаринский «Северный Архив». Министр был доволен этим

журналом и находил, что в нем «помещаются с хорошим выбором разные, доныне неизданные, материалы, к русской истории относящиеся, и любопытнейшие географические и статистические сведения о России и других странах».

— Честь ума прибавит, — твердил Булгарин и зайцем бегал по Петербургу в поисках сотрудников и статей.

В одном из первых номеров «Литературных Листков» он напечатал рассказ Бестужева «Ночь на корабле». Это была задушевно рассказанная история скорбной любви морского офицера к адмиральской дочери. Выпрашивая эту вещь у автора, Булгарин смотрел на него так жадно и так умильно, что в одном этом его воспаленном взгляде Бестужев увидел больше своей славы, чем в дружеском приеме, устроенном ему всеми московскими литераторами. Там его кормили обедами, забавляли разговорами, возили по городу и этим старались показать внимание и сочувствие к молодому, но уже известному литератору. Здесь прибегал разгоряченный погоней за счастьем трескучий человек и, бросаясь на грудь, громко требовал рассказа во имя дружбы: «Ты знаменит, дай же мне что-нибудь от своего счастья!» В этой прямолинейности Булгарина было что-то отталкивающее и притягивающее одновременно, и Бестужев понял, что дружба с Булгариным — термометр удачи их обоих.

Вяземский советовал Бестужеву из Москвы писать исторические романы вроде «Кенильвортского замка» Вальтера Скотта. О том же самом с горячностью писал и Пушкин.

Бестужев обдумывал кое-что в этом роде, когда прекрасное служебное положение его вдруг зашаталось. Уже давно заметно было, что император пере-

стал благоволить к генералу Бетанкуру. Строительные проекты, которые раньше так тешили царя, теперь лежали без всякого движения в комитете министров. Какие-то помещики, недовольные распоряжением Бетанкура по прокладке шоссе через их земли, находили способы доставлять свои протестации прямо на письменный стол императора. Случалось, что главноуправляющий путями сообщения по три месяца ждал приема у Александра. Правитель дел бетанкуровой канцелярии Филипп Филиппыч Вигель, молодой человек с наружностью переодетого иезуита, ходил, тревожно поводя пронзительными черными глазами:

— Ему надо итти в отставку, — шептал он Бестужеву, встречаясь с ним в коридорах канцелярии,—величайшая мудрость в том, чтобы знать, когда надо уйти...

Вигель был прав. Но Бетанкур ездил в Нижний-Новгород, ревностно возводил там гигантские ярмарочные сооружения и вообще действовал так, как будто ничего не изменилось. Эта деловитость, совершенно не способная склоняться перед обстоятельствами, и гордый дух предприимчивости раздражали царя. Характер самостоятельности, где бы Александр ни обнаруживал его, казался ему всегда чем-то вроде личного оскорбления. Судьба славного инженера была решена.

Главноуправляющим путями сообщения был назначен в июне дядя императора, витебский генерал-губернатор, герцог Александр Вюртембергский. Принимая ведомство, герцог грозно хмурил густые брови, толстое лицо его дрожало, как студень, и весь вид напоминал обозленного попугая.

— Господа, — сказал он своим новым подчинен-

ным, — в вашем корпусе тьма беспорядков, хищничества; я не прежде надену ваш мундир, пока новыми поступками вы не очистите его. Сильными мерами постараюсь вас к тому понудить.

Огромная шишка на лбу герцога (в обществе его называли коротко: принц-Шишка) набухла и посинела.

— Когда прикажете представить вашему высочеству гражданских чиновников? — спросил Бетанкур.

— Никогда, — отвечал герцог, — они недостойны меня видеть.

Повернулся и вышел.

Бестужев был уверен, что с герцогом ему служить не удастся. Он разделял славу испанца и должен был пасть одновременно с ним. Приходилось подумывать о возвращении во фрунт, — к лошадям и лошадиным офицерам. С этими не очень приятными мыслями явился он ранним утром в приемную герцога на первое дежурство. Бегали лакеи с подносами, на которых дымились чашки с кофе. Дверь кабинета растворилась и выглянул герцог во всех регалиях и при ленте. Увидев Бестужева, вытянувшегося, чисто прибранного и ловкого, он задумался. Потом спросил медленно:

— Вы пишете?

Бестужев не знал, что отвечать, — вопрос был неясен.

— Пишите, — сказал герцог, — это хорошо, потому что говорить все умеют.

И закрыл дверь.

Порядок ад'ютантской службы, установленный при герцоге, требовал, чтобы Бестужев каждый день в 7 часов утра являлся к своему шефу, а через день оставался при нем до вечера, неся дежурство.

Положение герцогского адъютанта окончательно уничтожало все препятствия к тому, чтобы Бестужев мог занять в светском обществе Петербурга амплуа «своего» человека. Его литературная известность помогала успехам, к достижению которых он уже не прилагал теперь никаких усилий, — они бежали к нему навстречу. С его склонностью к насмешке, он должен был бы иметь врагов. Напротив, его любили все, с кем он сталкивался, многие — просто понаслышке. Живой, веселый и общительный, он сопровождал свои сарказмы струей такого теплого чувства, что они казались неот'емлемой принадлежностью его речи, как пена и брызги в шампанском. Он мастерски умел поддерживать лепет гостиных, игривый, как музыка Россини; касаться в беседе тысячи вопросов, ни одного не решая и по всем скользя; вести разговор, сущность которого — в испытании находчивости и остроумия собеседников, часто злоречивый и почти всегда кокетливый. Он умело воспроизводил эти грациозные оттенки салонной пустоты в своих рассказах, и тон обличений «безжалостного света», где паркет вылощен тысячью причудливых условий (он любил принимать обличительный тон, считая его прямой обязанностью писателя), звучал не столько разочарованием, сколько надеждой. Бестужев не гнал своих читателей от светских гостиных: он манил их туда, как бы желая вместе с ними ввести право свежей, молодой силы в этот блистательный мир немощи и увядания. Презирать свет и ненавидеть его — не одно и то же, и люди, которые, повидимому, существовали только для того, чтобы показывать в своих особах разницу между небытием и ничтожеством, вызывали в Бестужеве не гнев, а насмешливое сочувствие.

Александр Александрович жил двойственной жиз-

нью: одна для себя и друзей, для Рылеева, для литературы, другая — для всех остальных. Это было очень удобно с точки зрения внутренней свободы, — связь между обеими жизнями могла произвольно нарушаться и восстанавливаться. Строго говоря, была еще и третья жизнь — в отношениях с женщинами. Ранние связи породили и укрепили в Бестужеве взгляд на женщину, как на источник прекрасных, хотя и не всегда возвышенных наслаждений. Иногда он замечал, что такой взгляд оскорбляет женщин. Но они никогда не оскорбляли его за такое отношение к себе. Бестужев искренно полагал, впрочем, что ни он их, ни они его обидеть не могут. На войне, как на войне. А то, что называется любовью, — не больше, чем перемирие между двумя вечно воюющими сторонами. Такой взгляд был очень удобен, так как избавлял жизнь от излишней сложности.

Этот самый взгляд привел его в семейство отставного капитана 1-го ранга фон-Дезина. Капитан был из тех балтийских немцев, которые презирают Россию и служат не ей, а ее императору, корректно, но без всякого воодушевления. При угрюмом своем характере, говорил он мало и редко. Однако, получив не тот орден, который ему хотелось получить, он тотчас сказал своим хриповатым голосом, что ему понятно, отчего происходят в государствах революции, и вышел в отставку. Уйдя со службы и женившись, фон-Дезин занимался только тем, что ездил по гостям, жаловался на здоровье и гигантски много ел. Его жена была подругой одной из младших сестер Бестужева по Смольному институту. Он видел ее еще девочкой, но это было давно. Теперь же, встретив ее на танцовальном вечере у Акуловых, без труда разглядел, что она очень красива, с черными бровями, далеко заходившими на виски, и с глазами, которые блестели огнем самого

откровенного легкомыслия. Ее чувственный рот легко складывался в гримасу насмешливого пренебрежения и как будто вздрагивал от избытка этого чувства. Тонкий нос со строгой горбинкой придавал ее веселому лицу неожиданное выражение пуританской деловитой самоуверенности. Она хорошо танцовала и не дышала между двумя вальсами, как лошадь после тяжелого бега. Она рассказывала Бестужеву, что вышла замуж за фон-Дезина, чтобы отделаться от преследований какого-то влюбленного в нее дурака. В маленькой книжечке, переплетенной слоновой костью, были записаны все кадрили и вальсы, которые госпожа фон-Дезин обещала на две недели вперед своим поклонникам. Скоро в книжечке на два месяца вперед был расписан... один Бестужев. Она показала книжечку и об'яснила:

— Это потому, что я люблю вас...

Новая связь отнимала много времени: госпожа фон-Дезин была гораздо требовательнее скромной Ленхен. Из старых знакомых, если не считать Булгарина, Бестужев часто бывал только у Греча, — на его четвергах. Это были отличные вечера с певцами, музыкантами, фокусниками Боско и Мольдуано, актрисами Михайловского театра — Виргинией Бурдье, Аллан, Бра. Греч богател и хотел жить в свое удовольствие. Друзья и недруги отдавали ему справедливость: он умел это делать. Почти весь литературный Петербург толкался на четвергах Греча, где главнейшей темой споров и бесед попрежнему оставалась литература. Бестужев ценил эти четверги не за их занимательность, а за гимнастику ума, которой непрерывно занимался хозяин и в которую ловко вовлекал своих гостей. У Греча он познакомился с ин-

женерным капитаном, — сутуловатым, в очках; огромная голова его несколько походила на лошадиную. Его звали Гаврилой Степановичем Батенковым. Случилось Бестужеву и Рылееву целый вечер просидеть с ним рядом, и это оказалось интереснее всех фокусников, выступавших у Греча. Батенков служил при графе Аракчееве и был его доверенным лицом. Аракчеев называл его «мой математик» и платил ему небывалое жалованье, — десять тысяч рублей ассигнациями в год. Батенков рассказывал много любопытного о всемогущем «змее», которому его рекомендовал Сперанский. Знаменитого Сперанского он близко знал по Сибири, где тот был генерал-губернатором. Батенков и жил у Сперанского, в доме армянской церкви. Было странно слышать, как этот аракчеевский фактотум с унылой откровенностью говорил об интригах, кипевших вокруг графа, и о низостях начальника штаба военных поселений Клейнмихеля. Батенков много видел по своему положению при графе. В его устах речи о неустройствах, бедности, упадке торговли, о неосновательности и бездействии законов получали особо важный смысл. Рылеев влюбился в Батенкова. Бестужев находил смешным в Гавриле Степановиче его непонятное пристрастие ко всему, что отдавало аристократическим блеском. При простоте манер и неуклюжей наружности здоровенного чалдонского мещанина, Батенков выглядел забавно, когда, примостившись к элегантному Бестужеву, жадно выпытывал, в какие великосветские святилища мог бы его протащить герцогский ад'ютант.

— Это князь N? — спрашивал он. — Ах, какое благородное, истинно княжеское лицо!

А князь N выглядел нарумяненной кривобокой старухой с остекляневшими, как у покойника, бессмысленными глазами.

Рылеев писал поэму о Войнаровском. Ему хотелось из Мазепы и его племянника сделать борцов за свободу родины. Помогая Рылееву в его исторических поисках, Бестужев увлекся романтической биографией Войнаровского и предложил Конраду написать прозой очерк этой запутанной и изломанной жизни. Но ни Рылеев, ни Бестужев не знали Якутска — природы, людей и быта этой дальней части Сибири, где Войнаровский кончил жизнь. Батенков посоветовал разыскать барона Владимира Ивановича Штейнгеля, много ездившего по Сибири и жившего прежде в Якутске. Подполковник в отставке, Штейнгель по каким-то странным причинам был преследуем личной неприязнью императора, который не давал ему службы. Штейнгель бедствовал в Москве, занимаясь подрядами от купцов, и изредка выпускал в свет исторические брошюрки под псевдонимом Камнесвятова *. Рылеев собирался ехать в Москву, к Штейнгелю. Его останавливала только беременность жены Натальи Михайловны, и он откладывал поездку до родов, которые ожидались в сентябре.

Возвращаясь с дежурства, Бестужев заехал к Рылеевым. У них был гость — пожилой человек в очках, с одутловатым бледным лицом. Наталья Михайловна хлопотала, из кухни доносился запах чего-то вкусного, человек Рылеева, Яков, накрывал на стол. Хозяин записывал: гость рассказывал о Сибири. Бестужев догадался — Штейнгель. Действительно, это был он.

Бестужев спрашивал себя: «Могу ли все бросить — герцога, и гвардию, и всякую службу, — одной лите-

* Steinheil (нем.) — святой камень.

ратурой жить, работая для отечества верным словом любящего сына?» И чувствовал, что не в силах. Он с тоской видел истерзанную, исковерканную, исполосованную родину и ощущал глубочайшую боль от сознания, что какая-то живая жила связывает его с ее угнетателями.

Иван Пущин, лицейский товарищ Пушкина, вышел в отставку из гвардейской конной артиллерии. Он подал рапорт на следующий день после того, как великий князь Михаил на дворцовом выходе резко заметил ему, что темляк на его сабле завязан не по форме. Отставка была принята.

Желая показать, что в службе государству и народу нет обязанности, которая могла бы считаться унизительной, Пущин собрался итти в квартальные надзиратели. В старинном темном доме его деда-адмирала, на Мойке, разыгрывалась трагедия. Сестры Пущина стояли на коленях перед братом и умоляли не позорить род. Он сдался и поступил сверхштатным членом в петербургскую уголовную палату.

Однажды, когда Пущин, Бестужев, Батенков, Булгарин и еще несколько человек сидели у Рылеева, вдруг вошел Греч, длинный и торжественный, и, подняв палец с золотым кольцом, сказал громко:

— Господа! Риэго повешен. Для его уничижения, у несчастного бунтовщика оторваны самые бесчестные члены и присланы сюда для положения в Петропавловском соборе на гроб Екатерины Великой...

Булгарин захохотал, — он любил непристойную шутку. Рылеев побледнел: Риэго повешен! Бестужев вскочил с дивана. Батенков поправил очки похолодевшею рукой и сказал:

— Допустим, что до Испании нам нет никакого дела, но Риэго имел полное право действовать по край-

нему разумению против безумного и неблагодарного своего короля.

— Как, говорите вы,—до Испании нам нет дела!..

Закипел спор. Гейзером забили горячие восторженные слова. Казнь человека, уничтожившего пытки и инквизицию, вырвавшего из тюрем тех, кто провозгласил конституцию и сбросил с головы отечества тяжкое иго наполеонова владычества, гулко отозвалась в умах русских либералистов. Имя мученика, героя, народного друга заставляло дрожать сердца, взволнованные сочувствием и гневом. Бестужев страстно завидовал Риэго, готов был целовать петлю, в которой задохся великий человек, обнимать осла, который вез его на казнь в позорной телеге. Вот смерть, открывающая миру вечно жизненную истину: нет и не может быть договора между народами и царями!

В конце лета Бестужев заметил в Рылееве странную перемену. Кондратий Федорович находился в тисках таинственной озабоченности. Он меньше занимался делами по службе в уголовной палате и часто приходил домой не один, а с новым своим сослуживцем — Иваном Пущиным. Они запирались в дальней комнате маленькой василеостровской квартиры Рылеевых и часы проводили в разговорах, тема которых оставалась неизвестной всем домашним — даже Наталье Михайловне, и всем друзьям — даже Бестужеву. Александр Александрович вздумал как-то осведомиться о причине этой таинственности. Но Рылеев, всегда прямой и открытый, странно смутился, принялся толковать о делах уголовной палаты, покраснел, взволновался и, наконец, замолк со страдающим лицом. Кондратий Федорович больше, чем ко-

гда-нибудь, говорил теперь о политических вопросах и всегда с горячностью необыкновенной. Иной раз Бестужеву чудилось, что доверчивый и добрый Рылеус не просто беседует с ним, как с другом, а испытывает его, стараясь проникнуть в сокровеннейшие изгибы его души. Эта роль испытателя была так несвойственна Кондратию Федоровичу, и он бывал так в ней неловок, что Бестужев часто на середине разговора принимался хохотать. Случалось, что Александр Александрович после таких разговоров бросался на диван и, задрав кверху ногу, одетую в сверкающий ботфорт, принимался мечтать вслух о том времени, когда он вытрясет из царей конституцию для России; тогда слава Риэго потухнет в лучах ослепительной бестужевской славы, древнее историческое имя загорится новым блеском над вечным памятником свободы, а народ будет блаженствовать и, забыв узы вековой крепости, навсегда запомнит его, Александра Бестужева... Рылеев слушал, грустно качал темной головой и говорил с тихим упреком:

— Что ты за человек, Александр, — ведь за флигель-ад'ютантский эксельбант ты отдашь все конституции на свете!..

Тогда Бестужев вскакивал с дивана, начинал обнимать, щекотать и душить Рылеева. Четыре комнаты наполнялись шумом и возней; Рылеус пищал:

— Ой, да ты сильней меня, пусти шею, шея болит!

Наталья Михайловна вступалась за мужа, ее глаза загорались любовью и жалостью к маленькому человечку, барахтавшемуся под огромным драгуном: Бестужев освобождал Рылеева и почтительно просил прощения у его жены:

— Злодей будет жить для потомства.

И при этом делал ловкий жест, указывающий на

круглый живот Натальи Михайловны. Хохотали все трое. А потом опять начинались странные разговоры, подозрительные и темные выспрашивания. В конце концов Бестужеву было до крайности досадно это недоверие. Дружба с Конрадом казалась запачканной чем-то невидимым. Он решил не спрашивать ни о чем, но и не отвечать ни на что.

Подготовка альманаха на двадцать четвертый год очень занимала Бестужева. Рылеев со своими таинственными делами почти не имел времени для работы над новой «Полярной Звездой». Все хлопоты по корректированию текста, по наблюдению за гравированием виньеток и пяти иллюстраций из сочинений Державина, Дмитриева, Жуковского, Богдановича и Пушкина, по возне с цензурным комитетом лежали на Бестужеве. И если бы не подвернулся деятельный, скромный и усердный помощник, «Звезда» могла бы сильно запоздать. Помощником этим оказался Орест Сомов, тихоня с красными, как у кролика, глазами и вечным насморком. Его подсунул Бестужеву всеобщий «устройщик» Греч и не обманул — Сомов оказался чрезвычайно полезен в роли редактора. Он с головой уходил в дело, а Бестужев мчался к герцогу или по другой надобности, при мысли о которой все еще звенело его певучее сердце.

В одно из воскресений он ждал возвращения Прасковьи Михайловны из церкви от обедни, чтобы сейчас же после этого скакать по делам. Когда старушка выходила из кареты, поддерживаемая дряхлым лакеем Федором в праздничном кафтане и шляпе с голубиным пером, Бестужев из окна разглядел на ее милом лице следы волнения и слез. Он кинулся навстречу:

— Что приключилось, маменька?

Прасковья Михайловна вошла в дом молча. Не развязывая лент на черном чепце, она повела его в кабинет. Бестужев встревоженно шагал за нею.

— Ах, что же наделал ты, Сашенька! — наконец, воскликнула она и зарыдала, тряся головой и судорожно прижимая к глазам мокрый платочек.

При выходе из церкви, на паперти, когда Фёдор раздавал нищим из большого вязаного кошеля медные пятаки, а Прасковья Михайловна переговаривалась с дюжиной вдовых старух, к ней подошел человек лет сорока, в костюме штатском, но с военной выправкой, и, оттолкнув Федора, сказал:

— Кажется, имею я честь видеть госпожу Бестужеву? Прошу вас принять мои сожаления, сударыня, — сын ваш Александр Александрович подлинный есть каналья, каких мало. Да, впрочем, откуда найтись благородству в человеке, коего мать родная, — вас, сударыня, разумею, — рождения самого подлого, как то всем небезызвестно. Желаю здравствовать.

Повернулся и пошел.

Прасковья Михайловна рассказывала эту историю, задыхаясь от обиды, еле в силах повторить жестоко оскорбительные слова.

Бестужев на мгновение оцепенел. Фон-Дезин! Он упал перед матерью на колени и, целуя ее мокрые от слез руки, припадая к ее ногам, молил о прощении. Потом вскочил:

— Маменька, негодный человек этот погиб!

И выбежал из кабинета. Через десять минут не успевший переодеться Федор уже сидел рядом с кучером на козлах неотложенной пустой кареты с письмом к господину капитану 1-го ранга в отставке

фон-Дезину. Письмо содержало требование немедленной сатисфакции и формальный вызов. Секундантами Бестужев указывал Рылеева и Булгарина. Прошел час, ужасный час, который Бестужев провел в креслах, почти не двигаясь. Колеса застучали у под'езда, и Федор с голубиным пером на шляпе слез с козел. Ответ...

Фон-Дезин писал, что в своей жизни он выходил на дуэли не раз, но никогда — с шалопаями. Что он не отказывается от своих слов и готов повторить их всегда и везде, но драться с г. Бестужевым не будет.

Бестужев накинул шинель, вскочил в карету и погнал к Рылееву.

— Конрад, что делать? Как мне убить его?

Рылеев ответил коротко:

— Таких людей не убивают, а бьют.

— Где? Как?

— Пустое. Я все сделаю.

Через день Рылеев встретил отставного капитана на Невском. Это было в тот самый час, когда Невский гремит и дрожит под колесами бесчисленных экипажей, и разноцветные мундиры, фраки, женские платья гуляющей толпы пестрыми волнами разливаются по тротуарам. Рылеев загородил собой путь капитану.

— Вы оскорбили моего друга Бестужева, я — его свидетель.

— Мне нет дела до вас. Я вас не знаю.

— Получай, наглец!

Хлыст Рылеева, превосходный английский краваш, свистнул в воздухе. Молния ударила в лицо капитана и на секунду ослепила его. Багровая полоса шла от виска через переносье к уху. Капитан ахнул, присел и, закрыв рукавом лицо, волчком метнулся в

толпу. Рылеев поправил осевшую на затылок от резкого движения круглую шляпу и пошел дальше.

В начале сентября у Рылеевых родился сын. Его назвали Александром, в честь Бестужева. Восприемником был Ф. Н. Глинка. Бестужев не мог попасть на крестины — герцог не отпускал его от себя, сперва возил каждый день смотреть отстраивавшийся по его планам новый дворец, потом потащил за собой в вояж на Онегу. Герцог любил присутствовать на празднествах — военных и придворных, не пропуская, по возможности, ни одного. Его толстую фигуру можно было видеть возле императора на каждом параде. Бестужев сопровождал его, крутясь на рыжем парадере с дворцовой конюшни среди блестящей толпы флигель-ад'ютантов, которые по долгой привычке стали его, наконец, принимать за своего,— чести этой многие добивались годами. На июльском петергофском празднике Бестужев также был с герцогом; любовался из-за его спины сверканием двора, об'езжавшего русский Версаль в золоченых линейках; ел хорошие обеды, пил славное вино из дворца; танцовал в маскараде через пять пар от императора; видел, с какой жадностью смотрит толпа с садовых дорожек на пышный бал и с каким любопытством поглядывают танцующие на темную толпу, словом, провел при дворе пять суток, радостно удивляясь самому себе: «Играю комедию, как нельзя лучше, будто сто лет при дворе жил».

«Полярная Звезда» принимала вид и форму. Содержание обещало успех — Пушкин, Жуковский были налицо. Вяземский прислал отрывок под названием «Петербург». Туманский писал из Одессы:

«Милый разбойник литературы, первый луч «Полярной Звезды», правая рука или нога Вюртембергского принца, хищник Матильдиного сердца, столб русского коренного либерализма!»

Булгарин поссорился с Рылеевым и перестал показываться на рылеевских «русских завтраках», где гости собирались, ходили по маленьким комнатам с сигарами в зубах, закусывали пластовой капустой и ржаным хлебом, запивали хлебной водкой, толковали до боли в скулах о литературе, о России, превратившейся постепенно из варяжской в немецкую колонию с главными городами — Петербургом и Сарептой, о том, как было бы хорошо надеть, наконец, всем русским людям русское платье и переименовать всех ротмистров в асаулы. Говорили и о том, что для этого надобно сделать... Бестужев был главным оратором этих спартанских заседаний, простота которых, столь необычная и столь русская, казалась ему, об'евшемуся немецко-французской роскошью великосветских сборищ, неиз'яснимо привлекательной. Скоро завтраки Рылеева сделались модной приманкой для ценителей всего оригинального, и двери домика на 16-й линии Васильевского острова часто бывали наглухо заперты в послеполуденные часы.

Пущин вдруг оставил петербургскую уголовную палату и уехал в Москву, чтобы служить там в должности надворного судьи. Вслед за Пущиным и Рылеев вышел в отставку из заседателей уголовной палаты. В декабре Ф. Н. Глинка возил его к адмиралу Н. С. Мордвинову, и Рылеев вернулся довольный.

— Умный старик, но аристократ, — как ты...

— Зачем ты ездил к нему?

— Очень просто, любезный Александр: старик пожелал со мной познакомиться. Причина — ода моя

«Гражданское мужество», в коей упоминаю о Мордвинове.

Из типографии главного штаба принесли первые экземпляры «Полярной Звезды». Друзья долго любовались ими, разглядывая каждый экземпляр в отдельности и все вместе, пока, наконец, не подобрались к окну сумерки. Вдруг повалил снег, и тьма поползла черными чудовищами из углов рылеевского кабинета.

— А не поднести ли нам, Конрад, альманах наш государю и императрицам? — неожиданно спросил Бестужев и пожалел, что не видит лица приятеля.

Рылеев помолчал с минуту.

— Дельно, поднесем. Авось, когда-либо пригодится...

Яков вошел со свечой. Тени побежали в окно, как вор из дома, в который вернулся хозяин. Рылеев сидел на диване с закрытыми глазами.

ЯНВАРЬ 1824 — АПРЕЛЬ 1824

Утром я составляю планы, а днем делаю глупости.

Вольтер

НА ПЕРВОЙ странице памятной книжки, изданной Главным штабом на 1824 год, Бестужев записал по-французски две вольтеровских строчки, как эпиграф к дневнику, который собирался вести. Потом — новогодняя запись:

— «Генварь. 1/13 Вторник. — Встретил новый год в санях, искавши генер. Нащокину, где хотел и не попал быть на вечере. Лег спать не ужинавши.

Утром был на разводе и во дворце, обедал у матушки».

Жизнь была похожа на светлую анфиладу роскошно убранных комнат, по гладкому паркету которых неслышно скользят любезные и ловкие люди, приветливо встречая его, Бестужева. Если бы и весь год оказался таков, как первый день, было бы превосходно...

Вышла «Полярная Звезда». Бестужев участвовал в ней тремя вещами. Рыцарская повесть «Замок Нейгаузен» была напечатана с посвящением Денису Давыдову. Затем следовал «Роман в семи письмах». Открывался альманах небольщой критической статьей Александра Александровича под названием «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года». Рылеев поместил в «Звезде» два отрывка из поэмы своей «Войнаровский». Как и в прошлом году, все лучшие писатели были налицо, и прелестная «Таврическая ночь» Пушкина украшала альманах.

В критическом «Взгляде» Александр Александрович опять принялся за «перебор писателей», как называл его литературные обзоры Греч. На этот раз Бестужеву казалось, что временное оживление русской словесности совпало с великой годиной отечественных битв, пришло вместе с под'емом патриотических чувств и ушло, как мода, ибо любовь к отечеству в непостоянных сердцах русского общества — только мода. Отгремели военные грозы, и словесность снова оцепенела. Дальше, по ходу рассуждения, требовалось, очевидно, подтвердить этот печальный факт наблюдениями, доказать его примерами бездеятельности русских писателей. Но, приступая к их «перебору», Бестужев, как и в прошлом году, вдруг сбился

с основной своей мысли. Живые лица встают перед глазами, и паспорта на бессмертие начинают сыпаться из-под пера, внезапно потерявшего остроту. Булгарин дал превосходный рассказ об Испании; Глинка написал «Русскую историю», назначение которой быть настольной книжкой во всех грамотных семействах; Шаховской выступил на театре с отличной комедией и т. д. Бестужев полностью повторил во «Взгляде» свою прошлогоднюю ошибку.

Альманах разошелся в три недели. Успех издания не вызывал сомнений. Вечером 4 января Бестужев сидел у Рылеева, когда кабинетский чиновник появился перед приятелями с пакетом и красной сафьянной коробочкой в руках. Это были высочайшие награждения издателям — ответ на поднесение «Звезды» императору и императрицам. Бестужев получил золотую табакерку от императрицы Елизаветы и перстень от императрицы Марии; Рылеев — по перстню от обеих императриц. Кроме того, сам царь удостоил издателей милостивым рескриптом, в котором с любезной снисходительностью было выражено благоволение по поводу их полезной литературной деятельности.

20 февраля у Бестужевых состоялся торжественный обед, который издатели «Полярной Звезды» давали сотрудникам по изданию альманаха. Вдоль пышного стола, блиставшего серебром, хрусталем и разноцветным парадом бутылок, чинно сидели прожорливый и сонный Крылов, желтолицый, как турок, Жуковский, брюхастый князь Шаховской, язвительный Измайлов, задумчиво-вялый Дельвиг, в очках с непомерно толстыми стеклами. Собачья мордочка Федора Николаевича Глинки скоро распунцовилась, и он петушком ходил возле новой «кумы» своей, Натальи Михайловны Рылеевой. Воейков громко спо-

рил с соседями о чем ни попало, щелкая, как собака, злыми зубами и лишь по случаю попадая на правду. Греч председательствовал на этом обеде, как и на всех литературных обедах, когда-либо происходивших в Петербурге, и кричал в переднюю, когда там раздавались сморканье и шарканье ног вновь подошедшего гостя:

— Политика и калоши остаются за дверями!

Обед был вкусен и без политики...

Служба при герцоге сделала позиции Бестужева в свете незыблемыми. Уже несколько лет играл он по вечерам в ералаш и дураки у графа Комаровского, был чем-то вроде консультанта по свадебным делам в семействе Бетанкуров, откуда девицы прыгали замуж одна за другой, считался на правах родственника у Олениных. Наконец, и Гималаи петербургского света перед ним расступились. В памятной книжке Бестужева под 17 января записано: «День рожденья de la Princesse Moustache Galitzine». * Дом княгини на Малой Морской считался вершиной большого света. Бывать в нем — значило бывать везде; это значило участвовать в компании на акциях, куда вносятся титулы, богатства, связи и безукоризненное знание французского языка. В частном разговоре княгиня никогда не теряла придворного тона, а при дворе — свободы частного разговора. Император посещал ее запросто. Кареты посланников каждый вечер катились к ее под'езду. Когда Пушкин напишет «Пиковую даму», в старой графине узнают Princesse Moustache. Итак, Бестужев переступил этот заветный порог. Но и здесь не нашел ничего, что заставило бы его оро-

* Княгини Мусташ Голицыной.

беть перед величием. В этой безвоздушной среде, где тщательно сохранялись искусственные условности человеческих отношений, было трудно дышать. Все определено: как кланяться, и кому в особенности, и как разговаривать, и даже как влюбляться, но сколько свободы для подлости под этой корою приличий! Мужчины продавали и покупали протекции. Женщины... Если женщина смеется, — у нее хорошие зубы. Если она молчалива, — она не успела проглядеть новый роман для разговора.

Бестужев искал увлечений и легко находил их. Однако, покоряясь сердцем, он всегда безраздельно господствовал умом. Иногда им овладевало раздражение. Тогда он ехал или на танцовальный вечер к посланнику Северо-Американских Штатов Мидльтону, где все было проще и умнее, или ужинать в ресторацию Андрие, куда, впрочем, тоже допускались только люди «самого лучшего тону». Часто от Андрие скакал он с двумя-тремя приятелями «дурачиться» к Софье Астафьевне. Случалось, что «смеялся — и только», как записано в его памятной книжке; случалось, конечно, что и не только смеялся *. От Софьи Астафьевны — шаг до театра с Семеновой в «Медее», и тут — слезы, потому что слезы бывают нужны всякому человеческому сердцу.

Казалось бы, где и когда в водовороте этой бешеной жизни мог Бестужев оглядеться, притти в себя, поговорить с самим собой? Однако у этого удивительного человека хватало времени решительно на все. Он записал 7 января: «День прошел, как тень— без следа, ни в делах, ни в мыслях. Вечером был на

* У Пушкина в черновом наброске «Пиковой дамы»: «Мы вели жизнь довольно беспорядочную. Обедали у Андрие без аппетита, пили без веселости, ездили к Софье Астафьевне»...

великолепном бале... красавиц много, танцовал довольно, но уехал с пустою головою. Только под конец с англ[ичанином] Фошем имел живой разговор о Байроне». 9 января он начал брать по утрам уроки английского языка. Почти ежедневно он переводит, разбирает Вальтера Скотта и Байрона, наконец, даже сочиняет английские стихи. Попрежнему он — частый посетитель литературных собраний Греча, в горячей переписке с Вяземским, Пушкиным, И. И. Дмитриевым, Туманским. Он заезжает к Рылееву то днем, то вечером на полчаса, на час, как позволит время.

Бестужев печатает в «Соревнователе» переведенные им с английского «Письмо Попа к епископу Рочестерскому перед его изгнанием», статью «Оратор», другую статью «Определение поэзии», из Робертсона «Характеры Марии Стюарт и Елизаветы», рецензирует роман Вальтера Скотта «Кенильворт», пишет статью «О верховой езде». Невозможно сказать, что именно его интересует; его интересует все. В переводах с английского он — публицист с ярко выраженной гражданской мыслью, либерал чистой и живой воды. В статье о верховой езде он — образованнейший кавалерист, превосходно знающий историю этого дела со времен Александра Македонского. В «Сыне Отечества» он рассуждает и спорит о египетских иероглифах. Вскоре ему приходит охота копаться в несторовой летописи, сравнивать язык ярославовой «Русской правды» с языком библии, искать элементы белорусского наречия в «Слове о Полку Игореве». Вместе с тем он начинает работать над двумя рассказами для «Полярной Звезды» 1825 года. Но и эта деятельная жизнь кажется Бестужеву пустой. Его томит жажда огромного труда; это — целый пожар, погасить который можно только в океане работы.

В это время Бестужев был уже популярнейшим рус-

ским прозаиком. Его слог сравнивали со слогом Вашингтон-Ирвинга и Гофмана, и читатели страшных сказок, которыми он угощал публику, находили их в полной мере прелестными. Приподнятость характеров и языка, которую читатели встречали в его произведениях, заставляла и их самих несколько приподниматься над жизнью. Его любили за то, что он помогал забывать действительность, отрывал от нее хоть на время, толкал на поиски лучшего, чем то, что есть. И, сам того не зная, Бестужев романтическими образами своих героев подготовлял движение застоявшейся жизни.

Отсюда, собственно, и начиналась литературная слава Бестужева.

Батенков делал карьеру. Аракчеев назначил его еще в январе членом Совета главного над военными поселениями начальника, то есть совета при себе. Для огромного количества людей это было бы прекрасным оборотом служебных дел, но Гаврила Степаныч не был доволен. Прислушиваясь к его насмешливым отзывам об Аракчееве и к неясным суждениям о будущем России, Бестужев видел, что этот человек думает о большой исторической роли, которую ему хочется сыграть. В Батенкове сидело какое-то непомерное честолюбие, притом — чисто политического характера. Бестужев разделял его ненависть к глупому правительству, но, когда Батенков говорил, что освобождение крестьян из крепости неизбежно и что «сам граф» думает так же, Бестужеву казалось, что история будет несправедливой, если в судьбе крестьянской свободы безродный инженер с сибирским говорком и ему подобные сыграют главную роль.

Рылеев чувствовал проще. Инстинкт демократизма

не был изломан в нем ложью аристократических фантазий, все еще одолевавших Бестужева. Свет не манил к себе его душу, и служба правительству, которое он не уважал, была для него отвратительна. В начале февраля адмирал Н. С. Мордвинов предложил Кондратию Федоровичу должность правителя дел в правлении Российско-Американской компании — акционерном торговом обществе значительного коммерческого размаха. Рылеев охотно принял предложение и к концу февраля переехал на новую квартиру, в доме компании на Мойке, возле Синего моста. Квартира помещалась в нижнем этаже. Ее окна были защищены со стороны улицы выпуклой чугунной решеткой. Громадное окно в кабинете придавало этой маленькой комнате светлый и радостный вид. Делами компании Рылеев занялся с увлечением; что-то деловитое, предприимчивое в нем появилось. Он был доволен и новой службой и собой.

Успех «Полярной Звезды» уже вполне определился в журнальных отзывах. «Литературные Листки» пели дифирамбы. «Русский Инвалид», под пером Воейкова, радовался, что «Звезда» пойдет шагать по светским гостиным. Строже отнесся к изданию новый журнал, начавший выходить в Москве под названием «Московского Телеграфа». Еще строже прозвучал одинокий голос Вяземского в письме к Бестужеву. Вяземский находил, что в бестужевском «Взгляде» — «много хорошего, но опять та же изысканность и какая-то аффектация в выражениях». О стихах, помещенных в «Звезде», кроме пушкинских, он писал:

«...бледны, одноцветны, однозвучны. Все один напев! Конечно, и в них можно доискаться отпечатка времени, и потому и они не без цены в глазах наблюдателя; но мало признаков искусства. Эта тоска,

так сказать, тошнота в стихах, без сомнения, показывает, что нам тошно: мы мечемся, чего-то ждем...»

Внезапно Рылеев перестал интересоваться делами Американской компании. Он раз'езжал по городу и возвращался домой ночью, взволнованный; его мучила бессонница. Однажды Бестужев заехал на Мойку, чтобы навестить не Рылеева, — его он и не рассчитывал застать,—а Наталью Михайловну. Однако Рылеев оказался дома и провожал гостя — оба стояли в передней. Гость был невысок, плотен, с бледным лицом и верхними зубами, по-лошадиному выступавшими из-под губы. На нем был зеленый армейский мундир, довольно заношенный. Огромные полковничьи эполеты сползали переливчатой канителью на грудь. Полковник взмахнул рукой, в которой сверкала багровым огоньком сигара, и порывисто двинул высокими бровями. Проходя в кабинет Рылеева, Бестужев слышал его слова:

— Здравая политика — наука не того, что есть, а того, что будет. Итак, любезный Кондратий Федорович, вы согласны, что я прав и слияние необходимо. Тогда мы — в подлинной силе, и я уверен...

Когда Рылеев, проводив гостя, вернулся в кабинет, Бестужев спросил его:

— Кто это?

Рылеев отвечал нехотя, с встревоженным и сердитым лицом:

— Пестель, полковник, командир Вятского полка из 2-й армии.

— «Здравая политика — наука не того, что есть, а того, что будет». А ты знаешь, Конрад, чьи это слова? Сиэйса.

— Ты слышал, как он их сказал? Умные слова и умным человеком повторены. Только не понимаю, как

он, при его отношении к людям, еще может чем-нибудь воодушевляться...

Рылеев замолчал, сильно озабоченный, и явно не хотел больше говорить о Пестеле.

АПРЕЛЬ 1824 — ОКТЯБРЬ 1824

Как сон, бежит далекий
брег.

А. Бестужев.

КАТОЛИЧЕСКИЕ проповедники Линдль и Госнер несли какую-то мистическую чепуху в Мальтийской церкви и в большой Екатерининской на Невском проспекте. Министр просвещения князь Голицын и многие другие сановники слушали их, стоя на коленях, закатывали глаза, вздыхали и плакали. Госнер написал толкования на Новый завет. Греч имел неосторожность напечатать их в своей типографии, не предвидя никаких горестных для себя последствий. Между тем дни Голицына были сочтены в кабинете императора. Архимандрит Фотий, продолжавший посещать этот кабинет, раз'яснил Александру, что книга Госнера — не что иное, как «пароль» тайных обществ против царств. Чуть ли не виновней самих баварских проповедников, по мнению Фотия, был министр Голицын. Он впустил еретиков на Русь, он разверз их греховные уста. Встретив князя в знатном доме за обедом, архимандрит затеял с ним спор, проклял и отлучил от церкви ревностнейшего сына православия, обер-прокурора святейшего синода, министра духовных дел. Голицын был уволен от всех должностей. Его преемником Александр назначил дряхлого архаиста, адмирала А. С. Шишкова. Адмирал был, в своем роде, замечательной личностью,

Никто в России не писал столько, сколько написал этот человек. Но слава его везде была как бы отрицательным отражением славы других людей. Литераторы-карамзинисты говорили прямо, что у них два врага — Шишков и турки. Как печной горшок, жалующийся в немецкой басне Лихтвера, что и под старость его все зовут «маленьким горшком», ветхий днями Шишков был всегда недоволен собой и своими делами: для настоящей славы ему нехватало немногого — ославянить, онесторить, омосковить Россию. До сих пор его литературные попытки этого рода вызывали только смех; теперь он хотел видеть, как будут смеяться либералы, когда он примется за работу, сидя в кресле министра народного просвещения. Шишков начал с поездки в Грузино на поклон к Аракчееву. Затем подал докладную записку императору о необходимости введения нового цензурного устава, выслал за границу неудачливого проповедника Госнера, отдал под суд цензора Бирукова и Греча, владельца типографии, в которой печаталась богопротивная госнерова книга, запретил катехизис московского архиепископа Филарета...

У Рылеева часто собирались его таинственные друзья и толковали иной раз до свету. Бестужеву попрежнему не было хода на эти совещания. Зато рылеевские «русские завтраки» приобрели на Мойке широкий разворот. Говорили обо всем — о литературе, о политике, — живо, свободно. Бестужев был романтиком здоровой, крепкой, безыскусственной старины, такой старины, которую нужно было выдумать, чтобы яснее видеть недостатки современности. Он усердно выдумывал эту, никогда не существовавшую, старину и, жуя вкусно поджаренную корку ржаного

хлеба, требовал на «русских завтраках», чтобы их участники говорили, вместо «пейзаж» — «видопись», вместо «карниз»—«прилеп». Его поднимали на смех, и сам он хохотал громче всех.

На «русских завтраках» стал часто появляться поручик лейб-гвардии Финляндского полка князь Оболенский. Он входил немного боком, как-то радужно морщил доброе лицо, был кроток, тих, приветлив и любил толковать о немецкой философии, которую защищал героически. Это был патриот и мечтатель, вовсе не приспособленный к практической жизни, — камерный человек.

Иногда заезжал Матвей Муравьев-Апостол и сейчас же начинал спорить с хозяином. Речь обычно шла о том, какая форма правления всего пригоднее для России — конституционно-монархическая или республиканская. Муравьев утверждал, что республика могла бы быть столь же пригодной для России, как и для всякой другой страны. Рылеев доказывал, что Россия еще далеко не готова, чтобы сразу стать Швейцарией.

— Попробуйте-ка, Матвей Иваныч, — говорил он, — собрать народных представителей. Увидите, что закричат за царя.

Муравьев-Апостол смеялся. Его кругленькая фигурка шариком каталась вокруг стола. Он хитро потирал руки, ежась, словно от холода.

— А и впрямь бы попробовать хорошо, — повторял он, смеючись.

Однажды Матвей Иванович приехал из Красного села, куда затащил его Оболенский на маневры гвардейского корпуса. У него был расстроенный и унылый вид. Бестужев и Рылеев принялись его расспрашивать. Он махнул рукой.

— Красиво, что и толковать. Мощно, грозно, страшно, — ежась, говорил он, — а главное, господа, все довольны, и офицеры, и солдаты, — все...

Бестужев порылся в кармане и, достав оттуда листок с недавно сочиненной им вольнодумной песней, протянул Муравьеву. Тот начал, было, читать:

Вдоль Фонтанки-реки
Квартируют полки,
Слава!..

но, не кончив, сунул листок за жилет.

— Еду завтра в деревню, в Хомутец, — нечего мне больше в Петербурге делать.

Рылеев вскочил.

— Как в деревню? Почему?

И утащил Муравьева в спальню к Наталье Михайловне. Там они долго об'яснялись.

Отданный под суд Греч потерял занятия в министерстве просвещения и директорство над ланкастерскими школами взаимного обучения в гвардии. Ему приходилось плохо. «Сын Отечества» надоел читателям и шел вяло. Старый либерализм Николая Ивановича линял, политическая искренность растворялась в подслуживании правительству. Дружба с Булгариным становилась существенным элементом жизни. Уже давно Пушкин называл друзей-издателей «грачами-разбойниками». Булгарин вывел Греча из неприятного положения. В конце концов невозможно сказать, кто из них был изобретательнее. И вот, надворный советник Греч и отставной капитан французских войск Булгарин подали просьбу о разрешении об'единить в общем ведении обоих издателей журналы: «Сын Отечества», «Литературные Прибавления»

к нему, «Северный Архив» и «Литературные Листки» с тем, чтобы в дальнейшем выпускать только три журнала под названиями: «Сын Отечества», «Северный Архив» и «Северная Пчела». Дряхлый Шишков жил с дебелой полькой Лобаршевской. Булгарин живо втесался в дом Лобаршевской, сосчитался с ней родством и через нее двинул прошение в ход. Вскоре его можно было видеть даже в кабинете самого министра. Позволение, конечно, было получено.

Бестужев с Рылеевым решили, что на 1825 год они будут издавать «Звезду» без участия книгопродавца Сленина, который в предыдущие годы снабжал их средствами на издание и потом очень крупно участвовал в барышах. Узнав об этом, Сленин предложил барону Дельвигу войти с ним в товарищество по изданию альманаха «Северные Цветы». Сленин делал выгодное дело: тесная дружба Дельвига с Жуковским, Гнедичем, Крыловым, Баратынским, лицейское братство с Пушкиным обещали новому альманаху несомненный успех.

Затея Сленина и Дельвига крепко не понравилась издателям «Полярной Звезды».

«Жуковский пудрится, Воейков лежит на одре недуга, разбитый лошадьми... Сленин и Дельвиг издают на 25 год «Северные Цветы», точно то же, что и наша «Звезда», это спекуляция промышленности. Им завидно, что в 3 недели мы продали все 1 500 экземпляров» — так писал Бестужев в Париж своему приятелю Якову Толстому *.

В прошлом году умерла старшая дочь Бетанкура, Каролина Эспехо. Это так поразило старика, что он

---

* Письмо от 3.3.1824 («Русская Старина», 1889, ноябрь).

начал заговариваться, спать за обедом и стругать на верстаке свою собственную руку. В июле он скончался. Бестужев провожал его гроб, равнодушно глядя на плачущую Матильду и удивляясь, как все изменилось кругом него и внутри. В конце концов он стал настоящим служакой и почти ничего не писал все лето: не было времени. С трудом удалось ему набросать к рылеевской поэме «Войнаровский» биографию Палея. Герцог никогда так ретиво не занимался делами, как в это лето.

— Терпение — добродетель верблюдов, Конрад,— говорил Бестужев Рылееву, — но разве я не человек, чорт возьми?

На дорогах открывались злоупотребления одно за другим. Однако попадались только мелкие хищники, начальники же дистанций были неуловимы. Герцога это раздражало. С мая он начал рассылать Бестужева по дорогам. Приходилось иной раз скакать опрометью круглые сутки, чтобы поспеть к закладке моста или засыпке нового участка на шоссе. Ночевки в трактирах, пьяные обеды у военных инженеров, летучие встречи с женами шоссейных полковников и капитанов, сочинение рапортов на двух языках, дежурства в промежутках между раз'ездами безжалостно, бессмысленно, без остатка с'едали время. Герцог верил только Бестужеву, ценил его исполнительность и верный взгляд и хотел быть благодарным. Вместо отдыха он возил любимого ад'ютанта с собой в Петербург и после обеда за так называемым «кавалерским столом» (мечта жизни многих!) ласково говорил:

— Если вы недовольны, — скажите.

Бестужев кланялся, брякая шпорами.

В ночь на 27 июля герцог приказал ему ехать в Ригу с секретным поручением к генералу Карбоньеру.

— Дайте мне слово, что вы не будете мешкать ни минуты.

Бестужев сел в коляску и поскакал в Ригу. Он был там утром 28-го и остановился в С.-Петербургском трактире. К счастью, генерал Карбоньер оказался в городе. Бестужеву пришлось провозиться с ним три недели. За это время он стал рижанином. Ему не нравились своей надутостью лифляндские дворяне, и он завел несколько приятных знакомств в купеческом кругу. Случалось ему обедать у местного генерал-губернатора маркиза Паулуччи, быть на маневрах, ездить на морские купанья в Нейбате, танцовать на общественных балах. Гусарский майор Иван Бестужев, с которым он познакомился, сообщил ему, что сестры Войдзевич повыходили замуж — сперва Сидалия, а потом и старшая. И опять — мысли: как все изменилось вокруг и внутри! В рижском театре Бестужева поразила пьеса: «Берлин в 1924 году». Зрители смотрели с разинутыми ртами на мужика, паровой сохой поднимающего землю, на воздушный шар, исполняющий обязанности дилижанса, на почту, пересылаемую в бомбах, на растительную помаду, от которой посеянные на женской голове розы расцветают в пять минут перед балом, на белого медведя вместо постельной собачки, на автоматического секретаря и «тому подобные глупости, якобы вероятно в будущем веке будущие». Он описал эти глупости в подробном письме к Прасковье Михайловне * из Петербурга, куда вернулся 19 августа.

В письмах к матери Бестужев много и обстоятельно говорил о том, что было для него в это время суще-

* Письмо в Сольцы от 21.8.1824 («Памяти декабристов», сборник материалов, Ленинград, 1926, т. I).

ственным и важным, кроме службы. Он с сердечным вниманием следил за ходом греко-турецкой войны. Турки овладели островом Инсарой и перерезали всех жителей-греков. К стыду Священного Союза, триста европейских судов, и в том числе тридцать русских, перевозили варварский десант. Было над чем задуматься! Через месяц у острова Самос греки положили на месте 16 тысяч турецких моряков. Бестужев торжествовал, — победы греков были победой знамени, под которым еще ютилась свобода. Смерть Байрона в Миссолунгах * наполнила чувства Бестужева смятением и болью. Он уже свободно понимал по-английски и, прилежно перечитывая страницы, полные гнева и тоски, рыдал, восклицая:

— Что за огненная душа!

Он бросался на книги, как голодный на хлеб, усердно изучал Адама Смита, увлекался Нибуром, заглядывал в Гумбольдта, Паррота и Араго. Но из историков Герен и из публицистов Бентам были его любимыми авторами. Греч получал иностранные газеты, в частности, Гамбургскую. Рылеев, не знавший иностранных языков, иногда просматривал эти газеты и, найдя слово constitution, тотчас просил переводить. Бестужев проглатывал отчеты о политических прениях в парламентах, разбирал речи ораторов, восхищался одними и негодовал по поводу других, — все, что происходило во французской палате депутатов и в haus o commons занимало его нисколько не меньше, чем любого француза или англичанина. Неясные симпатии к духу нового времени, к новым людям, деятельным и сильным, давно уже мешали Бестужеву слиться полностью с блестящей, но пустой сферой старого аристократического общества. Он любил про-

* 19.4.1824.

шлое, но не за то, что оно родило настоящее, и из настоящего жадно смотрел в будущее. Теперь он начинал понимать, что будущее приходит скорей, чем уходит настоящее, и сознательно искал в арсенале истории железных аргументов в пользу прогресса. Его симпатии к третьему сословию, подвижные и мягкие прежде, превращались в постоянное и твердое убеждение. Уроки истории лишили их всякой отвлеченности, теперь это было живое знание пути, по которому предстоит итти вперед человеческому обществу. Через несколько лет Бестужев так запишет свои мысли, сформировавшиеся в критическом двадцать четвертом году:

«В Европе возникала и крепла совершенно незнаемая в древности стихия гражданственности, стихия которая впоследствии поглотила все прочие — мещанство... В стенах городов вообще, и вольных в особенности, кипело бодрое, смышленое народонаселение, которое породило так называемое третье сословие: оно дало жизнь писателям всех родов, поэтам всех величин, авторам по нужде и по наряду, по ошибке и по вдохновению... Они сражались своими сатирами, комедиями и эпиграммами, а между тем дух времени работал событиями лучше, нежели все они вместе. Изобретение пороха и книгопечатания добило старое дворянство. Первое ядро, прожужжавшее в рядах рыцарей, сказало им: опасность равна для вас и для вассалов ваших. Первый печатный лист был уже прокламация победы просвещенных разночинцев над невеждами дворянчиками. Дух зашевелился везде...»

Между Бестужевым и тысячами молодых людей, с которыми он встречался в свете, было очень много общего, но еще больше различия. И те, как и он, превосходно танцовали, знали множество куплетов из модных водевилей, читали Байрона, Вальтера Скотта

и Дарленкура, но сказать, сколько в России жителей и чем отличается английская конституция от северо-американской, они бы не смогли. Им, как и Бестужеву, были хорошо известны все современные и старые придворные происшествия и связи, они безошибочно сумели бы перечесть всю фалангу российской и европейской родовой знати, но об'яснить спор фритредеров с протекционистами или отыскать в истории место для Кромвеля было бы им решительно не под силу. И никому из них в голову не пришло бы спрашивать приятеля, живущего в Париже:

«Что делают либералы и каков их характер? Каков дух большей части французов? Доволен ли народ? Пожалуйста, бросьте при верном случае несколько строк об этом. Вы одолжите тем всех благомыслящих. Здесь же солдатство и ползанье слились в одну черту и офицеры пустеют и низются день ото дня» *.

В начале июня Булгарин зашел к Бестужеву в каком-то тихо-восторженном состоянии.

— Александр, — сказал он важно, без всякой аффектации, — я узнал необыкновенного человека. Это гений! Бессмертие лежит в его портфеле!

Бестужев понял, что Булгарин находится в высшем градусе энтузиазма, и необычайно тихие приемы похвальбы его рассмешили. Вообще энтузиазм других всегда порождал в Бестужеве холодность. Он знал цену чудакам и феноменам, фланирующим в два часа дня по Невскому, и давно уже пресытился ими, как Макбет — привидениями.

— Кто же это?

* Письмо к Я. Толстому от 3.3.1824 («Русская Старина», 1889, ноябрь).

Тут Булгарин не выдержал. Он засопел, заплевался и, заикаясь после каждых трех слов, пустился рассказывать. Новый знакомый Булгарина назывался Грибоедовым. Он только-что приехал в Петербург из Москвы с недоконченной комедией, остановился на Мойке в трактире Демута, уже читал свою комедию у Львовых; весь Петербург кричит, что Мольер — щенок перед Грибоедовым; Булгарин знавал его еще в Варшаве в 1814 году, вернее, Грибоедов знавал Булгарина; еще вернее, что Грибоедову известен один благородный поступок Булгарина из тех времен; они уже на «ты»; Грибоедов изучает восточные языки под руководством профессора Казембека и Мирзы-Джафара, кроме того, правоведение, философию, историю и политическую экономию; сейчас он занят переводом отрывка из «Фауста» и собирается переводить «Ромео и Джульетту»; вообще знать этого замечательного человека — то же, что и любить, потому что он умен, учен, добродушен, красноречив. Рассказам Булгарина не было конца, и смысл их Бестужев понимал отлично: «Смотри, вот какой человек оценил Булгарина и стал его другом!». Бестужев и раньше очень много слышал о Грибоедове, и все — в этом роде. Кто-то говорил ему, что генерал-губернатор граф Милорадович пленен Грибоедовым и недавно угощал его обедом в Екатерингофе, что Грибоедов приходится сродни генерал-ад'ютанту Паскевичу и в доме его встречается с великим князем Николаем. О необыкновенности читанной Грибоедовым у Львовых комедии Бестужев тоже много слышал; всего этого для него было достаточно, чтобы потерять всякий интерес к знакомству с Грибоедовым.

Вечером 23 июня Бестужев заехал к своему приятелю, гвардейскому офицеру Муханову, известному под прозвищем «Галл». Муханов был нездоров. Вдруг

распахнулась дверь, и вошел человек среднего роста, в черном фраке, в очках.

— Я зашел навестить вас, — сказал он Галлу, — поправляетесь ли вы?

В лице его было заметно искреннее участие, в приемах — уменье жить в хорошем обществе, однако без всякого жеманства. Манеры его были несколько резки, но приличны, как нельзя более. Это был Грибоедов. Знакомство состоялось, имена прозвучали внятно, но холодно; руки обошлись без пожатия. Разговор завязался по-французски, очень обыкновенный разговор. Бестужев взял со стола томик Байрона и сказал:

— Утешительно жить в нашем веке, по крайней мере, потому, что умеют ценить гениальные произведения.

— Даже оценять многое свыше достоинства, — живо заметил Грибоедов.

— Я думаю, это не касается Гете или Байрона, — запальчиво возразил Бестужев.

— Почему же нет? Может быть, и обоих... Никто не смеет сказать, что он проник великого мыслителя, и никто не хочет признаться, что он не понял благородного лорда.

Спор закипел. Бестужев сражался за Байрона против Гете, за Шекспира против Байрона. Грибоедов неожиданно вышел из сражения:

— Признаюсь вам, что я не могу понять суда, где красоты ставятся в рекрутскую меру. Две вещи могут быть обе прекрасны, хотя вовсе не подобны.

Это было правдой, осязаемой правдой. Спор шел на ветер. Грибоедов засмеялся и сказал, цитируя по-английски Стерна:

— Я готов пройти тридцать миль пешком, чтобы поглядеть на человека, который вполне наслаждается тем, что ему нравится, не расспрашивая, как и почему. Вы англоман и поймете меня.

Бестужев понял, что Грибоедов очень умный человек. Так состоялось это знакомство, и не принесло Бестужеву тепла.

Подготовка «Звезды» шла в этом году не без затруднений. В сентябре альманах еще далеко не был скомпанован. Конкуренция «Северных Цветов» давала себя чувствовать. Надежда была на прозу — Корнилович писал хороший исторический рассказ о Петре I, брат Николай, вышедший 1 июля в Гибралтар на фрегате «Проворный», должен был скоро вернуться и, конечно, напишет что-нибудь о путешествии. Грибоедов обещал дать свой перевод отрывка из «Фауста». Возня с гравюрами и виньеткой страшно затягивалась. Сперва хотели обойтись без этих украшений; потом решили, что не следует быть хуже других. Все эти хлопоты полностью лежали на Бестужеве.

Рылеевы потеряли сына Сашу и выехали из Петербурга в Острогожск, к родственникам Натальи Михайловны, Тевяшевым. Кондратий Федорович собирался там прожить два месяца, а Наталья Михайловна не хотела возвращаться в Петербург раньше, чем месяцев через семь.

Бестужев перебрался на Мойку, в пустую рылеевскую квартиру. Там было удобнее заниматься подготовкой «Звезды» к выходу в свет, — под рукой книги и Орест Сомов, проживавший в том же доме, этажом выше.

НОЯБРЬ 1824 — ДЕКАБРЬ 1824

Бестужев, твой ковчег на бреге!

Пушкин.

7 НОЯБРЯ 1824 года Бестужев проснулся от грозных ударов, от которых дрожало огромное окно рылеевского кабинета. Он вскочил с дивана и прыгнул к окну. То, что он увидел, было поразительно. По тихой обычно набережной с ревом катились вспененные волны. Барки с сеном и еще какие-то суда неслись против течения, и верхние этажи домов противоположной стороны ныряли в серой бездне. Вода рвалась в окно; толстое зеркальное стекло стонало; из щелей пола били вверх пузырчатые гейзеры. Квартиру заливало. Ураган бушевал с неистовой силой. Катера с матросами и офицерами мелькали в свинцовом полумраке дня, подхватывая плывших на щепах и обломках людей.

В кабинет вбежал бледный Прокофьев, один из директоров Российско-Американской компании. Он жил в третьем этаже.

— Александр Александрович, — пробовал он перекричать вопль и свист бури, — да бросьте ваши мундиры и все... И гребешок бросьте, чорт с ним! Идите ко мне наверх, авось, не достанет...

Качавшийся на волнах комод сразмаху ударил в окно кабинета. Цельное стекло лопнуло с треском — так рвутся ракеты, — и фонтан воды забил с дикой стремительностью.

Прокофьев кинулся вон из кабинета.

— Ждите меня, Иван Васильевич, через полчаса,— крикнул ему вслед Бестужев.

Рылеевский человек, Яков, совсем потерялся; он тыкался по углам полузатопленной квартиры с тюком свежевыглаженного белья. Бестужев выхватил у него из рук несколько простынь, рубашек, полотенец и бросился законопачивать ими входную дверь. Затем принялся громоздить кресла и шкафы на столы и диваны. Вот мех Натальи Михайловны; под потолок его, на канделябр... Книги он сваливал кучами на лежанки и кровати. Когда вода в комнатах стояла уже по пояс, работа начинала подходить к концу. Было около 6 часов дня; Бестужев поднялся наверх — мокрый, горячий, с засученными по локоть рукавами грязной сорочки. Прокофьев и Сомов сидели за чайным столом и молча слушали свист бури и глухие удары волн в стены дома, — лампа качалась, огонь мигал, лакеи крестились в передней.

Страшный день кончился. Коломна была смыта морем и почти не существовала. Галерная гавань — тоже. Деревни по петербургской дороге — Емельяновка, Екатерингоф, Афтова — снесены. Рабочий поселок возле чугунолитейного завода пропал, словно его и не было. Рассказывали, что вода поднималась 7 ноября на аршин с четвертью выше, чем в памятное наводнение 1777 года. Было подобрано больше 1 500 трупов. Петербург походил на стоянку разбитой армии. В домах зияли трещины. Подсчитывали убытки: 20 миллионов. Составлялись поквартальные списки разоренных жителей.

Сомов, хихикая и мигая красными глазами, говорил Бестужеву:

— Ох, боюсь, что дельвиговские «Северные Цветы» подмокли в луковицах и расцветут не скоро.

— Они, друг Орест, прежде были сухи, — весело смеялся Бестужев, — а теперь будут весьма водянисты.

Пушкин прислал из Михайловского стихотворное поздравление Бестужеву:

Напрасно ахнула Европа,
Не унывайте, — не беда;
От петербургского потопа
Спаслась «Полярная Звезда».
Бестужев, твой ковчег на бреге!
Парнаса блещут высоты —
И в благодетельном ковчеге
Спаслись и люди и скоты.

Через несколько дней после наводнения Бестужев заехал к Булгарину

— Читай! — сказал ему Булгарин тихим голосом, что означало у него высшую степень восторга, — читай и тогда поговорим.

Бестужев взял рукопись и развернул ее. Это были отрывки из грибоедовского «Горя от ума». Александр Александрович проглотил рукопись — раз, два; затем начал перечитывать в третий раз. Пронзительное остроумие, подлинность разговорного языка, гордая смелость Чацкого — вот что показалось ему необыкновенным. Он вскочил и схватился за шляпу.

— Куда ты? Куда? — кричал Булгарин. — Постой, сумасшедший!

— К Грибоедову. Прощай.

С бьющимся сердцем примчался Бестужев на Торговую улицу, где жил в это время Грибоедов, в доме Погодина, у корнета конной гвардии князя Одоевского. «Человек, написавший то, что я сейчас читал, должен быть существом благороднейшим,—думал он, взбегая на подъезд, — прочь все предубеждения...»

Грибоедов собирался выезжать из дома.

— Александр Сергеевич, я приехал просить вашего знакомства. Я бы давно это сделал, если б не был предубежден против вас... Все наветы, однако ж, упали пред немногими стихами вашей комедии. Сердце, которое диктовало их, не может быть тускло и холодно.

Руки новых друзей встретились в крепком пожатии.

На следующий день Бестужев слушал чтение Грибоедовым «Горя» на новоселье у общего знакомого. Он читал превосходно — без фарсов, без подделок, умея оттенить каждое счастливое выражение и придать характер каждому лицу. Грому, шуму, восхищению слушателей не было конца...

Грибоедов не любил похвал. Кровь сердца играла в его лице, когда «Горе» превозносили. Бестужев не хвалил, и от этого, может быть, они стали еще дружнее. Скоро они стали вместе ездить на репетиции в театральное училище. Молодой Каратыгин, Петр, брат знаменитого трагика Василия, старого товарища Александра Александровича по горному корпусу, собирался оттуда выйти на сцену. Для «Пурсоньяка» Бестужев дал ему свой адъютантский мундир со всеми принадлежностями. Каратыгин оцепенел от радости. Воспитанники хотели разыграть «Горе». Бестужев застал на репетиции Грибоедова с длинным заикой в синем фраке, бледным и глуховатым на одно ухо. Его звали Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером. Бестужев много слышал о нем смешного и хорошего от Ивана Пущина — они были дружны с лицея. Кюхельбекер приехал в Петербург из Москвы, где издавал журнал «Мнемозина» с князем Владимиром Одоевским, двоюродным братом конногвардейца, у которого жил Грибоедов.

— Вот человек, — сказал Александр Сергеевич Бестужеву о Кюхельбекере, — который во всех отношениях лучше меня. Но, чур, не спускать его с глаз,— тотчас треснется головой об пол.

Действительно, Кюхельбекер был похож на огромного ребенка, живого, порывистого и умного, но еще не знающего, что такое огонь и вода.

Бестужев перебрался из просыревшей рылеевской квартиры наверх, к Сомову, и сюда часто наезжал Грибоедов. Рылеев все еще жил в Воронежской губернии, собираясь вернуться в Петербург около половины декабря, предварительно побывав в Москве, где печатались тогда отдельными изданиями его «Думы» и «Войнаровский». Сомов писал Кондратию Федоровичу о наводнении и о том, как спас Бестужев рылеевское добро; об обедах у И. В. Прокофьева,—шумных, веселых и пьяных, — где постоянно встречаются Бестужев, Греч, Булгарин, Батенков и он, Сомов.

Бестужев острил перо против Воейкова за перевод байроновской «Осады Коринфа», часто виделся с Грибоедовым на Торговой, у Сомова и в свете, который Грибоедов посещал усердно. 12 декабря, в день рождения императрицы, Бестужев сопровождал герцога на бал в Зимнем дворце, торжественнейший по времени года. Император прошел польский и не танцовал более, разговаривая со свитой и наблюдая, не прыгает ли кто из офицеров в кадрили выше положенного. Серебряная голова адмирала Мордвинова, получившего в этот день андреевскую звезду, сверкала возле императора неотходно. На всех лицах были написаны ожидания, надежды, разочарования, сомнения, восторги, — одного только нельзя было прочи-

тать на них — искренности. Было много бриллиантов и мало красавиц; за ужином — много бургонского, Кло-де-Вужо и Клико, но мало веселья, — так всегда бывает наверху этой роскошно-животной жизни. На балу Бестужев познакомился с конногвардейцем, князем Одоевским. Это был юноша необыкновенно приятной наружности, белый и нежный, с большими синими глазами под черными дугами бровей и ресниц. Бестужев спросил о Грибоедове. Отвечая, Одоевский сказал сразу о нем и о литературе вообще, и о романтической поэзии, и о народности, без которой нельзя писать. Оказалось, что Одоевский — поэт, и уже дважды выступал в журналах с критическими статьями. Бестужев попробовал узнать, что подразумевает князь Александр Иванович под романтизмом. Но тут Одоевский разгорячился и наговорил чепухи; было ясно, что он понятия не имеет о романтизме, но страшно недоволен приемами старого искусства и любит в поэзии всякие нововведения, если только они, не нарушая законов природы, ведут к избавлению искусства от излишних уз. Странное дело — романтизм! Бестужев знал, что это такое; ему было совершенно понятно, что Расин вовсе не тем хорош, что он — классический трагик, а классическая трагедия хороша именно потому, что у нее есть Расин; но определение, формулу романтизма он никогда не мог измыслить, как ни бился над этой задачей, сочиняя свои «Взгляды». С Одоевским у Бестужева сразу наладилась дружба: Грибоедов и литературные интересы крепко их соединили.

Рылеев приехал в Петербург на следующий день после бала в Зимнем дворце — 13 декабря. Почти одновременно с приездом Рылеева вернулись в город из Солец Прасковья Михайловна с Лешенькой и младшими дочерьми.

После оттепели город покрылся ледяной корой. Бледные просини бороздили холодное небо. Люди кутали шеи шарфами, кучера хлопали рукавицами. Но снега еще не было, хотя декабрь уже дотянулся до половины. К Бестужеву зашел брат Николай, только-что произведенный в капитан-лейтенанты, сверкая четырьмя звездочками на серебряных дощечках штаб-офицерских эполет. У него был угрюмо-сосредоточенный вид. Он быстро зашагал по комнатам сомовской квартиры, где жил Бестужев (Ореста Михайловича дома не было). Подошел к брату, собираясь что-то сказать, но ничего не сказал, и снова пустился шагать. Наконец, остановившись в соседней комнате так, что Бестужев не видел его лица, сказал оттуда:

— Любезный Саша, перед тем, как подняться к тебе, я был у Рылеуса. Пойди к нему, он ждет тебя...

Бестужев спустился вниз. От Рылеева недавно ушли печники и маляры. В квартире перекладывались голландские печи; стены, поросшие зеленым бархатом плесени, красились синим маслом. В квартире все было не на месте, и самому хозяину было тоже не по себе. Он сидел на диване, накрытом старым детским одеялом, в халате, круто подогнув под себя ноги.

— Саша, — сказал он, едва Бестужев переступил порог, — я хочу сказать тебе важную новость.

Александр Александрович приготовился слушать. То, о чем говорил Рылеев, в самом деле, было необыкновенно интересно. С Кавказа приехал генерал-майор князь Сергей Волконский, который видел на минеральных водах Якубовича, бывшего улана, знаменитого забияку, высланного из Петербурга после дуэли Завадовского с Шереметьевым и стрелявшегося в Тифлисе с Грибоедовым. Якубович рассказывал Волконскому, что на Кавказе есть тайное общество, вроде немецких, с пятью директорами. Что общество

это — под покровительством генерала Ермолова, что все меры строгости Ермолов проводит сам, а все меры благотворительные поручены обществу. Ждут только кончины императора, чтобы действовать. Цель их — конституция, конец рабства крестьян, законы, правда, человечество, свобода...

Рылеев говорил и медленно поднимался с дивана, не спуская ног; наконец, встал на колени. Халат его распахнулся. Огонь осветил его лицо изнутри. Он продолжал говорить, со страстью обращая к далеким кавказским братьям слова дружбы и верности. Их дело — святое дело, но не только им предстоит его делать. Время подошло. Русский народ несет на своих плечах неуклюжую, кое-как сколоченную империю. Но ведь распадется же это несуразное государство, чтобы, наконец, уступить место самому народу! Уже нет сил дышать... Везде отвлеченный долг, обязательные добродетели, официальная нравственность без всякого отношения к действительной жизни. Беспрекословное подчинение — душа службы. Но финансы расстроены, торговли нет, купцы разорены, крестьяне страждут, способы земледелия ничтожны, в судах беззаконие, отечество гибнет...

Рылеев не раз уже говорил это самое, но никогда не говорил так, как сейчас. Тайное общество! Великий труд, бескорыстно поднятый для спасения родины... Вот — цель существования, смысл борьбы, подлинный путь революции! Дуновение светлого и чистого духа коснулось сердца. Секунды не прошло, — Бестужев пылал, как факел.

— Конрад, — сказал он, — тайное общество есть не только на Кавказе? Ты член его?

Бестужев ждал ответа и знал, каким он будет.

— Да, — ответил Рылеев, — я член тайного общества, и ты в него принят.

В груди Бестужева горел веселый гнев, вдохновение беспечной ярости ее наполняло. Наконец-то! Это уже не отвлеченные начала, которые можно хладнокровно обсуждать с той и другой стороны, нет, это — убеждение, посылающее своих верных на смерть. Сон многих лет укрепил силы для борьбы. Пламя высоких восторгов рвется к великому светилу справедливости. Шаг истории гулок, — он слышится... Довольно страдать отечеству под самым прозаическим, бездарным, ничего не дающим в замену страданий, игом... Довольно!

Бестужев обхватил Рылеева обеими руками и так крепко сжал, что кости Конрада затрещали. Принятие состоялось с ведома Думы Северного общества.

— Как — Северного? Разве есть еще Южное?

Рылеев не ответил. Он потребовал, и Бестужев дал честное слово не открывать никому того, что ему будет поверено, не любопытствовать о составе общества и отдельных его членах, безусловно повиноваться принявшему. Рылеев назвал только двух членов, которых мог знать Бестужев: один—Оболенский, другой — Николай Александрович, его Рылеев только-что принял. Цель общества он раз'яснил так: распространение понятий о правах людей, а со временем и восстановление их в России. Смерть императора Александра назначалась сигналом к началу действий, если силы позволят. Но, если их будет довольно, действие может начаться и раньше. Бестужев внес 150 рублей в кассу общества.

Оболенский собирался ехать в отпуск, в Москву, чтобы там встретить среди семьи — он был москвич — новый, 1825, год. Перед от'ездом он часто заходил к Рылееву, и они подолгу разговаривали.

Иногда на эти разговоры попадал Бестужев, и тогда говорили при нем, не стесняясь. Скоро Бестужеву стало известно многое. Он узнал, что Оболенский едет в Москву не только для встречи нового года, но и для свидания с московскими членами; что, действительно, существует тайное общество еще и на юге, во 2-й армии, с директорией в Тульчине и тремя управами; что Пестель — главный директор этого общества и приезжал в Петербург для переговоров о слиянии обществ; что Оболенский за слияние, но другие директоры (их трое, и Оболенский — один из них) — против, так как видят в Пестеле не столько Вашингтона, сколько Бонапарта; что южные поклоняются своему вождю, как дикие — солнцу, и он у них — истинный диктатор; что между северными и южными есть и программное разногласие, — первые хотят военной революции без участия народа, конституции, допускают и освобождение крестьян, но без лишения дворян права собственности на землю, а вторые — революции всеобщей и всеобщего же передела земель в будущей республике. Северные самоотверженно и как бы целомудренно охраняют Россию среди неизбежных потрясений. Южных же не пугает и народное восстание с открытой свалкой на не поделенной еще земле.

Бестужев удивлялся странным фантазиям южных и сердцем был на стороне северных. Он всегда любил и жалел мужика. Ему бывало неприятно, если светский человек скверно говорит по-французски; речь же мужика, еле умеющего об'ясняться на своем родном языке, его всегда трогала. Но видеть мужика, такого, как он есть теперь, во всем равным себе, братьям, сестрам, детям, ежели они будут, — казалось решительно невыносимым. Бестужев отказывался понимать, каким образом тихий, кроткий, с голо-

вы до пят аристократический на старорусский московский лад, князь Оболенский может сочувствовать южным инстигациям.

Вечерние разговоры с Рылеевым об обществе и его будущих действиях стали ежедневным занятием Бестужева. Верный слову, он ни о чем не спрашивал, но скупые намеки Рылеева поднимали в нем смелую работу воображения. Ему очень хотелось бы знать, кто, кроме Оболенского, входит в состав Думы Северного общества. По ряду признаков он заключал, что это — важные в государстве люди, вроде Мордвинова или Сперанского. Казалось странным, что в одной шеренге с ними — Оболенский, но, с другой стороны, что могут значить чины, когда дело идет о любви к отечеству?

Адам Мицкевич и его друзья — Осип Ежовский и Франциск Малевский приехали в Петербург 9 ноября 1824 года. Они были высланы из Царства Польского по делу «филаретов» * и должны были в столице империи ждать решения своей судьбы. Бестужев и Рылеев встретились с этими образованными и умными молодыми людьми у Осипа Сенковского, хитрого журналиста из поляков, которому успехи Булгарина уже несколько лет отравляли жизнь. Разговора о Польше не было, и хорошо, что не было: Бестужев и Рылеев не могли и представить себе Россию без Польши; Мицкевич же с друзьями видели счастье Польши именно в расторжении ее «насильственного брака» с Россией. Зато говорили о многом другом, и когда добрались до отнятых европейскими правитель-

* Революционно-буржуазная, антирусская организация литовской молодежи.

ствами у народов прав, виленские «филареты» оказались такими же друзьями свободы, как и петербургские либералисты. Союз единомыслия был заключен за бутылкой шампанского, которого не избегал любивший пороскошествовать Сенковский. Вскоре «филареты» стали частыми гостями на Мойке у Синего моста. Беседы с Мицкевичем доставляли Бестужеву наслаждение. Его речи были похожи на его стихи — они разливались, как река между веселых берегов, и с грохотом неслись, прыгая по стремнинам мысли. Полузабытый польский язык воскресал в этих беседах сладкой памятью сердца.

Около этого времени Бестужев познакомил с Рылеевым князя Одоевского. Александру Александровичу думалось, что этот пылкий романтический юноша с такой же жадностью и так же бесплодно ищет своего назначения в жизни, как искал его прежде Бестужев. Задача Одоевского была даже трудней, так как его богатство и знатное имя мешали ему видеть жизнь с ее наиболее безобразных концов. Знакомя Одоевского с Рылеевым, Бестужев был уверен, что выводит своего нового приятеля на единственный путь, которым следует итти истинно благородному человеку.

К зиме Бестужев заметил во взглядах Рылеева значительную перемену. Часто рассуждая вслух о преимуществах и недостатках монархического и республиканского способов правления, Кондратий Федорович попрежнему считал, что Россия для республики еще не готова. Но, перебирая примеры истории, находил, что великие характеры и добродетели воспитываются только в республиках и что монархия втаптывает в землю всякий истинно свободный дух.

Бестужев охотно пускался в эти рассуждения и, плавая по океанам исторических эпох, — он знал историю лучше Рылеева, — постоянно наталкивался на доводы в пользу новых рылеевских мыслей. Республика в России! Но ведь это прежде всего устранение императорской фамилии... Язык не поворачивался для того, чтобы сказать об этом прямо. Заветного слова не произносили ни Бестужев, ни Рылеев. Однако оба они уже знали его: цареубийство. Бестужев понял, что Пестель уехал из Петербурга не весь — кусочки Пестеля остались и в Оболенском и в Рылееве. Республика и цареубийство, — в этом было для Бестужева много и завлекательного и ужасного, переворачивающего вверх дном все его нутро. Он видел теперь, что самодержавие есть, собственно, естественное завершение дворянского государства. Чтобы искренно хотеть низвержения самодержавия, надо начисто отказаться от сохранения дворянского государства, стать демократом вполне, сделаться вторым Пестелем. Но тут-то и начиналась путаница. Пестель хотел не вообще республики, а именно такой, где земли были бы поровну распределены между всеми гражданами и выбирались бы граждане в палаты независимо от размеров имущественного их состояния. Пестель хотел не только надломить самые корни дворянского государства, но и богатства переверстать по-своему, не в пример даже Англии и Американским Штатам. Следовательно, речь шла уже не о старой России, освобожденной от произвола и очищенной справедливыми законами от общественных зол, а о какой-то совсем новой России, которой Бестужев и представить себе не мог, настолько далеко выходила она за пределы его горизонта.

Если бы Бестужев пожелал признаться в своих подлинных политических симпатиях, он должен был бы

сказать: я — против самодержавия, но за дворянское государство; за республику, но не за демократическую и во всяком случае не за пестелеву республику. Однако сказать так Рылееву он не решался, чувствуя в этих своих настроениях фальшь и недодуманность, что-то грубо-инстинктивное, бегущее прочь от чистой и последовательной мысли. Да и вообще все эти суждения приходили ему в голову в неотчетливом и темном виде, — он путался и скользил между отдельными туманными догадками, не находя для них ни слов, ни формул. Приходилось многое глушить, и тогда возникала потребность в многоречивости, нарочито дерзкой, но внутренне пустой. Рылеев был точно в таком же положении, только врожденная страстность вела его дальше и прямее. Он был искреннее, и когда Бестужев вскакивал с дивана и, топя страх и колебания в нервическом смехе, восклицал:

— Не одного, а много Лувелей нам надобно! Но где их сыскать?

Рылеев говорил задумчиво:

— И один Лувель — много, но он должен быть чист.

К Кондратию Федоровичу часто заезжал высокий, сухопарый, носатый полковник Преображенского полка князь Сергей Петрович Трубецкой. Бестужев и раньше встречался с ним в свете, Трубецкой был женат на графине Екатерине Ивановне Лаваль и жил во дворце тестя на Английской набережной, возле Сената.

Бестужева всегда удивляла редкая молчаливость князя. Когда он начинал говорить, казалось, что губы его склеены, и ему трудно раз'единить их. Но то, что ему случалось выговорить, звучало всегда очень

веско. Раскрывая рот, он имел вид пифии, восседающей на высоком треножнике и читающей в книге судеб. По всем этим причинам Трубецкой был известен за очень умного человека. Кроме того, ореол солдатской храбрости, проявленной им в великих битвах 12—14 годов, никогда не увядал, и железный Кульмский крест величаво покачивался на его тощей груди.

Наезды Трубецкого к Рылееву прежде поражали Бестужева. Между этими двумя людьми нельзя было отыскать ничего общего. Теперь Бестужев догадывался, что и Трубецкой — член тайного общества. По некоторым наблюдениям можно было даже установить, что он играет в обществе какую-то особо значительную роль. На Бестужева он не обращал ни малейшего внимания, и этим очень горячил его самолюбие. Встречаясь у Рылеева, они тотчас расходились —Трубецкой в кабинет хозяина, а Бестужев к себе наверх, и встречи эти едва ли было можно почитать даже знакомством.

В конце декабря Трубецкой приехал и уехал. Рылеев был взволнован и увел Бестужева на диван в кабинет.

— Князь Сергей Петрович собирается переезжать в Киев, — сказал он задумчиво. —Он принял должность дежурного штаб-офицера 4-го корпуса, и знаешь, для чего? Чтобы наблюдать за Пестелем.

— Трубецкой..?

— Да, он один из директоров Северного общества. Пестель вовсе отклонился от правил союза. Они там действуют, как будто на севере никого нет...

27 декабря Оболенский уехал в Москву на двадцать восемь дней — термин домашнего отпуска для военнослужащих. Одновременно из Москвы в Петербург приехал Иван Иванович Пущин — тоже в от-

пуск. Бестужев не спрашивал, но уже знал, что и Пущин в обществе.

«Северные Цветы» Дельвига вышли в свет точно к Новому году, тогда как «Полярная Звезда» еще и не поступала в печать. Рылееву было не до альманаха, а Бестужев всю горячку ума и сердца направлял на политические дебаты. «Полярная Звезда» опаздывала безнадежно.

Новый год встретили тихо, но памятно. Пущин — за картами у брата Михаила Ивановича, гвардейского сапера и любимца великого князя Николая, — где проиграл в банк семь тысяч рублей, сразу оставшись без полушки. А о том, что происходило под Новый год на Мойке, Бестужев так записал в своем дневнике:

«31/12. Среда. — Дежурный. Вечером до 11 часов у нас сидели Мицк[евич], Еж[овский] и Малев[ский]. Пили за новый год».

ЯНВАРЬ 1825—МАРТ 1825

Груз подобен высшему
свету: легкий всплывает,
тяжелый падает.

Лессинг.

БУЛГАРИН выпустил театральный альманах «Русская Галия». В этом альманахе он напечатал несколько отрывков из «Горя от ума». Появление в печати знаменитой комедии было разрывом бомбы среди мирного до тех пор журнального лагеря. В «Московском Телеграфе» Н. Полевой отозвался о «Горе» восторженно. В «Вестнике Европы» племянник отставного министра И. И. Дмитриева (Михаил Дмитриев) об'явил, что главный характер ко-

медии почти не обрисован, а язык неровен и неправилен. Орест Сомов, возмущенный плоскостью и бездоказательностью рассуждений Дмитриева, напал на него в «Сыне Отечества». Бестужеву было ясно, что во «Взгляде», который он готовил для «Полярной Звезды» на 1825 год, ему предстоит сказать о грибоедовской комедии веское слово присяжного критика.

Пушкин писал Бестужеву о «Горе» так:

«В комедии Горе от ума кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный (молодой человек) и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (имянно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями... Покажи это Грибоедову» *.

В это время печатался «Онегин». Бестужев читал и тревожился. Ему казалось, что сюжет романа ничтожен и пуст, что тип Онегина просто гадок, а все вместе — плод подражательности европейской иноземщине. В этом смысле он писал Пушкину. Насчет «Горя» он почти соглашался с мнением михайловского заточника, а на Жуковского наскакивал самым жестоким образом за немецкую мечтательность и туманность его поэзии. Любовь к народному, самобытному часто сбивала Бестужева с позиций действительного вкуса и трезвости, — так случилось с «Онегиным». Она же иной раз выводила его на эти позиции, — так получилось с Жуковским. Пушкина раздражали эти странные, несвободные, подчиненные какой-то предвзятой мысли нападки, и он решительно отвел их и от себя и от Жуковского в письме к Рылееву:

---

* Конец января 1825 г. (Пушкин, Письма, М. 1926, т. I).

«Бест[ужев] пишет мне много об Онегине — скажи ему, что он не прав: ужели хочет он изгнать все легкое и веселое из области поэзии? Куда же денутся сатиры и комедии?.. Это немного строго. Картины светской жизни также входят в область поэзии, но довольно об Онегине.

Согласен с Бестужевым во мнении о критической статье Плетнева, но не совсем соглашаюсь со строгим приговором о Жуковском. За чем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались?.. Ох, уж эта мне республика словесности! За что казнит, за что венчает?»*

6 января 1825 года Бестужев был произведен в штабс-капитаны. Он имел теперь право перейти в армию капитаном и получить в командование эскадрон, то есть войсковую часть с отдельным хозяйством, — мечта сотен долголетних служак, не гнушающихся полузаконными злоупотреблениями и стремящихся к сытой жизни за счет овса, артельного котла и солдатского обмундирования. Но Бестужев об этом думал меньше всего. Он был совершенно доволен своим служебным положением при герцоге.

В тайном обществе было мертво. Н. И. Тургенев, много помешавший весной прошлого года слиянию Юга с Севером тем, что решительно восставал против передела земель, был в долговременном отпуску за границей. Пущин — в Москве. Трубецкой — в Киеве. Рылеев занимался выпуском в свет «Дум» и «Войнаровского». Бестужев — «Полярной Звездой». Брат Николай ждал назначения на новую должность. Ни-

* Письмо от 25.1.1825 (Пушкин, Письма, М. 1926, т. I).

кита Муравьев, бывший одним из директоров, уже в третий раз перерабатывал свой проект конституции.

Это затишье, разговоры с Рылеевым все об одном и том же и приблизительно в одинаковых словах странно действовали на Бестужева. Экзальтация первых месяцев пребывания в обществе, когда он чувствовал себя новым человеком, особенным, не похожим на других, так как грозная тайна была ему вверена и он хранил ее, — все эти возвышенные и светлые настроения постепенно схлынули. То, что он видел в обществе, не могло ни раздувать его фантазерства, ни питать впечатлительности. Самолюбие было удовлетворено, — он в числе лучших, которых произвела Россия. В конце концов ничего не случилось, и он оставался таким же горячим либералом и крикуном, как и раньше. Но так как политическая мысль не была в Бестужеве необходимейшей из всех его умственных потребностей, он начинал терять интерес к обществу и его делам. И политическая деятельность, которая также не была существенной потребностью его буйного темперамента, начинала казаться ему невозможной и нелепой в этой давящей атмосфере кажущегося покоя. Либерализм Бестужева широко и полно проявлялся в разговорах, уже и мельче — в литературных работах и вовсе не проявлялся в его общественной деятельности. Энергия мысли и чувства превращалась в крикливое самолюбование.

Однажды, в начале февраля, Рылеев приехал домой в совсем особенном настроении — он был, как стальная пружина, зажатая в могучем кулаке воли и готовая развернуться с бешеной силой.

— Какие новости, Конрад?

— Я выбран членом Думы, на место Трубецкого.

Бестужев понял, что затишью пришел конец.

Из Москвы приехал Штейнгель и остановился у директора Российско-Американской компании Прокофьева. Штейнгель часто спускался вниз и, сидя за круглым столом, театрально поднимал к лампе руки, рассказывая о московских неурядицах и злоупотреблениях.

— И никто этого не видит; неужели нет людей, коих интересовало бы благо общественное!

Рылеев вскочил, схватил его за рукав и сказал, сверкая глазами, душным шопотом:

— Есть люди! Целое общество! Хочешь ли быть в числе их?

Штейнгель вздрогнул и опустил голову. Потом, без всякого пафоса, столь ему свойственного, отвечал тихо:

— Любезный друг, мне сорок второй год. Прежде чем отвечать на этот вопрос, мне надобно знать, что это за люди и какая цель общества.

Зато к Рылееву совершенно прилепился его старый знакомец по Украине, отставной кирасирский поручик из беспоместных дворян, Каховский. Они встретились в январе у Ф. Н. Глинки. Каховский, отвесив огромную нижнюю губу, рассказывал, будто едет в Грецию сражаться за свободу. Однако, когда Рылеев сел с ним рядом и заговорил так душевно и ласково, как умел только он, Каховский, опустив черные бегающие глаза, сразу примолк тяжело и как-то раздавленно. А потом признался, что он — самый несчастный человек на свете, обманут в любви, растерзан неудачами, живет в долг и, бедствуя, не может покинуть гостиницу «Лондон», пока не изменятся обстоятельства. Нетрудно было понять, что под переменой обстоятельств Каховский разумел смерть, о которой мечтал, рыская по Петербургу, как волк из-под собачьего гона, и привыкая к мысли о неизбежной гибели. Рылеев был до

слез растроган этой исповедью и зазвал Каховского к себе.

Следы заброшенности и горя стирались с лица Петра Григорьевича, когда он приходил на Мойку, и Бестужев мог наблюдать, с какой живой горячностью принимает этот разрушенный сердцем человек рылеевские мысли. Он был неразговорчив; сидя в углу у окна, он слушал и прикидывал услышанное к себе. Рылеев потихоньку давал ему деньги. Было еще одно место, где с охотой бывал Каховский. Он почти ежедневно посещал поручика лейб-гвардии гренадерского полка, Сутгофа, который был болен. Каховский просиживал у него в казармах долгие часы, пересказывая слышанное у Рылеева. Сутгоф в жару вертелся на подушке, и рассказы Каховского действовали на него благотворнее лекарских кровопусканий — он затихал и с жадностью глотал, вместо медикаментов, слова Каховского. От Сутгофа Пётр Григорьевич шагал на Мойку и, усевшись возле окна в столовой, снова слушал, молчал и думал.

Бестужев знал цену Рылееву, знал, как может Кондратий Федорович поднять и вдохновить человека. Он испытал это на себе. Но только в феврале на Каховском увидел он всю силу рылеевского уменья вдохнуть огонь. Каховский вдруг запылал, как сухая солома, которой коснулось пламя. Рылеев говорил о нем Бестужеву, как о великой находке, и, сравнивая с Брутом и Зандом, не жалел хороших слов. Каховский был раскален пылкой любовью к отечеству и жадно искал подвига, — мысль о гибели была привычной до обыденности, но гибель за отечество представлялась ему высшим счастьем, которого можно желать.

Еще в середине января Бестужев переехал к Рылееву: их жизни так срослись, что даже лестница между

этажами казалась досадным и раздражающим препятствием для постоянного общения. Наталья Михайловна должна была до самой весны прожить в деревне. Бестужев занял комнату рядом с кабинетом. Здесь, после долгого разговора вдвоем, Рылеев написал Бестужеву «Стансы»:

. . . .

Слишком рано мрак таинственный
  Опыт грозный разогнал,
Слишком рано, друг единственный,
Я сердца людей узнал.
Страшно дней не видеть радостных...

. . . .

Кондратий Федорович бросил перо и, быстро шагнув к Бестужеву, припал к его широкой груди, — маленький, хрупкий. Бестужев чувствовал, как бьется возле него это взволнованное тело в пароксизме необ'яснимой тоски.

— Друг мой, друг единственный, — шептал Рылеев, рыдая, — все ли поймешь ты?

Слезы взрослого мужчины, — что может быть понятнее по самой своей необычайности? С Бестужевым редко случалось подобное. В нем была какая-то странная власть над собой, заставлявшая сохранять веселый и спокойный вид в самые тяжелые минуты. Рылеев был не слабее, но мягче.

Привязанность к этому человеку почти отрывала Бестужева от семьи. Он редко бывал на Васильевском, да и там почти никогда не заставал братьев. Петруша служил в Кронштадте—ад'ютантом у главного командира порта, адмирала Моллера. Его от природы флегматический нрав с годами превращался в характер глубокий и серьезный — он был молчалив и задумчив выше всякой меры. Жил Петруша на старой крон-

штадтской квартире брата Николая. Старший Бестужев окончательно перебрался в Петербург, но был совершенно завален работами по своим новым должностям начальника Главного морского музея и историографа русского флота. Он расчищал авгиевы конюшни музейных зал, спасал от разрушения редчайшие модели, отыскивал в заплесневевших кучах грязного мусора драгоценные манускрипты. Завел при музее модельную мастерскую. Писал историю флота. С жадностью дышал затхлым воздухом архивов и вообще проявлял энергию чисто бестужевскую. Между занятиями он бывал у Сперанского, где наслаждался мудрой беседой хозяина; близко дружил с умным Батенковым; изредка заглядывал и на Мойку, чтобы потолковать о делах тайного общества.

Печатание «Полярной Звезды» началось только в половине февраля. Попрежнему основные тяготы дела лежали на Бестужеве; Рылеев ухаживал за своим слугой Яковом, заболевшим нервической горячкой, и махнул на альманах рукой. Цензурное разрешение удалось вырвать 20 марта. Это означало конец хлопотам: альманах был готов.

Недели за три до этого события вышли, наконец, в Москве отдельными изданиями «Думы» Рылеева и «Войнаровский». Они пошли ходко: за месяц Рылеев заработал тысячи две, о чем писал жене в воронежскую деревню не без горделивого удовольствия *. Он раздавал своим приятелям списки поэмы, восполнявшие сделанные по требованию цензуры пропуски в тексте; о новой поэме заговорили сразу и в Петербурге и в Москве.

---

* Письмо от 12.3.1825 («Памяти декабристов», сборник материалов. Ленинград, 1926, т. I).

Частым посетителем Мойки стал молодой Одоевский. Живой, веселый, он врывался бурей и уносился вихрем. Бестужев видел в нем себя, помолодевшего на десяток лет. Что привлекало этого светского юношу на Мойку, в приют недоговоренных мыслей, напряженных чувствований, лихорадочных поисков всечеловеческой правды? Бестужев уже начинал пресыщаться этим воздухом тайной свободы, но для Одоевского он сохранял всю прелесть новизны. Забегая на Мойку между сдачей караула и сборами на бал, именно здесь наслаждался он истинно возвышенною жизнью.

Николай Александрович принял в общество друга своего капитан-лейтенанта Торсона. В конце февраля Бестужев узнал, что Торсон принял Мишеля.

Наконец, и сам Рылеев принял Каховского. Этого нельзя было не сделать — так готов был Каховский к соединению с обществом; не Рылеев его подготовил; Рылеев только соединил его с обществом.

Через несколько дней Петр Григорьевич пришел и коротко об'явил, что он принял поручика лейб-гренадерского полка Сутгофа. Затем он опять стал приходить ежедневно, но всегда с одними и теми же вопросами о силе, ближайших планах и средствах общества. Бестужев с удивлением видел, что эти вопросы, нескромные и настойчивые, задает уже не прежний Каховский. Новый Каховский наступал на Рылеева, требуя ответов не для себя, а для тех, кто его спросить может. Он говорил о праве людей, рискующих всем для отечества, знать кое-что об обществе. Ведь не обществу же они готовы жертвовать жизнью, а родине. Рылеева возмущали эти упорные допросы, и он решительно заявил Каховскому, что сказать ничего не может и не

скажет. Каховский не появлялся дня три, а потом, в последних числах марта, вдруг пришел и, застав Рылеева лежащим на диване, подсел рядом. Он был в каком-то размягченном, почти нежном настроении.

— Послушай, Рылеев! Я пришел тебе сказать, что я решил убить царя. Об'яви об этом Думе. Пусть она назначит мне срок.

Рылеев быстро сел и провел рукой перед лицом, будто отогнал муху.

— Что ты, сумасшедший! Ты, верно, хочешь погубить общество! И кто тебе сказал, что Дума одобрит такое злодеяние?

Каховский помрачнел, и губа его оттопырилась.

— А все же я решился, — сказал он твердо, — и намерение свое исполню непременно.

Рылеев смутился .Он говорил Каховскому много и горячо, доказывая со ссылками на Думу и на Бестужева, что несвоевременное геройство опаснее самой подлой трусости, требовал доверия к себе.

— Любезный Каховский! — наконец, закричал Рылеев, — подумай хорошенько о своем намерении. Схватят тебя, схватят и меня, потому что ты у меня часто бывал. Я общества не открою, но вспомни, что я отец семейства. За что ты хочешь погубить мою бедную жену и дочь?

На глазах Каховского выступили крупные, светлые слезы.

— Делать нечего, — сказал он тихо, — ты убедил меня!

Затем встал с дивана и подошел к окну.

— Дай же мне честное слово, — просил Рылеев, — что ты не исполнишь своего намерения...

Бестужеву было видно, — он сидел у окна сбоку, — как слезы стекали по лицу Каховского.

МАРТ 1825 — МАЙ 1825

Так за скалу хватается
пловец,
Которая разбить его
грозила.

Гете.

ПОЛЯРНАЯ Звезда» вышла 21 марта. Издатели находили, что опоздание с выходом в свет оказалось очень полезным для альманаха и что «Полярная Звезда» 1825 года выгодно отличалась от своих предшественниц.

Опять альманах сверкал именами крупнейших писателей — Жуковского, Баратынского, Вяземского и прежде всего Пушкина. Рылеев напечатал три отрывка из новой поэмы «Наливайко», над которой упорно работал с середины прошлого года, и стансы, посвященные «единственному другу». Бестужеву принадлежали повести «Ревельский турнир» и «Изменник» и критический обзор «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов», которым открывался альманах. В первой из своих повестей Александр Александрович показал себя блестящим знатоком быта и нравов немецких окраин России в их далеком прошлом. Жизнь, движение, краски, — все это подлинное, реальное, таким оно должно было быть с точки зрения истории, археологии и этнографии, и если все-таки было не совсем таким, то потому только, что автор обязательно хотел вывести из рассказанных в повести событий несколько нравоучений для своих читателей. Выведенная им мораль не была нова, но гражданская соль ее казалась острой и несомненно делала свое дело. Слабее — вторая повесть, построенная на сгущенно патриотической фабуле и страдающая, при общей реальности психологических положений,

рядом грубых исторических анахронизмов, — обычная жертва, которую приносил автор романтическому вкусу читателей и своему собственному.

На этот раз Бестужев выступил во «Взгляде» продуманно и основательно. Он опять был недоволен положением дел в русской литературе. Положение это представлялось ему в таком жалком виде, что он утверждал даже, будто литературы в точном смысле слова Россия еще не имеет. Но критика есть. Странное, парадоксальное явление: «Мы пресытились, не вкушая, мы в ребячестве стали брюзгливыми стариками». Откуда это взялось? Из «безнародности», из восхищения перед французской литературой, из бесстрастности, лени и недостатка просвещения. Развивающийся ум требует дела. Он хочет шевелиться, ежели не может летать. К несчастью, политические интересы в России для него недоступны, и вот он бросается в кумовство и пересуды — возникает критика. Но лучше бы не было такой критики, которая строится на личностях, на частностях, на расчетных видах! Отчего же нет в русской литературе гениев и мало талантов? Бестужев знает заранее, что на вопрос этот хором ответят: потому что нет ободрения. Слава богу, что нет ободрения! «Когда молния просила людской помощи, чтоб вспыхнуть и реять в небе? Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни, Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию, Мольер из платы смешил толпу, Торквато Тассо из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий, даже Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии...» Таланты не нуждаются в ободрении. Литературы нет, потому что нет воспитания. «Сколько людей, которые могли бы прославить делом или словом свое отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролетная тень обла-

ка. Да и что в прозаичном нашем быту на безлюдье сильных характеров может разбудить душу?» Римлянин Альфиери, неизмеримый Байрон сбросили с себя золотые цепи фортуны, пренебрегли приманками большого света, — зато целый свет под ними, и вечный день славы их наследие... Наше воспитание порочно, — мы подражатели. Мы вздыхаем по-стерновски, любезничаем по-французски, мечтаем по-немецки, но по-русски мы не пишем. Итак, все дело — в отсутствии серьезных общественных интересов, рожденных на русской почве, — именно отсюда и безнародность, и подражательность, и безыдейность...

Сила публицистического жара, с которым Бестужев написал свой «Взгляд», поистине удивительна. Зоркость, с которой он отыскивал причины застоя в развитии литературы, делает ему честь. Не меньше зоркости проявил он и в оценке важнейших литературных явлений прошедшего года. О «Цыганах» Пушкина, еще не напечатанных, но слышанных уже Бестужевым в чтении брата поэта, Левушки, он отозвался так:

«Это произведение оставило за собой все, что Пушкин писал прежде. В нем-то гений его, откинув всякое подражание, восстал в первородной красоте и простоте величественной. В нем-то сверкают молнией очерки вольной жизни и глубоких страстей и усталого тела в борьбе с дикой природой. И все это — выраженное на деле, а не на словах, видимое не из витиеватых рассуждений, а из речей безыскусственных. Куда не достигнет отныне Пушкин с этой высокой точки опоры?»

И другому рукописному произведению — грибоедовской комедии — Бестужев посвятил отзыв, горячий и пророческий, лучший из всех современных отзывов:

«Горе от ума» — феномен, какого не видели мы от времен Недоросля. Толпа характеров, обрисованных смело и резко; живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невидимая доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах — все это завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтет ее (комедию), не смеявшись, не тронувшись до слез... Будущее оценит достаточно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных».

После всех этих справедливых приговоров, Бестужев, наскоро осудив нетерпеливую наклонность времени не только мало писать, но и мало читать, упомянув вскользь о поэтах, которые не умрут потому только, что живы, переходит к обзору журналов и обрушивается на «Московский Телеграф» Полевого.

«В Москве явился двухнедельный журнал «Телеграф», издаваемый г. Полевым. Он заключает в себе все, извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие — вот знаки сего телеграфа, а смелым владеет бог — его девиз».

Бестужев совершил большое дело. Он сказал во «Взгляде» ясно и прямо то, о чем смутно догадывались лучшие головы современной ему литературной среды: литература идет из жизни; ее упадок — непосредственный результат уродства общественных условий, недостатка общественного воспитания, отсутствия гражданских интересов.

По обыкновению, вокруг «Взгляда» поднялась шумиха. Свежие и резкие мысли Бестужева стали

костью не в одном горле. Особенно болезненно подействовала его статья на старика А. Е. Измайлова:

«Взгляд» Завирашки поднял всю мою желчь, — писал он И. И. Дмитриеву, — хотя истинно я очень хладнокровен. Какой варварский язык! Какой решительный дерзкий тон! Ах!»

Бестужев и пораздумать не успел, как очутился со своей оскорбительной для «Телеграфа» ремаркой во «Взгляде» впереди целой стаи гончих дворянской журналистики, травившей Полевого. Это был рецидив дворянской болезни в Бестужеве, взрыв темного, глубоко затаившегося чувства, — «Телеграф» был лучше многих тогдашних журналов и нисколько не заслуживал острых насмешек бестужевского «Взгляда».

Это был только рецидив, так как в основе суждений Бестужева все же лежало здоровое, почти по-рылеевски демократическое чувство. Бестужев, несомненно, находился под влиянием рылеевских настроений, и причину своего отрицательного отношения к «Онегину» (Рылеев и он одинаково смотрели на этот роман) изложил в письме к Пушкину с большой ясностью.

«Поговорим об О н е г и н е»... «Я не убежден в том, будто велика заслуга оплодотворить тощее поле предмета, хотя и соглашаюсь, что тут надобно много искусства и труда»... «Для чего же тебе из пушки стрелять в бабочку?»... «Я вижу франта, который душой и телом предан моде; вижу человека, которых тысячу встречаю наяву, ибо самая холодность, и мизантропия, и странность теперь в числе туалетных приборов»... «Я невольно отдаю преимущество тому, что колеблет душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце; а мало ли таких предметов, и они ждут тебя!»

Сравнивая «Онегина» с «Дон-Жуаном» и вспомнив о Байроне, Бестужев пишет:

«И как зла, и как свежа его сатира!» *

Бестужев хотел бы видеть в поэзии Пушкина если не голую политическую сатиру, то, по крайней мере, ту исключительность политического направления, которая придавала в глазах публики такую силу поэмам и думам Рылеева. Всеоб'емлющая впечатлительность Пушкина казалась ему растратой гения, и рылеевскую односторонность, столь понятную каждому неравнодушному к политическим вопросам читателю того времени, он предпочитал пушкинской широте поэтических впечатлений.

Пушкин отвечал:

«Где у меня сатира? о ней и помину нет в Евг. Он. У меня бы затрещала набережная, еслиб коснулся я Сатире... Дождись других песен» **.

Корреспонденты говорили на разных языках, и Бестужев выступал в переписке с обычными своими страстностью и преувеличениями. Однако Пушкин полагал, что именно Бестужев «достоин создать критику». И в самом деле, роль критика была Бестужеву совершенно по плечу. В эпоху ожесточенных битв классицизма и романтизма он был решительно на стороне последнего. Классицизм отступал по всему фронту — от Байрона с Вальтером Скоттом до Пушкина с Бестужевым. Публика торжествовала победу романтизма, как побиение дряхлых корифеев литературного прошлого — Сумароковых, Шишковых, Херасковых, как подрыв рабской морали старой литературы, старого правительства, старых людей вообще. Неопределенность и задумчивость новой романтической школы

* Мартовская переписка 1825 г. («Русский Архив», 1889, т. I; Пушкин, Письма, М. 1926, т. I).

** Письмо от 24.3.1825 («Русский Архив», 1889, т. I и Пушкин, Письма, М. 1926, т. I).

Бестужев почитал только языком перелома, назревающего в общественном сознании. Он был уверен, что поэзия выплывет из засасывающих ее умозрений, и восхищался Вальтером Скоттом за то, что он не романтик только, а еще и реалист. Бестужев писал:

«Нельзя отрицать, что у нас теперь уже проявилась наклонность к действительному».

Эта наклонность, по его мнению, должна была вести литературу к самобытности, следуя внушению народного духа.

Нельзя допускать, чтобы народ оставался вне литературы, и поэтому литературе нужно народное содержание. Бестужев понимал, что эпоха реализма близка, и самый романтизм рассматривал только, как подготовку этой великой победы искусства, освященную глубокой любовью к родине и ее самобытности.

С таких позиций Бестужев обстреливал противников в критических своих работах. Он никогда не сумел связать эти здоровые и отважные мысли в целостную концепцию литературного символа веры. Он разбрасывал их щедро и беззаботно по страницам статей и писем, но зато в «Полярной Звезде» собрал множество блестящих доказательств их правоты. Все содержание трех альманахов ее доказывало.

В лейб-гвардии Московском полку, куда, с помощью брата Александра, перевелся Мишель Бестужев из флота, его встретили сумрачно. Он сел на голову нескольким поручикам, давно ожидавшим производства. Через несколько дней, на ученье в манеже, Мишель простудился — грудь сжало железными кольцами. Бестужев с Рылеевым предложили ему переехать к ним на Мойку до выздоровления. Мишель перебрался и поселился на диване в столовой. Ему на-

всегда запомнились вечерние разговоры в этой столовой, когда после «русского завтрака» и ухода гостей Яков приносил из трактира обед, и лампа нарочно не зажигалась подольше, — в сумерках легче и проще говорить о важном.

Но Александр Александрович начинал выдыхаться в этих разговорах и заметно растерял к ним свой прежний интерес. Больше в тайном обществе для него не было тайн. Бестужев мог рассматривать общество со всех сторон, как будто оно лежало у него на ладони. Вот Рылеев — добрый, честный, умный, горячий, самоотверженный, и все-таки не следует ждать многого от общества, которым он управляет. Рылеев пламенно хотел, но надо еще твердо знать, чего хочешь. Этого у Рылеева не было. Он был слишком мягок душой, чтобы не растеряться и не отступить в паническом ужасе, когда Каховский предложил ему немедленно истребить тирана. А ведь он очень желал этого! Вместе с Бестужевым он обдумывал все подробности необходимого «действа» и с гордостью любящего отца говорил о Каховском:

— Это наш Брут, наш Занд!

С таким вождем едва ли способно общество произвести что-нибудь решительное.

Вот Никита Муравьев, в третий раз переделывающий свой проект конституции и совершающий для этого огромный труд по сравнительному пересмотру всех европейских и американских конституций. Запершись в кабинете, он думает, что революции производятся только пером и только на бумаге. Нет, это не вождь!

Из разочарования в людях рождалось разочарование в деле. Бестужеву казалось, что возле него копошатся муравьи: они собираются возвести из дорожной пыли стены и башни великой крепости революции.

Статочное ли это дело, когда строители так мелки, когда средств и способов для постройки нет никаких, и чугунное тело самодержавной империи грозно щетинится миллионами верных штыков? Свое вечное чувство неудовлетворенности Бестужев переносил теперь на тайное общество, и чувство это было тем глубже, чем больше восхищался он прежде обществом и своим участием в нем. Таинственная новизна заговора, необычайная роль заговорщика, — все потеряло свою прелесть; оставалось только романтическое отношение к самой идее и нежелание навлечь на себя упреки в непостоянстве и легкомыслии со стороны Рылеева. Фантазия Бестужева, при всей своей игривости, не была деятельно-творческой, тревожный ум его не был последователен. Со времен детства и ранней молодости в его натуре было — стремительно хвататься за широкие планы, легко усваивать внешнее, выигрышное и нетрудное, всему на свете предпочитать эффект и, напросившись на трудности, быстро отступать перед ними, обегая их затем круговым путем. Он любил брать чувством то, что не давалось размышлением. Но когда и чувство потухало, он просто отворачивался.

Бестужев не верил больше ни в людей, ни в самое дело тайного общества. Про себя он называл все это сумасбродством. Но для того, чтобы Рылеев не разглядел охлаждения, старался как можно выше поднять наигрыш самых решительных слов. Он требовал Равальяков* не меньше десятка сразу, хорошо зная, что и единственному — Каховскому — Рылеев не дает шагу ступить. Иногда он кричал:

— Хоть меня употребите на это!

Рылеев отвечал:

---

* Убийца французского короля Генриха IV.

— Твое дело будет действовать на солдат и для этого ты должен быть чист.

Бестужев понимал, что Рылеев хитрит и довольно неумело. Мучатся родами горы, и смешная мышь родится *.

Трудно знать, понимал ли Рылеев Бестужева. В апреле он торжественно об'явил своему другу о том, что состоялось его избрание в члены Верховной Думы. Возможно, что Рылеев чувствовал охлаждение Бестужева и, чтобы подогреть его, проделал этот фокус. Мог Рылеев также и ошибаться, полагаясь на словесные бравады Бестужева, и по этой причине ввести его в Думу. Так или иначе, но Александр Александрович даже не удивился. Ему было ясно, что Дума — это Рылеев, и что нужно же было Рылееву заместить кем-нибудь затворившегося в своем кабинете Никиту Муравьева и философствовавшего Оболенского. Естественно, что заместителем оказался он — Бестужев. Событие это нисколько не вывело его из состояния равнодушия к делам общества и, при своей чрезвычайной занятости, он все собирался и никак не мог попасть ни на одно из заседаний Думы. Да и заседания были не часты...

Серое, как солдатское сукно, апрельское небо угрюмо висело над Петербургом. Из Москвы приехал Вильгельм Кюхельбекер и явился на Мойку советоваться. Он имел намерение занять кафедру русской словесности, учреждаемую для офицеров черноморского флота. Либеральные настроения в нем кипели. Он желал страстно освобождения крестьян, и конституции, и твердых законов, но о республике отзывался как-то неопределенно.

* Латинская поговорка.

Бестужев спросил его прямо, хочет ли он республики? Кюхельбекер отвечал столь же прямо:

— Нет, и даже страшусь, ибо считаю сие правление не благоприятствующим для поэзии и художеств,— причина для всякого другого, если угодно, и ничтожная, но для меня весьма важная.

Он говорил это с неимоверной горячностью, бешено раздувая худые щеки и страшно тараща круглые светлые глаза. С такой горячностью можно говорить только о вещах, которые сегодня утром пришли на мысль, а вечером с нее соскочат. Из планов Кюхельбекера ничего не вышло — представление о нем застряло в морском министерстве. Грибоедов пристроил своего приятеля к печатному верстаку Греча и Булгарина. У Греча Кюхельбекер и поселился временно, надеясь добиться «казенного места» то у Шишкова, то в почтамте, то в горном департаменте. Денег у него не было вовсе, но он считал и это обстоятельство временным, так как Булгарин после сытного обеда у Греча обмолвился, облизываясь, что хорошо было бы издать сочинения Кюхельбекера. Бестужев знал цену разочарованию и молчал, хотя и понимал, что Булгарин просто пошутил — по-булгарински.

Рылеев ждал приезда Натальи Михайловны из деревни.

Бестужев раздумывал: где поселиться, когда приедет Рылеева с дочкой? Возвращаться на Васильевский остров к своим ему не хотелось. Прасковья Михайловна продала старый бестужевский дом против Андреевского рынка и переехала с дочерьми в квартиру, снятую на Васильевском острове же, но на углу Большого проспекта и 15-й линии, в доме купца Штильцова. Квартира была невелика — комнат

шесть, а жителей — бездна; как разместиться в этой тесноте, между сестрами, братьями, ему с книгами, рукописями? Как и где обдумывать и писать? Вернуться к Сомову Бестужев по разным причинам также не хотел. Одоевский снимал на Торговой улице целый этаж — восемь комнат, не роскошно, но уютно и даже щегольски обставленных. Едва Бестужев успел сказать об этой мысли князю, как тот раскрыл об'ятия. Он искренно был рад — Грибоедов от него с'ехал, квартира пуста, а Одоевский не любил одиночества. Они шли пешком по улицам, с которых ветер сгонял воду, и говорили. Одоевский повернул на Торговую, и разговор одновременно повернулся тоже. Князь вспомнил только-что сказанные Рылеевым слова о пользе твердых, неизменных законов и повторил их.

— Как это верно!

Бестужев посмотрел на его чистый профиль, тонко вырисовывавшийся из-под огромной конногвардейской каски. «Он готов, — подумал Александр Александрович, — и в моей власти сделать его сейчас счастливым»...

— Доставление со временем и нашему отечеству незыблемого устава, — сказал он, — должно быть целью каждого мыслящего человека.

— Да разве мало мыслящих людей на Руси? — спросил князь.

— Довольно. К этой цели мы стремимся. Бог знает, достигнем ли когда?

Одоевский остановился и радостно глянул из-под каски своими голубыми глазами.

— Правильно ли я тебя понял, любезный Бестужев? Ты говоришь...

Бестужев сделал важное лицо.

— Да. Нас несколько людей просвещенных. Еди-

номыслие нас соединяет. Иного ничего не нужно. Ты так же мыслишь, как я, стало быть, ты — наш.

Бестужев ничего не сказал больше Одоевскому, — да и что было сказать? Он не взял с него никакого обязательства, — в чем следовало его обязывать? И Одоевский ни о чем не спрашивал. Он пристально посмотрел на Бестужева и крепко, по-мужски, по-военному сжал его руку своей мягкой рукой.

Через несколько дней Бестужев должен был скакать в Москву. Он узнал о своей поездке неожиданно от герцога, который, в тайне устраивая ее для своего любимого ад'ютанта, думал поразить его приятной неожиданностью. Действительно, Бестужев был поражен, и приятно. Он ехал в Москву для сопровождения гостившего в России мужа великой княгини Анны Павловны, принца Вильгельма Оранского, в его свите. Путешествие обещало быть занимательным и удобным.

И вот опять Москва. Парадная толчея прогулок, торжественная лихорадка представлений и приемов, все это скоро набило Бестужеву оскомину. Москва бесилась, а он, воспользовавшись благодушием принца, дружески интриговавшего его в котильонах, незаметно отставал от свиты.

«Я видел всю знать Московскую — да и меня видели все, — а это для будущего не лишнее. Теперь (между нами будь сказано) хочу войти в один дом, чтобы запустить брандер для зимы. Ничего еще нет, но я бы желал, чтобы сбылось, ибо все по моральной и политической части меня арранжирует. Герцогу рапортовался больным, и здесь думаю пробыть еще с неделю. Никаких положительных планов нет. Пожить здесь необходимо, чтобы свести знакомства... —

Езжу как курьер. — На дороге перед Москвой слетел ночью в реку с тройкой. Но бог спас... Опять поскакал так же. Благословите вы — и я в жизни так же скоро поеду, как по дороге» *.

В таких выражениях сообщал Бестужев Прасковье Михайловне о своем пребывании в Москве. Положительных планов, может быть, у него и не было, но план отрицательный был: он не хотел возвращаться из Москвы иначе как женихом. Блестящая служебная обстановка, в которой видела его Москва, очень могла облегчить этот шаг. На брак — непременно выгодный и способный позолотить облезлый бестужевский герб — он рассчитывал на этот раз очень серьезно. Где же и жениться гвардейскому офицеру, как не в Москве и не из-под ферулы императорского beau frér'a **? Бестужев полагал, что время сделать этот шаг пришло. А там — на два года путешествовать за границу, и — прощай, не Рылеев, конечно, но тайное общество! Все сделается само собою. Бестужев не считал это изменой — глупостям не изменяют, но способа отстранения более приличного, удобного и даже в нравственном смысле безупречного представить себе он не умел.

Московский свет заметил Бестужева и нашел, что он — человек пресыщенный и разочарованный, жадный до успехов, дорожащий вниманием своих начальников и вместе с тем их презирающий, словом, модный и очень интересный молодой человек, из тех, которым ничего не стоит закружить голову любой московской невесте. И действительно, он держался с мо-

---

* Письмо от 12.5.1825 («Памяти декабристов», сборник материалов, Л.,1926, т. I).

** Мужа сестры (фр.).

сковскими барышнями совершенно по-петербургски: с одной зевал, другой говорил дерзости, считая всех за дур и, при случае, язвительно намекая на годы. В душной оранжерее московских бальных зал Бестужев, наконец, остановился перед одним цветком. Это было то, что ему требовалось. Княжна Дарья Ухтомская, — Дашенька, выросшая в роскошном родственном доме Голицыных, привлекла его взгляд, не восхищенный, но пристальный.

Эта белокурая девушка с веселыми веснушками на нежно-белом лице и с прозрачными, как горные озера, глазами была знатна, богата, и Бестужев ясно слышал, как билось ее маленькое сердце, когда он чуть-чуть пожимал в вальсе тонкую руку, на которой червонел огромный прабабушкин браслет. Все складывалось самым благоприятным образом, и Бестужев уже был принят с величественной ласковостью в голицынских хоромах. Но что-то мешало ему быть решительным. Было странно и неловко думать о том, как он вернется в Петербург и скажет Конраду:

— Я — жених. Я женюсь на богатой московской невесте...

Странно и неловко думать, а каково будет это сказать! Бестужев отодвинул пропозицию до зимы, когда предполагал опять побывать в Москве.

Перед от'ездом из Петербурга Грибоедов снабдил приятеля рекомендательными письмами к своей матери, и Бестужев скоро стал в грибоедовском доме на Новинском бульваре чем-то вроде члена семьи, подставного, но любимого сына. 1 мая Александр Александрович виделся с Пущиным, разыскав его на Арбате, в Большом Толстовском переулке,—это был день рождения Пущина. Иван Иванович рассказал

Бестужеву, что он занимается устройством в Москве Практического союза освобождения дворовых крепостных людей. Члены союза обязуются освобождать состоящих при них для услуги крепостных, и в самом деле освобождают. Пущин считал, что это скромное начало, по практическим своим результатам, стоит больших планов; Бестужев с ним согласился. Разговаривая об обществе, они пришли к выводу, что предпринимать что-нибудь реальное теперь было бы совершенным безумием.

Бестужев был искренно рад, найдя в Пущине здравомыслящего человека.

Но он был еще больше рад, когда, прогуливаясь по Кузнецкому мосту, в пестрой толпе гулявших увидел шляпу с огромным плюмажем и под ней — оливковое лицо с длинными черными гайдамацкими усами. Рачьи глаза высокого капитана выпучились, он наспех поправил на лбу черную шелковую повязку и кинулся обнимать Бестужева. Это был Якубович, бывший гвардейский улан, а теперь капитан Нижегородского драгунского полка, гроза горцев, израненый в лихих схватках за Кубанью и заехавший в Москву по дороге в Петербург, куда, наконец, ему было разрешено прибыть для вскрытия черепной коробки и извлечения пули. Идол юности Бестужева, славный дуэлянт, лихой забияка, романтический Якубович — здесь! Встреча была отпразднована в ресторации на кавказский манер: бутылки менялись, и беседа не умолкала до утра. Выпив, Якубович закрутил усы и вдруг стал мрачен.

— Ах, друг Александр, — заговорил он, срывая повязку со лба и обнаруживая багровую щель в кости, с пульсирующими краями,—душно! Ты знаешь, я превосходно стреляю из пистолета, фехтую не хуже Северприка, мастерски рублюсь на саблях. Я пылок

в жизни, но у барьера хладнокровен. Человек, подобный мне, имеет право быть решительным. Надо только захотеть быть свободным, и силе конца нет. Ты знаешь, я многое потерял, готов потерять все, лишь бы сохранить достоинство и независимость духа.

Бестужев вспомнил дошедшую к Рылееву от Волконского весть о тайном обществе на Кавказе. Волконский слышал об этом в прошлом году от Якубовича на минеральных водах.

— Любезный Александр, — спросил он у бешеного своего собеседника, — ты говоришь это от себя только или не ты один так думаешь?

Якубович привскочил на стуле.

— Что ты выведываешь? Скажу одно: я ненавижу деспотизм всегда и везде. Даже предписания докторов действуют на меня раздражительно...

На следующий день приятели снова встретились. Якубович повез Бестужева к Денису Давыдову на Поварскую. Здесь можно было говорить о чем угодно со всей свободой, которой и воспользовался Якубович в полной мере.

— Дары! — кричал хозяин, хлопая в ладоши, и одетый Наполеоном мальчик с подносом, уставленным яствами и напитками, вырастал на пороге.

Якубович вынимал из внутреннего кармана сюртука листок истлевшей бумаги и разглаживал его на столе.

— Это — приказ о моем переводе из гвардии, — говорил он, — я ношу его у сердца. Жажду мщения! Или я снова в гвардии, или — месть!

Сумасшедший капитан выехал в Петербург за несколько дней до Бестужева.

МАЙ 1825 — АВГУСТ 1825

> Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования?
>
> *Герцен.*

28 МАЯ Бестужев с заставы проехал на Васильевский остров, переоделся среди восклицаний и любопытных вопросов сестер, затем отправился на Мойку, где крепко обнял Конрада и приветствовал недавно приехавшую в Петербург Наталью Михайловну, и, наконец, на Торговую к Одоевскому, где и ночевал.

За месяц отсутствия накопилось в Петербурге немало новостей, каждая из которых должна была его очень интересовать. Брат Мишель уже являл на своих плечах первые результаты перевода в гвардию — в полк, покровительствуемый великим князем Михаилом, — он был произведен в штабс-капитаны. Рылеев придавал этому серьезное значение с точки зрения дел тайного общества. Что касается общества, — самым примечательным там были постоянные споры, которые Рылеев непрерывно вел с Каховским. Споры шли вокруг вопроса, страшно интересовавшего Каховского,—о роли Думы после восстания. Как-то Рылеев сказал, что Дума должна будет и после восстания на некоторое время удержать в своих руках власть. Каховский возмутился. Он полагал, напротив, что общество обязано сделать все для блага отечества, но власти на себя ни в каком случае не брать.

Разномыслие это жестоко раздражало обоих спорщиков. Чем старательнее заслонялся Рылеев Думой (что такое эта Дума, — было прекрасно известно

Бестужеву), тем упрямей желал Каховский узнать ее состав и даже требовал, чтобы Рылеев его представил Думе. Рылеев обещал, оттягивал и, конечно, никогда не решился бы показать Каховскому Думу, — себя, Никиту Муравьева, Оболенского, Бестужева. Он понимал, что величественная тайна, раскрытая в такой жалкой картине, потоком холодной воды затушит горевшее в Каховском пламя. А он хотел, чтобы пламя не тухло, и для этого предпочитал обманывать русского Занда. Бестужев заметил эту ложь; она неприятно поразила его. Он видел, как натягиваются нервы Каховского, как растет его подозрительность, хотел поговорить с Рылеевым, но махнул рукой: «Пусть сами разбираются»...

Бестужев жил у Одоевского. Грибоедова не было в Петербурге — он уехал 26 мая в Киев, чтобы оттуда через Крым отправиться на Кавказ к Ермолову, при котором назначен был состоять чем-то вроде чиновника для дипломатических сношений с закавказскими странами и народами. Грибоедова не было, но дух его наполнял все восемь комнат квартиры Одоевского: по вечерам в них собирались молодые гвардейские офицеры и в десяток рук списывали «Горе от ума» для распространения.

Рылеев сказал Бестужеву:

— Любезный Александр, ты — член общества, член Думы, но дела общества тебя вовсе не трогают. Друг мой, ты всегда не с нами...

Бестужев попытался отделаться шуткой:

— Кроме тех случаев, когда с вами.

Но Рылеев упрекал всерьез, говорил долго и горячо. Под'ехавший Оболенский к нему присоединился. В бестужевском характере было — не терпеть упреков. Бестужев вспыхнул:

— Чего вы хотите от меня? Я приготовил Одоевского. Прими его, Конрад. Прими брата Петрушу, и с ним я говорил как-то об обществе. Вот вам сразу два новых члена, — разве мало?

Он принялся рассказывать о Якубовиче, которого знал много лет и недавно встретил в Москве. Уверял, что Якубович будет славным членом общества — обижен царем, пылает местью, ненавидит деспотизм. Рылеев решил поговорить с Якубовичем. Разговор состоялся на Гороховой, где жил капитан и куда Бестужев привез Рылеева знакомиться. Наружность искалеченного кавказца совершенно соответствовала ходившим по Петербургу слухам о его решительном характере. Рылеев без предупреждений открылся Якубовичу. Тот громко откашлялся и зачем-то крепко пожал руку Бестужева. Потом сказал:

— Господа! Признаюсь, я не люблю никаких тайных обществ. Быть в обществе — плясать под чужую дудку. По мнению моему, один решительный человек полезнее всех карбонаров и масонов. Я знаю, с кем я говорю, и потому не буду таиться. Я жестоко оскорблен царем! Вы, может, слышали, Кондратий Федорович?

Тут повторил он все проделки, которыми поразил Бестужева в Москве, — вынул из бокового кармана полуистлевший приказ об исключении из гвардии и сорвал с головы шелковую повязку так, что кровь выступила. Затем заревел с яростью, тыча приказ под нос Рылееву:

— Вот — пилюля, которую я восемь лет ношу у ретивого. Восемь лет жажду мщения. Эту рану можно было залечить и на Кавказе без ваших Арендтов и Буяльских. Но я этого не захотел, и обрадовался случаю, хоть с гнилым черепом, добраться до оскор-

бителя. И вот, наконец, я здесь! И уверен, что ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем: делайте, что хотите, дурачьтесь досыта!

Рылеев сидел бледный. Слова, голос, бешеные движения, рана Якубовича, — все это больно ударило и высекло из сердца быстрый огонь. Боже, чего нельзя сделать с таким человеком! Но Якубович и слышать не хочет об обществе. Он — сам по себе; убьет царя, общество не готово к действию, какой драгоценный случай пропадет невозвратно!..

— Успокойтесь, капитан, — говорил Рылеев и маленькой своей рукой гладил коричневые желваки крепко сжатых кулаков Якубовича,—послушайтесь голоса благоразумного. С вашими дарованиями, уже сделав себе имя в армии, вы поступком своим только обесславите себя. А между тем вы могли бы отечеству своему быть полезны, вместе с тем и удовлетворить страсти свои...

Якубович страшно засмеялся.

— Я знаю только две страсти, которые движут мир. Это — благодарность и мщение. Все другое — не страсти, а страстишки. Нет уж, как хотите, а я слов своих на ветер не пускаю и дело свое совершу непременно. Для сего два срока назначил я себе: праздник петергофский и маневры.

Вошел слуга Якубовича и доложил о ком-то. Бестужев с Рылеевым простились и вышли.

Что делать? Как остановить его?

Бестужев считал, что надо остановить всеми средствами и для этого — пытаться уговорить. Рылеев кинулся об'езжать Оболенского, Никиту Муравьева и других, чтобы оповестить всех о неожиданной угрозе. Все были одного мнения: Якубовича необходимо посадить на цепь.

На следующий день Бестужев и Рылеев снова были на Гороховой, с ними пошел и Одоевский. Капитан выглядел грустным и мрачным, ходил по комнатам широкими шагами и говорил, что раны на теле и пуля в голове сулят ему близкий конец и что одно у него впереди — показать миру, чего заслуживают цари, не умеющие быть благодарными.

Вспомнив о царе, он заскрипел зубами и вскрикнул, яростно хватаясь за саблю.

— Ах, жаль мне, что могу убить его только однажды!

Рылеев сказал взволнованным голосом:

— Но вы тем лишь обесславите себя, капитан!

Якубович как будто ждал возражения:

— Решено! — ревел он, швыряя свое громадное тело в разные углы комнаты,—решено! Я восемь лет носил в груди и лелеял это намерение. Я убью его на параде, при всех, — увидите! Я буду в черном платье и на черном коне, как черкес-наездник... Разовью знамя свободы, а то истреблюсь сам. Мне наскучила жизнь...

Прошло не менее двух часов бешеных криков и робких убеждений. Наконец, Рылеев вскочил, взял шляпу и, не прощаясь, вышел. Бестужев и Одоевский — за ним. Они остановились у ворот в тесном кружке.

— Он — сумасшедший болтун, — сказал Одоевский.

— Нет, — возразил Рылеев, — он — опасный человек, враг общества и родины. Я решился на все, господа. Его завтра же вышлют из Петербурга...

И он быстро пошел к Невскому. Ветер дул ему в лицо. Рылеев придерживал шляпу рукой и накло-

нялся вперед всем корпусом. Фигура его несла в своих хрупких чертах ожесточение и смелость.

Рано утром Бестужев с Одоевским были у Рылеева. Они обдумали за ночь положение, и Бестужев сказал Кондратию Федоровичу, еще лежавшему в постели:

— Рылеев, на что ты решаешься? Подумай, любезный. Ты опозоришь себя. Уж чем доносить на него, — лучше взять другие меры. Например, лучше драться нам всем по очереди с Якубовичем.

Рылеев покачал головой.

— Я не хочу губить его. Сегодня я попытаюсь еще раз его остановить, но, в случае неудачи, готов на все. Хотя бы отложил он покушение свое на время.

После чая отправились на Гороховую. Якубович собирался уходить, был уже в шляпе и с перчатками в руках.

— Еду в клинику, — сказал он весело, — будут резать и жечь.

Потом, будто сообразив что-то, скороговоркой добавил:

— Боюсь, что вышлют меня из столицы и не удастся мне видеть «его».

Рылеев выступил вперед.

— Якубович! Хочешь, я встану перед тобой на колени и на коленях буду просить тебя отложить это дело на месяц или два? Хочешь? А то или сам я убью тебя или донесу правительству нынче же.

И он поднял руку вверх, как это делают при присяге.

Якубович посмотрел на бронзовые часы в углу, надел перчатку и усмехнулся.

— Вы все об этом... Хорошо, я согласен, господа!

Для Бестужева согласен, ибо он старый из всех приятель мой...

Он произнес это без всякой аффектации, легкомысленно насвистывая модный марш из «Оберона».

Среди этих удивительных приключений, доставивших Рылееву немало бессонных ночей, Бестужев находил время работать, забывая и об Якубовиче и об обществе. В это самое время он писал Пушкину в Михайловское, что весь погружен в английскую литературу и что, кроме нее, нет спасения. С увлечением читая Байрона в подлиннике и возмущаясь его русскими подражателями, Бестужев вместе с тем трудился над небольшой исторической повестью из ливонской жизни под названием «Кровь за кровь». Год подходил к середине; поездка в Москву, запутанные дела тайного общества, служба, наконец, сложные любовные дела — все вело к тому, что «Полярную Звезду» на 1826 год составить не удастся. Бестужев, однако, не хотел вовсе отказаться от мысли выпустить альманах. Ему пришла в голову идея ограничиться изданием маленькой «Полярной Звезды», — и назвать ее «Звездочкой». Так как это было лучше, чем ничего, Рылеев согласился с охотой. «Кровь за кровь» Бестужев писал именно для «Звездочки». Это был рассказ о свирепом бароне, мучителе собственных крестьян, который вздумал отнять у племянника невесту и жениться на ней. Племянник мстит старику смертью, а брат убитого барона смертью отмщает молодому и несчастному Регинальду. Опять множество интересных бытовых подробностей, характеры смелые и доведенные до крайних черт выражения, язык яркий и живописный; опять все это бесконечно далеко от действительности настоящего, уводит из нее прочь и, несмотря на это,

переплетается с настоящим основной мыслью: преступления не проходят даром решительно никому, и гибель от руки мстителя грозит нарушителю законов человечности, независимо от того, кто он.

Мысль, как нравоучение, очень полезная. Но как мало общего в этой лойяльнейшей морали с тем кипятком реальных интересов, который окружал Бестужева! Одно из двух: или порывы воображения отрывали его творчество от впечатлений практической жизни, и он не в силах был совладать с игрой своих необузданных фантазий, или, наоборот, он сознательно стремился уйти сам и увести своих читателей от действительности, в которой не находил никакого удовлетворения.

Тайное общество не подсказало ему мотивов творчества и не раскрыло реальных характеров. Один только характер из всех, с которыми он встретился в обществе, будет им сочувственно разрабатываться впоследствии: это характер Якубовича. Но и в этом случае общество — не при чем. Образ кавказского капитана шагал тогда по России в тысяче знакомых лиц. Так или иначе, в Бестужеве несомненно было нечто, мешавшее ему, романтическому писателю, отлично понимавшему, как мы уже видели, что романтизм — ступенька к реализму, смело перейти на реалистический путь. Он и хотел этого и не мог.

12 августа герцог уехал смотреть дороги. Велел, было, и Бестужеву собираться, и когда тот явился через полчаса, рассмеялся, потер шишку и сказал милостиво:

— Так и надобно быть военному. Впрочем, останьтесь в Петербурге. Я велю вам приехать к себе позже.

Этим он приковал Бестужева к Петербургу, но зато снял с него цепи дежурств. Александр Алексан-

дрович, которому теперь не надо было ждать герцогских вызовов в любой час дня или ночи, переехал жить к Булгарину на дачу — сытные булгаринские обеды, лень, долгий сон утром и после обеда, Ленхен, нежная, пышная, белая, — словом, жизнь у Булгарина была похожа на готтентотский рай — так. по крайней мере, находил сам Бестужев.

Каховский часто бывал у Вильгельма Кюхельбекера, которого приютил Греч. Дерзким своим видом и мрачностью Каховский наводил Николая Ивановича на нехорошие мысли. Однажды к Гречу зашел Мишель Бестужев и встретился в дверях с выходившим Каховским. Они раскланялись и разошлись, не сказав другу другу ни слова. Но самая эта разобщенность Каховского и Мишеля показалась подозрительной Гречу. После обеда, когда Мишель возился в столовой с маленькой Сусанной, Николай Иванович позвал его в кабинет. Усадив гостя в широкое кресло, придвинув к нему коробку с какими-то необыкновенными сигарами и выждав, когда два благовонных облака обнялись под высоким потолком, Греч вдруг спросил:

— Скажи, Мишель, ведь ты принадлежишь к тайному обществу — в чем его цель и какие намерения?

Дым от сигары обжег горло Мишеля. Он вскочил с кресла и бросил сигару под стол. В короткое мгновение множество мыслей сверкнуло в его голове, и он ответил, прямо смотря в лицо Греча:

— Вы — не сыщик, а я — не доносчик... Но если я ошибаюсь в первом, то я еще и не Иуда и за несколько серебряных рублей не предам неповинных.

Он вышел от Греча в душном угаре, с больной головой, и, только сидя в коляске, по дороге на Мойку, несколько собрался с духом и подтянулся.

Вообще со времени переселения в Петербург жизнь готовила для Мишеля сюрприз за сюрпризом. Произведенный в штабс-капитаны, он был вскоре назначен командиром 3-й фузилерной роты; отболев и отлежавшись на диване в рылеевской квартире, перебрался на казенную, в казармы, и сразу окунулся в океан служебных мелочей и неприятностей. Рота, которую он получил, была исполосована шомполами и палками. Предшественник Мишеля, старый капитан, не жалел солдатской шкуры, и она летела клочьями. Мишель начал с того, что перестал применять телесные наказания. Солдаты сперва увидели в этом командирскую слабость и начали пить и проказничать. Однако несколько вечеров, проведенных Мишелем в роте, устранили все недоразумения. Хотя и вскользь, но к месту, упомянув о язвах отечества — о закоснелости народа, о крепостном его состоянии, о тяготах солдатской службы, — он об'яснил усачам причины и цель своей гуманности. Солдаты слушали его, жадно раскрывая сердца. Сила свободного и простого языка совершала чудо. Мишель преображался в эти часы, какое-то особое значение вдруг получал в собственных глазах и с радостным удивлением следил за собой и слушателями. Солдаты полюбили своего молодого командира и начали относиться к нему с редкой доверчивостью.

Александр Бестужев жил, главным образом, на булгаринской даче, бездельничал, гулял по саду, философствуя до обеда как стоик, после обеда как Эпикур. Ленхен попрежнему обожала Бестужева, боялась Фаддея и ненавидела танту. Все было превосходно, и вдруг в августе Булгарин женился на Ленхен. Он пышно отпраздновал свою свадьбу, много пил, еще больше поил других, толкаясь в своем сером кунтуше

со шнурами на груди посреди кадрили, бешено топал подошвами и кричал хриплым, прерывавшимся от одышки голосом:

— Что это у вас за танцы? То ли дело, бывало, у нас... про семениху не слышали?

Ой, ерши, ерши, ерши, —
Ой, держи, держи, держи!

И при этом выделывал неуклюжие повороты туловищем и бил о пол толстыми, как бревна, ногами. Словом, Булгарин женился. Рассказывая своим знакомым об этом происшествии, Греч приговаривал:

— Да не подумайте, что он — дурак; ничего подобного, умнейший человек, но уродец, нравственный уродец...

Эта странная история отозвалась и на вполне устроенных делах Бестужева. Танта не спускала зоркого взгляда с Ленхен. Приятели Булгарина, всегда звавшие ее этим ласковым и милым именем, позорно изгонялись тантой с дачи.

— Мой племянниц нет есть Ленхен, — кричала она вслед, размахивая недовязанным чулком, — он есть Frau Kapitänin fon-Bulgarin *.

Неизвестно, что именно сумела танта сказать Булгарину такого, отчего тот пришел в бешенство. Собственно, никакая правда не могла быть для него новостью, и он всегда даже несколько покровительственно относился к нежной дружбе Бестужева и Ленхен. А тут вдруг все переменилось, и слуга принес в комнату Бестужева письмо от хозяина, нервное и ядовитое, в котором Булгарин требовал, чтобы и Александр Александрович не смел называть его жену — Ленхен. Были в письме и еще какие-то намеки,

* Жена капитана фон-Булгарина (нем.).

ссылки на всеведение танты и прочее. Бестужев сейчас же отослал Булгарину ответ:

«Мне у тебя становится неловко; я привык к твоему дому, как к родному, животная привычка трех лет укрепила это чувство. Но теперь, когда мне кажется, что за мной глядят, как за вором, а самому мне пришлось не только быть, но и казаться честным, то, признаться, тяжело».

Булгарин тотчас прибежал с извинениями, бил себя в грудь и клялся. Были об'яснения — вдвоем и даже втроем. К вечеру Александр Александрович с'ехал с булгаринской дачи и устроился на Мойке у Сомова.

Через неделю Булгарин уже не просил, а требовал прощения. Повидимому, ссора с Бестужевым никак не входила в его деловые планы. Александр Александрович снизошел до прежней дружбы и на прежних условиях, но на дачу уже не вернулся.

В конце августа Бестужев и Рылеев получили приятные подарки. Правление Российско-Американской компании наградило своего секретаря енотовой шубой, оцененной в семьсот рублей. А Якубович, довольный успехом своих ходатайств об обратном переводе в гвардию, презентовал Бестужеву славную горскую саблю.

СЕНТЯБРЬ 1825 — 26 НОЯБРЯ 1825

Для счастья народов надо, чтобы их вожди были мудрецами или мудрецы — их вождями.

Платон.

Это было ранним утром 1 сентября 1825 года. Высокая дорожная коляска с царским кучером, знаменитым Ильей Байковым, на козлах, быстро кати-

лась к заставе. За ней раскачивались еще четыре придворных экипажа. Коляска вырвалась на Белорусский тракт и полетела ровно и мягко по гладкому шоссе. Через минуту на шоссе вытянулся весь поезд. Александр уезжал в Таганрог.

В этот самый день Каховский пришел к Рылееву и категорически потребовал, чтобы тот немедленно представил его Думе. Он говорил:

— Я должен знать, с кем я имею дело. Друзей своих губить не стану. А ты, Рылеев, все берешь на себя, всем распоряжаешься, и оттого вижу я тебя нечистым. Сними подозрения, представь меня в Думу, или я отказываюсь от общества.

Он говорил это с мрачным упорством человека, спасающего от смерти самую сокровенную мечту свою. Рылеев вспыхнул:

— Я жестоко ошибся в тебе, Каховский, я раскаиваюсь, что принял тебя в общество. Уходи, если хочешь...

Каховский застегнул свой длинный лиловый сюртук и вышел. Ссора эта страшно огорчила Рылеева. Человек, который мог сделать то, что в конце концов будет необходимо нужно обществу, откололся. В сущности, это случилось потому, что Каховский хотел знать, действительно ли общество стремится к цареубийству. Много раз убеждал его Рылеев в том, что цареубийство — цель общества. Но он перестал верить в своем неистовстве. Каховского надо вернуть. Это можно сделать, восстановив в нем веру. По просьбе Рылеева, Бестужев поехал к Каховскому в гостиницу «Неаполь» на Екатерининском канале, где тот жил в бедном номере под крышей. Каховский был непоколебим. Он решительно подозревал Рылеева и даже Бестужева считал обманутым, как и себя.

Последнее было смешно, но первое — вовсе не смешно, и Бестужев пустил в ход все свое красноречие. Напрасно. Каховский настаивал на разрыве и, чтобы не оставалось сомнений, скрылся из Петербурга в деревню, где квартировала рота Суттгофа, — он не желал решительно никаких соприкосновений с Рылеевым.

Со времени принятия своего в общество Бестужев ни разу не был на заседаниях Думы. В начале сентября Рылеев сказал ему, что предстоит особенно важное заседание Думы, на котором Никита Муравьев будет читать часть своего проекта конституции — о земской управе. Бестужев был на этом заседании, — оно состоялось у Оболенского. Муравьев читал почти весь вечер, пункт за пунктом: гладкие, выравненные долголетним трудом фразы уверенно набегали одна на другую, и глухой тенор Никиты придавал какую-то утомительную округлость тому, о чем он читал. Чтение походило на лекцию, но лекцию скучную. Иногда Никита поднимал серые глаза и обводил ими комнату, не останавливая взгляда ни на одном из слушателей отдельно. Может быть, он боялся увидеть заснувшего члена Думы. Оболенский грыз ногти. Рылеев нервно поправлял жабо под жилетом. Бестужев весь вечер проиграл темляком своей сабли.

«Условия, необходимые, чтобы быть членом Верховной Думы, — читал Муравьев, — суть: 30 лет возраста, 9 лет гражданства в России для иностранца и жительство во время избрания в той державе *, которая его избирает, недвижимого имения ценою на 1 500 фунтов чистого серебра или движимого на 3 000 фунтов чистого серебра...

---

* Россия делилась, по конституции Н. Муравьева, на 13 держав и две области — Московскую и Донскую.

Верховной Думе принадлежит суд над министрами, верховными судьями и всеми прочими Сановниками империи, обвиненными народными представителями...

Дума участвует вместе с императором в заключении мира, в назначении судей верховных судебных мест, главнокомандующих сухопутных и морских сил, корпусных командиров, начальников эскадр и Верховного Блюстителя. Для сего потребно большинство 2/3 членов Думы»...

Когда, наконец, Муравьев закрыл тетрадку и отпил воды, Рылеев заговорил с такой поспешностью и энергией, как будто хотел наверстать потерянный в молчаливости вечер. Он спорил против высокого имущественного ценза, — старый спор! Где же справедливость и нравственное чувство составителя проекта? Разве революция нужна для того, чтобы составить в России «аристократию богатств»? Никита Муравьев изменился в лице и побледнел, почти как серебряное шитье на воротнике его мундира.

— Слова ваши, Кондратий Федорович, в точности на память мне привели изречения Павла Ивановича Пестеля, кои в прошлом годе слышали мы в Петербурге... И вопрос сей восходит до коренного противоречия...

Закипели словесные схватки. Бестужев безучастно молчал. Муравьев попросил его взять тетрадь с конституционным проектом на дом для внимательного просмотра и замечаний. Бестужев взял — он был любезный человек, но на следующий же день отвез Муравьеву на Фонтанку, даже не заглянув в об'емистый труд. Муравьев удивился — так быстро? И стал искать замечания на полях.

— Поля чисты, как это всегда бывает осенью, — сказал Бестужев, — я ничего не смыслю в законо-

ведении, любезный Никита Михайлович, что же мог бы я написать?

12 сентября Муравьев уехал в отпуск и увез свою конституцию с собой. Он хотел ее читать московским членам и, как видно, собирался восстановить в Москве утраченное положение вождя Северного общества. Он видел — то, что оставалось в Петербурге, шло вперед и влево, но не знал, что в Москве встретит другое движение—назад и вправо. Впрочем, этого не знал и Рылеев, давно не видавшийся ни с кем из московских членов.

Рылеева занимал Каховский. Вернувшись из деревни от Сутгофа в свой «Неаполь», Петр Григорьевич заболел. Рылеев был у него несколько раз и, поклявшись на образ, уверил его, что «действо» непременно начнется в 1826 году, что все почти готово, членов достаточно, что остается лишь поработать над солдатами и что истребление императорской фамилии решено произвести или в маскараде на Новый год, или на летнем празднике в Петергофе. Каховский сдался, они помирились, и Рылеев торжествовал.

Его беспокоил еще и Оболенский. Вечно философствующий князь додумался до удивительных вещей. Болезненно улыбаясь, так, что рот его с'езжал куда-то на сторону, он спрашивал Рылеева проникновенным голосом:

— Но имеем ли мы все-таки право, как частные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном населении нашего отечества, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения на государственное устройство налагать почти насильно на тех, которые, может быть, довольствуются настоящим, не ищут лучшего, а если и стремятся к нему, то путем исторического развития?

От горячего поклонника Пестеля таких вопросов ожидать было вовсе невозможно.

Часами продолжались споры. Рылеев выбивался из сил и бросался к Бестужеву.

— Помоги, поговори с ним...

Но Бестужев был хладнокровно-саркастичен.

— Когда спор идет о философии, — отвечал он, — надо искать практическую подкладку. Никто никогда не отрицал, что два, помноженные на два, равны четырем, но, я думаю, потому, что в отрицании никто никогда не был заинтересован.

Вся глубина равнодушия, с которым относился теперь Бестужев к делам общества, сказывалась в этих умных афоризмах. Рылеев и Оболенский накидывались на него оба с разных сторон. Рылеев бранил его Шехерезадой в драгунском мундире, фанфароном и раз как-то в кипучем раздражении прокричал старое обвинение:

— Да что говорить с ним? За флигель-ад'ютантский аксельбант он готов отдать все конституции на свете.

Тогда Бестужев подумал, что зашло далеко, и веско сказал:

— Вы, любезные друзья, — мечтатели, а я — солдат и горжусь не рассуждать, а действовать.

Рылеев жарко расцеловал его.

Петербург был взволнован происшествием, приключившимся в аракчеевском поместье Грузине. Несколько графских дворовых, измученных тупой жестокостью грузинской «домоправительницы» Настасьи Минкиной, перерезали ей глотку. Это случилось 10 сентября. Рябая домоправительница была единственным существом в мире, не безразличным для

свирепого графа. Больше того — он любил ее с бешеной страстью человека, отодвинувшего от себя весь свет своим ненавистничеством. Ползая на коленях перед своими ад'ютантами, граф умолял их открыть убийц. Он томился отчаянием и пылал местью. Батенков рассказывал, как морозной осенней ночью под окном раз'яренного «вдовца» засекли насмерть убийцу-повара, а «вдовец» приникал лицом к стеклам и хрустел пальцами. Около трех десятков человек из комнатной прислуги графа были искалечены и сосланы в Сибирь по этому делу. Жестокости Аракчеева не было границ.

Временщик отрастил бороду, перестал ездить в Петербург и заниматься делами, не ответил на любезное приглашение сочувствовавшего его горю царя — приехать в Таганрог и размягчить новыми впечатлениями оцепеневшую душу. Государственные дела замерли—Аракчеев был наместником Александра, и без его апробаций ничего не делалось важного ни в одном из министерств.

В начале октября Прокофьев давал обед и естественно, что темой застольных разговоров были перемены в правительственных верхах, которых следовало ожидать в виду «отречения» жестокого временщика от всяких обязанностей. Бестужев с возмущением говорил:

— Странная вещь: судьба 50 миллионов людей колеблется от решительного поступка одной молодой девки, — он имел в виду дочь убийцы-повара, которую истерзала перед смертью своей Настасья, — в каком еще государстве быть это может, я спрашиваю вас, господа?

Вопрос ответа не требовал, но сразу возбудил множество суждений о бедственном положении России.

После обеда Бестужев вышел в биллиардную ком-

нату и сел на подоконник, размышляя о том, что говорил и слышал. Батенков незаметно появился рядом и, затягиваясь вакштафом, спросил не без иронии:

— Что мрачны? Не любовь ли смущает вас, любезный Александр Александрович?

— Да, любовь, но любовь к предмету общеполезному.

— Вот как образуются герои, — продолжал насмешничать Батенков, — но и это хорошо. А то вовсе у нас исчезли великие характеры и люди предприимчивые.

— Не смейтесь, Гаврила Степаныч, — возразил Бестужев,—оно бы смешно было, если бы таким героем я был один, но нас уже многих насчитать можно.

Батенков поправил очки.

— Стыдно быть русским и отставать от такого дела, — вдруг сказал он, но, сейчас же спохватившись, добавил: — Только перевороты снизу от народа опасны. Лучше, много лучше продумать так, чтобы овладеть самым слабым пунктом в деспотическом правлении, то есть верховною властью, употребив интригу или силу.

В биллиардную вошел Прокофьев, и разговор затих. Бестужев спустился вниз к Рылееву.

У Кондратия Федоровича возник новый план. Темные слухи о каком-то завещании императора, положенном им в 1823 году во время последнего пребывания в Москве на престол в алтаре кремлевского Успенского собора, снова забродили по Петербургу после от'езда Александра в Таганрог. Никто не знал точно, что заключало в себе это завещание. Рылеев полагал, что для тайного общества не столько важно, что именно содержится в завещании, сколько самый факт его существования. Достаточно прокричать на рынках и в казармах на другой же день после смерти

императора, что в завещании он дарует свободу крестьянам и сокращает сроки солдатской службы, и революция неизбежна. Распечатают завещание, конечно, там ничего этого нет; тогда надобно кричать, что пакет подменили сановники. Рылеев даже непрочь был бы приступить к разглашению тайны завещания теперь же, но для этого нужны были члены общества в частях войск. Их не было, и это крайне беспокоило Рылеева. Но он знал: ветер свободных мыслей, гуляющий по Петербургу, становится все свежей. Везде говорилось вслух такое, о чем еще недавно предпочли бы шептать на ухо. Рылеев жадно ловил разговоры и настроения и уже не сомневался, что в будущем году начнется. Что начнется, как? Он не хотел больше рассуждать об этом, но знал: начнется.

Однажды в начале ноября вдруг пришел Каховский и с этого времени опять стал ежевечерним посетителем квартиры на Мойке, просиживая долгие часы на привычном угловом подоконнике в столовой. Появились у Рылеева и новые гости — лейтенант гвардейского флотского экипажа Арбузов, недавно принятый старшим Бестужевым, поручик Яков Иванович Ростовцов, принятый Оболенским.

Каховский принял прапорщика генерального штаба Палицына, совсем молоденького офицера, и штатского Глебова, жившего с Палицыным на одной квартире. Общество разрасталось.

Но Бестужева перестало интересовать и это. Желание выйти из заговора оправдывалось частыми столкновениями с Рылеевым, материальные затруднения начинали надоедать. Петербург сделался для него окончательно пуст и неприютен. Он решил ехать в Москву с тем, чтобы вернуться оттуда официальным женихом Дашеньки Ухтомской и сразу разорвать все прочие тягостные связи.

8 ноября приехал из Киева Трубецкой и в тот же день был у Рылеева. Они долго говорили, запершись в кабинете. К концу разговора поспел Оболенский. Трубецкой был поражен: он не ожидал найти в Северном обществе такое оживление, какое встретил. Рылеев и Оболенский спрашивали, что делается на юге.

Трубецкой поудобнее уселся в кресле и так заложил ногу на ногу, что острая коленка вовсе загородила его носатое лицо.

— Дела Южного общества, — заговорил он медленно и серьезно, — в самом хорошем положении. Корпуса князя Щербатова и генерала Рота совершенно готовы, не исключая и нижних чинов, на которых найдено прекрасное средство действовать через солдат старого Семеновского полка. По всей вероятности, южные приступят к действию весной 1826 года.

Он раздавил этими жестокими словами Рылеева и Оболенского. Что могли значить оживление в Северном обществе и некоторое расширение его состава перед грозным под'емом деятельности на юге? Если бы Никита Муравьев слышал сейчас обо всем этом, он умер бы от волнения. Трубецкой заметил впечатление и, помолчав, спросил:

— Чем же северные могут на все сие отозваться?

Рылеев и Оболенский вперебивку отвечали, что они ни на какое решительное действие не готовы по своей слабости.

— Это худо, — промолвил Трубецкой важно.

По мнению Рылеева, можно было приступить в мае или летом будущего года, но для этого требовалась кипучая работа по об'единению и увеличению сил общества.

Трубецкой, не торопясь, переложил свои ноги — нижнюю вверх.

— А я намерен, — сказал он спокойно, — в Киев к должности проехать через Москву, дабы посмотреть, что делает Пущин.

10 ноября уехал Одоевский, получив отпуск. Каховский действовал не без успеха в лейб-гренадерском полку, где принял поручика Панова, подпоручика Кожевникова и прапорщика Жеребцова. Якубович заметно вошел во вкус петербургской жизни — вел большую карточную игру в клубах и частных домах, выиграл вексель на графа Сен-При в 15 тысяч рублей да из дома от отца получил тысяч пять. Дело о возвращении его в гвардию закончилось: в приказе по гвардейскому корпусу от 12 ноября значилось его имя как переведенного в лейб-гвардии уланский полк. Оболенский встретил его в эти дни и нашел не прежнего мрачного и злобствующего мстителя, а веселого, разбитного и жизнерадостного гвардейца, каких было сколько угодно в Петербурге. Сам генерал-губернатор, граф Милорадович, побывавший в сотне сражений, с любопытством слушал живописные рассказы Якубовича о кавказской войне, в которых даже то, что не было ложью, не всегда отзывалось правдой. Восхищаться молодечеством «полудикого жителя гор» сделалось модой, и Якубович рассыпал свои звонкие фразы на балах и актерских свадьбах, которые охотно посещал Милорадович.

23 ноября Бестужев праздновал свои именины в квартире Сомова. Все было на широкую, вольную ногу. Дамы, без которых не обошлось, подбирались с расчетом не стеснять, а развязывать чувства мужчин. В одиннадцатом часу вечера приехал из театра Якубович. Греч потирал руки, ожидая услышать от неосторожного капитана что-нибудь примечательное.

Но Якубович был тих и скучен. Весь вечер проговорил он об обязанностях офицера, отряженного с инструкцией на самостоятельный боевой пост.

— Любезный Александр, — толковал он Бестужеву, — ты согласишься со мной как военный: никакая инструкция не должна быть обязательна для такого офицера. Свои собственные соображения, — вот его инструкция...

Греч ничего не понимал. Бестужев встревожился, так как понимал больше. Тогда Якубович шопотом сообщил ему важную новость, только-что добытую им в театре из собственных уст болтливого генерал-губернатора Милорадовича: император заболел в Таганроге и, кажется, — тяжко...

27 НОЯБРЯ 1825 — 11 ДЕКАБРЯ 1825

Нас по справедливости назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай.

И. Пущин.

27 НОЯБРЯ у Бестужева был свободный от дежурства день. Позавтракав, он сидел в малиновом архалуке с желтыми кистями на диване у Рылеева. Кондратий Федорович пересказывал вчерашние известия, лежа в постели: ему нездоровилось. Звон шпор и громкий голос Якубовича, донесшиеся из передней, заставили его остановиться на полуслове. Якубович бежал по комнатам в шинели и шляпе, вытянув вперед правую руку, которой для скорости распахивал встречавшиеся на пути двери.

— Царь умер! — сказал он, останавливаясь на пороге и не опуская руки, — это вы его вырвали у меня!

Затем страшно заскрежетал зубами и опрометью кинулся бежать назад в переднюю, крича по дороге:

— Во дворце присягают Константину, впрочем, это еще неверно, — говорят, по завещанью, надобно присягать Николаю...

Через минуту его не было в квартире.

Бестужев вскочил, бледный. Рылеев зарылся лицом в подушки. Слов не было ни у того, ни у другого. Александр Александрович, прыгая через три ступеньки, поднялся к себе, живо сбросил архалук, натянул ботфорты и уже начал застегивать мундир, когда в комнату вошел Николай Александрович.

— Что делать? — спросил он.

— Я еду по полкам узнавать, кому присягают. Далее, право, не знаю.

Был час дня. В кабинете Рылеева появились Батенков с Торсоном. Гаврила Степаныч имел такой деловой вид, словно пришел продавать дом или именье.

— Любезный Кондратий Федорович, — сказал он, — вы уже знаете о происшествиях. Итак, представилась законность искать чего-либо для пользы отечества. Памятуя многие ваши о сем слова и речи, спрошу просто: есть у вас для действия средства?

Рылеев молчал. Батенков встал и начал прощаться.

— Постойте, Гаврила Степаныч! — воскликнул Николай Александрович, — постойте! Слушай, Рылеев. Более года прежде сего в разговорах наших я привык слышать от тебя, что смерть императора назначена обществом эпохою для начатия действий оного. Узнав о с'езде во дворце и о замешательстве наследников престола, я бросился к тебе. Происшествие неожиданно, весть о нем пришла совсем не оттуда, откуда ожидал я, и, вместо начатия действий, я вижу, что ты совершенно не знал об этом. Я вижу благоприятную минуту пропущенною, но не вижу общества,

не вижу никакого начала к действию! Рылеев, ты поступил с нами иначе, нежели должно было.

Рылеев долго молчал, опершись локтями на колени и спрятав лицо между ладонями. Наконец, сказал:

— Это обстоятельство дает нам явное понятие о нашем бессилии. Я обманулся сам, мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты, число наличных членов в Петербурге невелико, но, несмотря на это, мы соберемся опять сегодня ввечеру; между тем я поеду собрать слухи, а вы, ежели можете, узнайте расположение умов в городе и войске.

Батенков взял шляпу.

— Еду присягать в церковь Военно-строительного училища, — выговорил он так деловито, как будто, не сторговав ничего в этом месте, решил за тем же самым обратиться в другое. — Итак, потерян случай, которому подобного не будет в целые пятьдесят лет. Если б в Государственном совете были головы, то ныне Россия присягнула бы вместе и новому государю и новым законам. Теперь все пропало невозвратно. Еду присягать.

Вслед за Батенковым рассыпались все. Бестужев отправился в извозчичьей карете в Измайловский полк. Неподалеку от казарм ему стали попадаться офицеры. Он кричал через поднятое окно:

— Кому у вас присягают, господа?

Один отвечал — Константину, другой назвал Николая, нашелся третий, который ответил:

— Елизавете.

Им было все равно. Бестужев повернул — он решил показаться у герцога. Однако карета герцога встретилась ему на дороге; она катилась по направлению к дворцу, и Бестужев поскакал за нею. Во дворце бушевала присяжная суматоха.

Страшная передряга дня вдруг отозвалась в Бесту-

жеве неожиданным спокойствием. Он был полон мыслями, которые касались только двух людей на свете — нового императора и его самого, Бестужева. Офицеры, отправленные в Варшаву с донесениями о присяге, вернутся с чинами и орденами, — вот случай, который, действительно, повториться не может. И для него, Бестужева, этот случай мог быть верным шагом во флигель-ад'ютанты, если бы только герцог пожелал послать его курьером к императору. А тогда жизнь открыта, и какая жизнь! Вензеля на эполетах, золотой аксельбант, — все это ослепительным вихрем закрутилось перед глазами Бестужева.

Через полчаса он был у герцога, смиренно стоял в его кабинете и просил, как о милости, в награду за верную службу, в подтверждение того благоволения, которого никогда не лишал его герцог, — о посылке курьером в Варшаву.

— Нет, — сказал герцог сердито, — у вас — проект, у меня — другой проект. У каждого человека — свой проект. К его величеству едет с донесениями полковник Кусовников.

В половине восьмого Бестужев вошел к Рылееву, — измученный и злой. Кондратий Федорович успел побывать у Каховского, рассказал ему о происшествиях, обнимал, целовал, говорил со слезами:

— Ну, подозревай меня, действуй против меня, если начну что-нибудь во вред отечеству или что для своей выгоды...

Каховский отвечал об'ятиями. Ветер событий поднимал его над подозрениями и мелкой враждой, выносил на простор небывалых ожиданий, а слова Рылеева указывали путь.

К восьми часам у Рылеева собралось много народа. Приехали Николай Александрович, Оболенский, на-

конец, Трубецкой. Старший Бестужев, как бы стыдясь того ожесточения против Рылеева, которое он проявил днем, был дружественно нежен с Кондратием Федоровичем и спокоен больше, чем всегда. Он поздравил собравшихся с тем, что произошло. Трудно знать, чем все кончится, но хорошо уже, что прежнего не будет. Многие из знакомых офицеров говорили Николаю Александровичу, что гвардейские солдаты с отменным удовольствием присятали цесаревичу Константину, толкуя о том, что жалованье в Варшаве нижним чинам платится серебром, что и здесь теперь, наверно, прибавят, а что года два службы уж, конечно, убавят. Оболенский сказал, что он сегодня спрашивал у кавалергардского корнета Александра Муравьева, брата Никиты, можно ли надеяться на кавалергардский полк для произведения бунта, но Муравьев отвечал, что намерение это — просто безумно. При слове «бунт» Трубецкой сердито сморщился и сейчас же начал говорить. Кто хочет бунта? Никто. Речь идет о перевороте, вроде южноевропейских пронунциаменто 1820 года, а вовсе не о бунте. Все надо сделать без опасного участия народного, а войскам надлежит выступить в строю и под командой своих офицеров. Боже сохрани, если дисциплина будет нарушена. Секрет «легкости и удобности свершения революций» — в поддержании дисциплины; нужно благодетельное направление всем мерам, которые для введения нового порядка в государственном устройстве приниматься будут, и задача тайного общества в том, чтобы это направление обеспечить. Против мысли Трубецкого никто не возражал. Но для такого рода действий у общества сил не было; ни противиться восшествию на престол Константина, ни предпринять что-либо решительное общество не могло.

— О сем весьма пожалеть следует, — заметил Тру-

бецкой докторально, — а для твердой монархической конституции желательно было бы иметь в России государыней императрицу Елизавету Алексеевну.

И эта мысль Трубецкого, при всей своей неожиданности, показалась очень веской и правильной: Константин—солдафон, деспот, заклятый враг всего, что хоть сколько-нибудь отзывается свободой мысли, а Елизавета... кто знает, что такое Елизавета?

Александр Бестужев слушал эти рассуждения и принимал решения, казавшиеся ему сегодня окончательными. Действительно, общество с его прозаическими спорами, ссорами, с сумасшедшим Каховским, с вечно кипящим без всякого толку Рылеевым, с заговором, похожим на детскую игру в разбойники, с величественным Трубецким — не нужно. Не сумев ничего сделать до сих пор, оно еще меньше сумеет сделать впоследствии. Прав был брат Николай, когда напал сегодня днем на Рылеева.

Бестужев начал высказывать свои соображения. Он говорил ясно, просто, будто вынимал из кармана и раскладывал вынутое на столе. Не возражал никто. Трубецкой и Оболенский поднялись с кресел.

— Итак, действия общества на время прекращаются, — грустно выговорил Рылеев.

Оболенский прошептал:

— Надолго, а, может быть, и навсегда отдаляется осуществление лучшей нашей мечты...

Оба князя уехали. Шел одиннадцатый час. Рылеев и братья Бестужевы долго сидели молча. Наконец, Николай Александрович заговорил. То, что он говорил, логически вытекало из тех же самых причин, по которым только-что было решено прекратить действия общества, но в то же время совершенно разнилось от этих печальных выводов. Он находил, что закрытие общества вовсе не означает, что у его чле-

нов связаны руки. Александр сам не заметил, как сказал бесценное слово: каждый, в ком жив дух общества, должен делать то, чего этот дух требует. Возможностей — сколько угодно, и поле для действия — самое обширное.

— Вот нас сейчас здесь трое, — говорил старший Бестужев, — мы не общество, но ведь мы не изменились от того, что уехали от нас Трубецкой с Оболенским. Что мы могли бы предпринять сегодня же?

— Написать прокламации к войскам и разбросать их тайно по казармам, — воскликнул Рылеев.

— Дельно!

Бумага легла тремя пачками на стол. Перья заскрипели. Наталья Михайловна входила и выходила, поглядывая с осторожностью. Исписанные листы летели под стол. Александр Бестужев сочинил по крайней мере десяток прокламаций и все разорвал. Дело не ладилось.

— Нет, невозможно, — сказал он, наконец, с изнеможением, — такие вещи не делаются по заказу...

Рылеев согласился.

— Вот, мнение мое, — сказал он, — итти нам сейчас втроем по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до пятнадцати лет солдатская служба.

Через минуту шинели были надеты, дверь на улицу хлопнула, и три темных человеческих фигуры быстро разошлись по набережной в разные стороны. Бестужев вернулся домой под утро. Было холодно. Он дрожал — не губы только и не одни руки, но все нутро его было охвачено мелкой рассыпчатой дрожью. От холода ли? Сказать трудно. Уже лежа в постели, закрытый до подбородка теплым одеялом, он продол-

жал дрожать, перебирая в памяти ночные встречи. Их было немало. Он подзывал к себе прохожих солдат и говорил им с убеждением и страстью о правах, исторгнутых у народа обманом. Солдаты слушали, постепенно опуская руки от киверов, и такая свирепая жадность загоралась на их усатых лицах, такой блеск радости вырывался из глаз, что Бестужев понял: революция на пороге.

«Я думаю, до вас дошли уже вести, любезная матушка, что государь скончался в Таганроге 19-го числа... Здесь эту новость получили в 11 часов вчерась — и сей час собрался совет. Николай Пав[лович] велел присягать Константину, но Оленин сказал, что есть духовная. Принесли — и там найдено было, что царствовать Николаю, за тем что Константин отказался, за себя и наследников. Однако Ник[олай] все-таки не хотел перебить у брата, начали присягать. Все приняли это хладнокровно и тихо. Полки, шедши на присягу, не знали кому — но тихо обошлось. Теперь есть и манифест Сената. Однако никто не знает, примет ли Конст[антин] — а в Москве, говорят, Николаю присягнули*, за тем что дубликат духовной был там. Недоумение везде. Везде говорят тихомолком. Слез немало видно, даже и в первые минуты во дворце, когда я был там с герцогом. — Приезжайте скорее сюда. А я отложу на несколько времени свою поездку в Москву: надо оглядеться. Смирно ли то у вас? — а здесь как будто ничего не бывало несмотря на неожиданность. Государыня молодая больна — бедняга, ей плохое будет житье. Старая государыня печальна. Ник[олай] Пав[лович] распоряжается всем и не по-

* Это неверно: Москва присягнула Константину 30 ноября.

казывает отчаяния. Ждут перемен больших—не знают когда будет император — он поехал в Таганрог...* Будьте здоровы... и покойны, любезная матушка. Нетерпеливо жду вас увидеть и дай бог поскорее... спешу писать только о важном, ибо другие мелочи и в ум нейдут...» **

Бестужев запечатал письмо и задумался. Несмотря на вчерашние разговоры и решения, он не верил в тишину. И ему очень хотелось, чтобы Прасковья Михайловна с сестрами поскорее приехала в Петербург. Зачем, собственно, это нужно, — он не знал.

В девять часов вернулся Рылеев. Бестужев спустился к нему. В десятом часу появился поручик лейб-гренадерского полка Сутгоф. Бестужев видел его в первый раз и удивился крепости, с какой был внутренно слажен этот высокий, рыжеватый офицер, — второй Каховский, такой же стремительный, но только без всяких признаков душевного надлома.

После вчерашних постановлений странно прозвучали твердые слова Сутгофа:

— Когда же действовать? А я уже говорил напрямки со своею ротою, и она вся готова.

Рылеев и здесь остался верен себе. Он и словом не упомянул о том, что общество приостановило работу. Однако, не зная, что ответить на вопрос Сутгофа, сказал неопределенно:

— Каховскому передайте, что время подходит...

Бестужев хотел вмешаться: — Какое время подходит, когда все только-что провалилось? — И вдруг понял, что этого говорить не надо и что Рылеев прав.

Сутгоф уехал. Пришел брат Николай:

---

* Писалось по слухам. Неверно.

** Письмо от 28.11.1825 («Памяти декабристов», сборник материалов, Л., 1926, т. I).

— Что ж, будем продолжать ночные наши прогулки?

Дождались полночи и снова пошли ходить по городу. Бестужев и на этот раз вернулся под утро, взволнованный до дрожи. Из встреченных им солдат только один не знал ничего об укрытом от народа завещании покойного императора. Все остальные уже слышали от товарищей. За сутки весть эта разнеслась по войскам, и казармы были полны ею.

Утром 29 ноября Рылеев заболел, — горло его распухло, голос спал с обычного звонкого тона на глухой хрип, жар светился в покрасневших глазах, и щеки огненно румянились. Он глотал с трудом. Доктор об'явил:

— Жаба.

Яков побежал с латинскими рецептами в аптеку. Рылеев лег на диван. Наталья Михайловна плотно обвязала его шею шарфом, так плотно, что, когда он хотел повернуть голову, ему приходилось поворачивать весь корпус.

Ночные прогулки не прошли для него даром.

Вскоре приехал Трубецкой. У него были важные сведения: Константин ни в каком случае не примет престола, и принесенная ему присяга — напрасная и опрометчивая затея. Трубецкой полагал, что надо предвидеть именно такой оборот дела, заранее приготовясь им воспользоваться. А воспользоваться следует непременно.

— Если ж слух сей несправедлив, — говорил он, — то надобно выждать, что предпримут на юге. Это очень может случиться, что южные подымутся, ибо они готовы взяться с каждого случая. Обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные. Когда

же Константин Павлович отречение не подтвердит или южные случай сей пропустят, тогда надлежит просто об'явить общество уничтоженным и действовать каждому, оставшись друзьями, сообразно правил наших и чувствований сердца, но сколь можно осторожнее.

— Как же именно, князь? — прохрипел Рылеев.

— Вот как: стараться года в два или три занять значительнейшие места в гвардейских полках.

Рылеев быстро повернулся на бок.

— В таком случае полезно будет обязать членов не выходить в отставку и не переходить в армию.

Трубецкой одобрил эту мысль и уехал.

К полудню у дивана, на котором лежал больной, собрались Александр и Николай Бестужевы и Каховский. Рылеев передал им свой утренний разговор с Трубецким и добавил от себя:

— Любезные друзья, предстоит ли действовать или нет, но человек осторожный, хладнокровный и предусмотрительный нам нужен в начальники. Не таков ли Трубецкой? Он — с именем, гвардия его знает, да и полковничьи его эполеты весят много, чтобы показаться перед войском. Я предлагаю Трубецкого в диктаторы.

Никто не спорил.

Бестужев видел ясно, что Рылеев вовсе не хочет отказываться от действий. Будущее представлялось сегодня уже совсем в другом виде, чем вчера, когда он писал письмо в Сольцы. Быть заживо привязанным к трупу — тяжело; но привязан не он один, и не лучше ли влачить грозную судьбу не в одиночестве? Брат Николай ответит за себя — он разумен и осмотрителен. Другое дело — Мишель, пылкий, молодой и

неопытный. Как взглянуть матушке в глаза, когда погибнет Мишель? Он ходил по комнате, раскуривая трубку за трубкой. Наконец, не выдержал и схватился за шляпу. В четыре часа дня он был уже у Мишеля, в Московских казармах. Братья заперлись и разговаривали долго.

— Ты не годишься для этого, Мишель, — убеждал Александр Александрович, — хоть солдаты и любят тебя, но не забудь — ты вовсе недавно командуешь ротой. Не забудь и другого — ты обязан благодарностью к Михайлу Павловичу; он перевел тебя в гвардию. Тебе ли платить ему злом?

Мишель слушал встревоженно, с серьезным лицом. Но последний аргумент брата его рассмешил:

— А чем, любезный Саша, думаешь ты отплатить своему герцогу за его немецкие ласки?

К девяти часам вечера оба Бестужевы приехали из казарм на Мойку. Комнаты Рылеева были полны посетителями. Карточный столик придвинут к дивану, на котором лежал больной. Вокруг него сидели Трубецкой, Оболенский, Николай Бестужев, Каховский, Арбузов из гвардейского экипажа и Сутгоф из лейбгренадерского полка. Было похоже на заседание.

Речь шла о том, что делать, если Константин трона не примет и не приедет. Говорили все вместе, громко выкрикивая проект за проектом. Рылеев прохрипел что-то о захвате Кронштадта. Кто-то напомнил о Петропавловской крепости. Трубецкой сделал отрицательный знак рукой: не следует разбивать силы. Арбузов мрачно сказал, что надо будет занять дворец.

Трубецкого коробило от этих беспорядочных возгласов.

— Обстоятельства покажут, что делать, — сухо и неопределенно выговорил он, и волна возбуждения постепенно начала спадать.

В маленькой комнате было тесно, жарко, и синие облака трубочного дыма свертывались под потолком.

Рылеев начал задыхаться. Багровый от жара, кипятившего его внутренности, хриплый, он вертелся на диване и говорил. Слова его, царапаясь, сползали с сухого языка.

— Предвижу сам, — твердил он, — что не будет успеха, но потрясение необходимо. Тактика революций заключается в одном слове: дерзай! И, ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других...

Такой взгляд на предстоящее был нов и увлекателен свыше всякой меры. Бестужев чувствовал, слушая Рылеева, как мир становится другим. Уже все равно, что будет и как. Лечь под пулей, сгнить в каземате — безразлично, лишь бы дрогнуло и проснулось царство, продремавшее века.

В полдень, 30-го, приехал на Мойку Оболенский. Рылеев сообщил, ему, что Трубецкой выбран в диктаторы одной отраслью. Оболенский сейчас же дал согласие свое и за свою отрасль *. Кроме того, рассказал, что им принят сегодня в общество подпоручик гвардейского генерального штаба граф Петр Коновницын, сын покойного военного министра. По родству Коновницына с Суттгофом, Оболенский поручил ему быть в день восстания в лейб-гренадерском полку.

К двум часам появился Трубецкой — он навещал больного ежедневно именно в это время. Услышав о своем избрании в диктаторы, князь смутился. Он долго отговаривался, ссылаясь на то, что давно уже не служит в строю и что гвардия его забыла, на скорый

* Лица, принятые в общество каждым из коренных членов, составляли «отрасль» этого члена.

от'езд в Киев, даже на характер свой — мягкий и нерешительный во всех случаях, когда дело идет не об одной только личной храбрости. И, наконец, дал согласие очень неохотно, уехав с такой поспешностью, как будто опасался, что его схватят и вернут. Он был заметно расстроен, и блеск нового положения в тайном обществе не разгладил ни одной из морщин, которых было немало на его худом лице.

Затем прибежал Кюхельбекер. Узнав о болезни Рылеева, он бросил множество важных литературных занятий, чтобы осведомиться о здоровье. Кондратий Федорович слушал крикливые возгласы Кюхельбекера, который не умел говорить тихо, как все глуховатые люди, и думал. Кюхельбекер вдруг заметил, что рассказы его упали в бездну, и обиженно замолчал. Но Рылеев улыбнулся так жалко и страдальчески, что Кюхельбекер мгновенно кинулся к нему с об'ятиями. Рылеев попросил его прикрыть дверь и сесть рядом. Кюхельбекер ушел с Мойки членом общества.

Батенков пришел около восьми часов, по его словам, «посмотреть» Рылеева и застал у него, по обыкновению последних дней, нескольких человек. Все говорили вперебой, ходили из комнаты в комнату, пили чай, дымили трубками, и картина эта очень не понравилась Гавриле Степановичу. Но особенно возмутил его Арбузов, который кричал:

— Да что! Очень просто на солдат действовать. К примеру, ежели взять большую книгу с золотой печатью и написать на ней крупно: закон, да пронести сию книгу по полкам, то все сделать можно, чего бы ни захотели...

Кто-то сказал, что следовало бы выяснить, где находится подлинный акт отречения Константина и не отправлен ли он из Государственного совета в Варшаву с прочими документами. Арбузов тотчас

вскочил со стула, на который присел, чтобы передохнуть.

— Надобно достать его, непременно достать. — закричал он отчаянно, с таким видом, будто сейчас же собирался бежать куда-то за этим актом.

Батенков чувствовал себя неловко в суматохе рылеевских комнат и поэтому был очень доволен, когда снова приехал Трубецкой. Сергей Петрович взял Батенкова под руку и прошел с ним к Рылееву. Было что-то отменно внушительное в длинной фигуре Трубецкого—продуманная и строгая сдержанность походки, приличная и умеренная свобода движений. Разговоры притихли, и поручики с лейтенантами незаметно вышли, один за другим, из комнаты больного. Батенков смотрел на Трубецкого с уважением. «Соединение власти и благородия» всегда его восхищало,—Трубецкой был живым олицетворением такого соединения. Батенков и Трубецкой были приятны и, может быть, даже нужны друг другу. Аристократ, замышляющий свергнуть дворянское правительство, и томский мещанин, собирающийся пробраться на гребне революции в министры, — эти два человека замыкали круг коренной двойственности задач переворота, тот круг, в котором так мучительно бился Рылеев.

Следом за Трубецким появился Оболенский. Бестужев прикрыл дверь кабинета и вернулся к дивану. Оболенский грыз ногти и молчал. Рылеев лежал лицом к стене.

— Итак, еще раз и окончательно принимаем, — сказал Трубецкой, — ежели Константин Павлович не отринет короны, отложить действие на два-три года.

— На десять лет, — поправил Батенков, — и обратить все внимание на то, чтоб составить собой аристократию и произвести перемену простым требованием, а не мятежом.

Бестужев ощутил, как камень тяжкого беспокойства, лежавший с 27 числа на его сердце, скатился прочь.

1 декабря, в пять часов дня, граф Аракчеев явился в Зимний дворец, представился императрице-матери, вручил великому князю Николаю рапорт о вступлении в командование военными поселениями в связи с облегчением от болезни и донес, что военные поселения тихо и покорно присягнули императору Константину.

Новость эта мгновенно разнеслась по Петербургу, и негодование против друга покойного императора стало всеобщим.

— Итак, — говорил Бестужев вечером у Рылеева,— смерть девки отняла у Аракчеева способность заниматься государственными делами, а кончина императора ему оную возвратила...

Оболенский, брат Николай Александрович и Сутгоф весело засмеялись. Каховский нахмурился. Арбузов не разобрал, в чем дело.

Вечером 2 декабря рылеевская квартира опять наполнилась людьми, — это стало законом последних дней, со времени болезни хозяина. Сюда собирались, чтобы узнать, нет ли новостей, справиться о здоровье больного, увидеть друг друга, рассказать о слышанном за день. То же было и 3 декабря.

Бестужев сидел у Рылеева, когда приехал Якубович. Капитан только-что видел Милорадовича у драматурга Шаховского и передал свой разговор с графом.

— Граф, я не присягну другому, покуда Константин Павлович лично не приедет отказаться, — будто бы сказал Якубович.

Генерал-губернатор крепко сжал его руку.

— Поверьте, не вы один так думаете.

Оболенский пришел сообщить о решительных словах своего генерала, сказанных несколько часов назад. Генерал Бистром, командующий гвардейской пехотой, громко заявил окружавшим его ад'ютантам, что он присягнул Константину и больше никому присягать не будет. Один за другим приходили члены общества из числа строевых офицеров и говорили, что в войсках гвардии ропот и что полки грудью хотят стоять за Константина. Якубович закричал с огненной энергией:

— Я увлеку Измайловский полк!

Бестужев вдруг увидел прежнего, готового на все отчаянное, Якубовича.

Кондратий Федорович дрожал нето от озноба, нето от волнения. Он сделал головой резкое движение, чтобы освободиться от давившего его шею шарфа, и прохрипел:

— Вот, что я знаю: Константин подлинно отрекся. Дабы не обделить экс-императора, Польша с Литвой и Подолией отходят от России под его власть...

Сердце Бестужева вдруг превратилось в клокочущий котел.

Как, эти земли больше не будут Россией? Да разве это возможно? Разве не осталось в России патриотов, — не членов тайного общества, нет, а просто патриотов, которые не позволят потрошить свою родину? Они есть, и первый из них — Бестужев. Его ноги никогда не ощущали под собой такой твердой земли, как сейчас. Никогда он не переживал такого страшного припадка гнева и ненависти к бледноликому деспоту Николаю, любви и сострадания к истерзанной родине. Все, что было до сих пор, казалось пустым наигрышем настроений, и если дух романтиче-

ских порывов — сила, то только в любви к отечеству эта сила может проявиться со всей энергией освобожденной мысли и страстно экзальтированного чувства.

Бестужев вдруг понял, как страшна острота еще недозревшего кризиса. Вторая присяга все решит: Николай ставит на карту судьбы фамилии и свою личную, тайное общество — судьбу России... В этой великой пробе сил могут перемолоться жизни заговорщиков, но Бестужев не боялся гибели.

— Мы имеем, чтобы восстать, — твердил он, — политическое право, как в чистое междуцарствие.

Действительно, старая законная власть готова была исчезнуть в лице отрекавшегося Константина, законность новой власти — Николая — не доказана. Не принадлежит ли каждому в этих обстоятельствах право принять участие в создании новой законной власти?

Рылеев об'явил, что совещательная Дума общества уничтожена. Дальнейших распоряжений надлежало ждать от диктатора Трубецкого.

Трубецкой приехал 8 декабря на Мойку около полудня. Бестужев явился вечером, прямо с дежурства при герцоге. Следом пришли Якубович и Арбузов; затем — Николай Александрович. Рылеев уже не лежал, а сидел возле столика с книгами и лекарствами. На шее вместо шарфа была легкая повязка, но по привычке последних дней Рылеев делал нервные движения шеей, словно желая освободить ее из туго завязанного галстуха.

— Любовник носит на шее портрет своей возлюбленной, скряга — ключи, верующий — частицу мощей, а висельник — веревку, — сказал Бестужев.

Засмеялись все, кроме Рылеева. Он молчал, и ху-

дое лицо его было похоже на маску неподвижностью и желтизной. Настал миг, полный тишины. Бестужев хотел что-то сказать и — не смог. Рылеев сделал по комнате круг, волоча полы халата, и сел в кресло. Дверь распахнулась, и вошел Каховский, решительный, быстрый, воспаленный. Он видел только Рылеева, сидевшего против двери, и подступил прямо к нему.

— Когда же? Когда — я спрашиваю. Я хочу жертвовать собою. Я готов убить кого угодно для цели общества. Но пусть оно назначит.

Он отскочил от Рылеева, словно босой ногой наступил на гвоздь, и тут только заметил Бестужевых.

— Назначьте, назначьте, кого должно мне поразить, и я поражу. Теперь все в недоумении, все в брожении, достаточно одного удара, чтобы заставить всех обратиться на нашу сторону. Назначьте...

Он дышал неровно и тяжело.

— Напрасно ты сделался членом общества,—тихо сказал Рылеев. — Тебе об'явлен его план. Твоя обязанность слепо повиноваться. А участь фамилии будет зависеть от общего голоса членов.

Николай Александрович взял Каховского за руку.

— Рылеев говорит правильно. Цель общества в преобразовании правительства, а вовсе не в убийствах...

Каховский перебил:

— Знаю, все знаю... Но смотрите, господа! Претенденты на самодержавие всегда вредили намерениям конституции. Смотрите, чтобы вам не раскаяться...

9 декабря Бестужев опять вернулся с дежурства поздно — уже пробило восемь часов. Он вошел к

Рылееву и, к удивлению своему, увидел его и брата Мишеля, сидевших рядом, в об'ятиях и слезах.

— Я не верил тебе, — говорил Мишелю Кондратий Федорович, — ты молод; но я ошибался. Ты — настоящий патриот.

Мишель был готов действовать и спрашивал только — как? Александр Александрович поцеловал брата. Теперь, пожалуй, он и сам не стал бы его отговаривать. Кончено! Мишель брался поднять свою роту.

К девяти часам появились Оболенский, Трубецкой, Каховский, Арбузов, Сутгоф. Сверху спустился Штейнгель, потом — от Прокофьева — Батенков. Наконец, приехали только-что прискакавшие из Москвы Пущин и Одоевский с Вильгельмом Кюхельбекером. Яков в передней принимал шинели, стараясь запомнить владельцев. Кюхельбекер повел Бестужева в переднюю смотреть свою новую шинель, вчера забранную от портного в долг. Держа у вешалки огарок свечи, он, по рассеянности, гладил голову Якова вместо пушистого бобра на воротнике.

Возле ширм, за которыми скрывался Рылеев, сидели Трубецкой, Батенков, Оболенский, Штейнгель; прочие толпились в столовой. Яков начал разносить чай. Рылеев выглянул из-за ширм и крикнул весело:

— Вот — целый полк либералов!

Штейнгель погладил одутловатую щеку.

— А все-таки республика в России невозможна, — сказал он трагическим голосом, — и революция с этой целью будет гибельна. В одной Москве из 250 тысяч ее жителей 90 тысяч крепостной дворни, готовой взяться за ножи, и первыми жертвами, господа, будут ваши бабушки, тетушки и сестры. Если же непременно хотите перемены порядка, то

лучше произвести революцию дворцовую и признать царствующею императрицею Елизавету Алексеевну.

Рылеев сейчас же возразил:

— Не в деспоте дело, а в ненавистном, оскорбительном для человечества деспотизме.

Заговорили о плане революции: один полк идет к другому, поднимает его, вместе идут к третьему, поднимают, наконец, все сходятся на Сенатской площади, — так предлагал Трубецкой.

Рылеев задумался.

— Я против того, чтобы полки шли один к другому, — вдруг сказал он,—это слишком долго будет.

Молча куривший до сих пор Трубецкой вынул изо рта трубку.

— Так необходимо. Без этого ничего нельзя сделать. И вот что еще: когда полки будут итти один к другому, то нам не надобно быть с ними или, по крайней мере, при первых.

Бестужев уже видел эту могучую лавину штыков, катившуюся по улицам с городских окраин к центральным площадям, наполнявшую площади, разливавшуюся вокруг дворца, бурлившую у под'ездов, мимо которых бедные, темные люди проходят, снимая шапки, и за которыми ткется железная паутина рабства. Он видел, как тонут под'езды в прибое солдатских волн, как шатается старый, проклятый дворец...

— Можно будет и во дворец забраться, — крикнул он радостно.

Батенков вздернул свою лошадиную голову.

— Боже спаси! Дворец должен быть священным местом. Если солдат до него прикоснется, то уже и чорт его ни от чего не удержит.

Рылеев потушил спор:

— В крепость может прямо пройти лейб-гренадерский полк.

Трубецкой не согласился, он всегда был против занятия крепости.

— Это раз'единит силы.

Из соседней комнаты доносились буйные возгласы Арбузова:

— И с горстью солдат все можно сделать.

Трубецкой сморщил лицо.

— Кондратий Федорович, худо, что дух членов бунтует.

Рылеев засмеялся.

— Успокоится. Итак, князь, сколько же надо силы для совершения?

— По крайней мере, тысяч шесть человек солдат. Если же будет можно совершенно надеяться на один полк, что он непременно выйдет, и при том еще — гвардейский экипаж, а в некоторых других полках будет колебание, то и тогда можно зачать, потому что посредством первого полка можно будет вывести и другие. Но первым полком должен быть один из старых коренных гвардейских полков, каков Измайловский, потому что к младшим полкам, может быть, не пристанут.

Рылеев закрыл и открыл глаза, будто пересчитал что-то.

— За два — Московский и лейб-гренадерский, кроме экипажа, наверное отвечаю.

Так провел Бестужев вечер 9 декабря.

На следующий день ему надо было явиться на дежурство к двенадцати часам утра. Он уже собирался ехать, досадуя и возмущаясь глупой необходимостью торчать в передней немецкого высочества, когда дверь растворилась и Николай Александрович с младшим братом Петрушей вошли в комнату. Петру-

ша вчера только приехал из Кронштадта. После об'ятий и поцелуев Николай Александрович сказал:

— Любезный Саша, я привел к тебе Петра, чтобы ты уговорил его уехать из Петербурга. Он не хочет слушать меня, так как по неосторожности моей уведомился насчет наших планов. Но ведь должны же мы оставить, в случае несчастья, кого-нибудь матушке из ее взрослых сыновей. А Павел еще вовсе ребенок...

Петруша упорно отстаивал свое право заговорщика участвовать в опасных предприятиях общества, и немало хитрости, нежности, путаных обещаний и просьб понадобилось для того, чтобы он, наконец, согласился в тот же день вернуться в Кронштадт. Он обещал это со слезами, с ропотом на братский деспотизм, с пламенным желанием быть «у самого дела». Вечером Трубецкой привез на Мойку важный слух: Карамзин и Сперанский заняты сочинением манифеста о вступлении на трон Николая. Это означало конец династического кризиса и начало революционной борьбы. Рылеев об'явил, что есть надежда, кроме прежних трех полков, поднять еще Финляндский, Измайловский и егерский. Он особенно напирал на Финляндский и даже называл фамилии «готовых» офицеров: барон Розен, штабс-капитан Репин. Все заговорили сразу и почти в одинаковых словах:

— Итак, господа, сами обстоятельства призывают к начатию действий, и не воспользоваться оными со столь значительными силами было бы непростительное малодушие и даже преступление.

Бестужев снова был в лихорадке. Вот они, полки, о которых говорит Рылеев. Люди хватают ружья из стоек и бегут из казарменных спален на полковые дворы. Падают двери под напором сотен тел. Впереди — он, Бестужев...

11 декабря Рылеев снял повязку с шеи — он выздоровел. Бестужев зван был обедать к Булгарину. По дороге на Вознесенский проспект встретился ему Ф. Н. Глинка — свой человек и не свой — он ни разу не был за все последние дни у Рылеева. Однако, завидев Бестужева, Глинка остановил его и, оглядываясь, заговорил:

— Ну, вот, и приспевает время. Смотрите, господа, без насилий...

Бестужев вернулся на Мойку к шести часам и застал там Мишеля, который привез с собой трех офицеров Московского полка — князя Щепина-Ростовского, Волкова и князя Кудашева. Щепин был широк в плечах, румян, курчав и с бешеной горячностью повторял за Мишелем, что конституция нужна для России, а Константин для конституции. Как видно, ему не сказали всего.

Приехал Оболенский. Рылеев познакомил с ним Щепина и сказал:

— Завтра, князь, прошу вас быть у князя Оболенского представителем от Московского полка на собрании офицеров.

— Есть, — ответил Щепин по-морскому, — он был раньше моряком, — и так сжал кулаки, что крупные яблоки мышц запрыгали у него на руках под тонким сукном мундира.

12 И 13 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

И он говорит мне, снимая
оковы,
Мое неизменное, вечное
слово:
Свобода! Свобода!

Огарев.

В НОЧЬ на пятницу 12 декабря погода изменилась. Оттепель последних дней, когда над городом бушевали мокрые вьюги, снег таял и стекал в канавы грязными ручьями, сломалась на мороз. Утром Бестужев подошел к окну и увидел набережную, покрытую тусклым блеском тонкой ледяной корки, и извозчичьих лошадей, еле волочивших гремучие кареты. Он решил итти к Якубовичу пешком.

Капитан не выходил из дому из-за опухоли на ноге. Он лежал на диване, высоко задрав больную ногу, и очень обрадовался гостю. Разговоры живо свернулись на предстоящее «действо». Бестужев говорил, что в конце концов ему все равно, как решаются в обществе чисто политические вопросы. Он готовит себя для участия в военном выступлении и этим интересуется по преимуществу. А что будет с императорской фамилией — арестуют ли ее до созыва Собора, или вышлют за границу, или поступят с ней иначе — не его дело. Однако он понимал, что как бы ни было решено, самый акт созыва Собора есть акт республиканский. Лично Бестужеву казалось бы наиболее реальным решением — послать депутацию к новому императору и требовать конституции. Якубович был с ним совершенно согласен. Оба они не без основания считали, что в критическую минуту могут горячей речью сильно подействовать на военных участников восстания, и провели целое утро в рас-

суждениях о том, в какой части города удобнее всего расположить войска на биваках.

От Якубовича к часу дня Бестужев отправился на Вознесенский к Булгарину и здесь узнал, что с юга только-что вернулся Корнилович и привез дюжину банок киевского варенья, да две дюжины бутылок славного венгерского. Корнилович был командирован во 2-ю армию, в корпус генерала Раевского, и вовсе не должен был возвращаться в Петербург. Бестужев догадался, что с приездом Корниловича связано нечто более важное, чем варенье и венгерское.

Отобедав у Прокофьева, Александр Александрович поехал на Васильевский остров и застал дома матушку и сестер, благополучно прибывших из Солец и вовсе не встревоженных его письмом. В девятом часу, вырвавшись из нежных родственных об'ятий, он, наконец, поскакал на Мойку вдвоем с Мишелем. Следом за ними приехал Трубецкой с богатым багажом новостей. Отречение Константина и вступление на трон Николая — факт. Действительно, еще рано утром прибыл курьер от Дибича из Таганрога, но Трубецкой не придавал его появлению большого значения. А между тем в пакетах, привезенных этим курьером, заключалась страшная угроза для тайного общества. Дибич сообщал о найденных в бумагах покойного императора доносах и называл несколько фамилий петербургских участников заговора. Трубецкой не знал, что Николай еще в восемь часов утра поручил Милорадовичу установить наблюдение за лицами, названными в донесении Дибича, а в десять — Милорадович доложил, что ни одного из них нет налицо в Петербурге: Никита Муравьев — в деревне, граф Захар Чернышов — тоже, Свистунов уехал за ремонтом. Это усилило подозрения. Дибич указывал, главным

образом, на членов петербургского филиала Южного общества. Северное пока оставалось в тени, если не считать Никиты. Обо всем этом ни Трубецкому, ни Рылееву не было известно. Зато Рылеев, у которого еще с утра уже побывал Корнилович, рассказывал, со слов последнего, что в корпусе генерала Раевского весьма беспокойно, что Сергей Муравьев-Апостол просил передать северным свое поручительство за 60 тысяч войск южной армии и что надо ждать в Петербург Матвея Муравьева-Апостола для связи.

Рассказывал Рылеев и о собрании у Оболенского, которое состоялось в четыре часа дня. На собрании этом были офицеры от нескольких полков гвардии. Рылеев об'явил собравшимся план действий на послезавтра, то есть на тот именно день, когда следовало ждать от Николая выпуска манифеста о новой присяге. О главном Рылеев упомянул вскользь: решено итти 14 декабря не от полка к полку, как требовал Трубецкой, а всем сразу на Сенатскую площадь. Это был существенный пункт расхождений между Рылеевым и диктатором.

Молчавший до сих пор Трубецкой вдруг встал и проговорил веско, явно стараясь прикрыть этой вескостью слов летучий изворот мысли:

— Я уезжаю, господа, меня ждет важное дело. Однако, если увидим 14-го, что на площадь выйдет мало, рота или две, то мы не должны итти туда и не должны действовать.

Рылеев смущенно кивнул головой. Трубецкой продолжал, обращаясь собственно к нему:

— Поручаю вам, Кондратий Федорович, изготовить к народу от имени Сената манифест, в котором должно изложить, что государь цесаревич, а равно и великий князь Николай Павлович отказались от престола и что после такого поступка их Сенат почел

необходимым задержать императорскую фамилию и созвать на великий Собор народных представителей из всех сословий народа, которые должны будут решить судьбу государства. К сему следует присовокупить увещание, чтобы народ остался в покое, что имущества, как государственные, так и частные, остаются неприкосновенными, что для сохранения общественного устройства Сенат передал исполнительную власть временному правлению, в которое назначил адмирала Мордвинова и тайного советника Сперанского и прочее, что вам известно. До свидания, господа.

Трубецкой взял шляпу и зашагал в переднюю.

Чинность и порядок исчезли вместе с диктатором. Каховский соскочил с подоконника и подбежал к столу.

— Наше восстание должно быть примерное, — закричал он. — Мы начинаем тем, чем прочие кончились: надобно истребить всех вдруг, чтобы менее было замешательств...

Якубович предложил:

— Кинем жребий, кому на сие покуситься...

Тут все зашумели — предложение Якубовича никому не понравилось.

Каховский свирепо оглядывался, и толстая губа его жалко дрожала:

— С этими филантропами ничего не сделаешь. Тут надобно резать, да и только. А если не согласятся, я пойду и сам на себя об'явлю.

Бестужев занес ногу через порог рылеевского кабинета и поднял обе руки кверху. Он был похож на загулявшего человека, еще понимающего гибельность своих выходок, но уже решившего где-то в сердце: пропадай все.

— Шагаю через Рубикон, — воскликнул он в

буйном порыве веселого восторга, — а Рубикон, по-нашему, руби—кон, то есть все, что попадется...

Одоевский повторял в сладком угаре:

— Умрем! Ах, как славно мы умрем!

Штейнгель в ужасе подбежал к Рылееву и схватил его за плечо:

— Что это происходит, Кондратий Федорович?

13 декабря, в полдень, возвращаясь пешком от Торсона, Николай Александрович Бестужев встретил на Исаакиевской площади брата Александра и Батенкова, ехавших вдвоем в коляске к Рылееву. Они захватили с собой Николая Александровича и повезли на Мойку. Батенков говорил о завтрашней присяге и повторял:

— Кажется, что успех несомнителен.

— А что Сперанский? — спросили его Бестужевы.

— Михайло Михайлович почитает всякую мысль об этом бесполезною и всякое покушение невозможным; впрочем, он человек осторожный и умный, от него ничего не узнаешь.

Рылеева дома не было. Батенков поднялся к Прокофьеву, Александр Александрович — к себе, а Николай Александрович решил сходить в гвардейский экипаж посмотреть, как идут дела у Арбузова. Завернувшись в шинель, старший Бестужев зашагал по гололедице широких улиц к Пяти углам. Он скользил и прыгал, внимательно отыскивая посыпанные снежной крупой места. Вдруг перед ним вырос человек. Николай Александрович глянул — Петруша...

— Как? Откуда ты? Почему опять в Петербурге?

Петруша приехал из Кронштадта сегодня утром и, сделав это тайком от братьев — он хотел 14-го явиться прямо к делу, — не решился останавли-

ваться на Васильевском острове и устроился у знакомых офицеров гвардейского экипажа. Николай Александрович начал, было, жестко выговаривать Петруше.

— Я не мог, пойми, — говорил тот, — я должен быть с вами.

Николай Александрович махнул рукой.

— Иди к матушке, — сказал он, — порадуем ее напоследок. Она кормит нынче обедом сыновей и друзей их.

Братья разошлись.

В первом часу дня на Васильевский остров начали собираться участники семейного бестужевского обеда, затеянного Прасковьей Михайловной.

В час приехал Рылеев; в половине второго уже обедали. Прасковья Михайловна смотрела радостными глазами на пятерых молодцов-сыновей, гладила их руки, нежно заглядывала в лица и говорила слова, ласковый смысл которых бывает понятен только матери и детям. Сыновья же были молчаливы, их улыбки и редкие шутки отзывались тревогой и тоской. Это был странный обед, — удивительная смесь золотых снов с самыми горькими предчувствиями.

С последним блюдом Мишель поднялся: он сегодня дежурный по полку и должен об'ехать все караулы. Петруша тоже ушел. Рылеев заспешил на Мойку, обещая вернуться часа через два.

Но случилось так, что Кондратий Федорович задержался дома. Успокоив Наталью Михайловну, он уже собирался снова ехать на Васильевский, когда один за другим появились Пущин и Оболенский, потом Каховский. Рылеев позвал Каховского к себе в кабинет. Несколько минут Кондратий Федорович молчал. Среди поездок, разговоров, встреч и об'яснений

сегодняшнего дня ни на мгновение не мог он отделаться от беспокойства, то нудного, то пронзительного, как зубная боль. Его томила страшная мысль—что будет, если не удастся завтра стащить Николая со ступенек трона? Что будет, если не удастся его захватить? Ответ был ясен: междоусобная война. Этого не хотел Рылеев больше всего. Он мучился с самого утра в поисках такого решения, чтобы можно было избежать кровопролития, не посягая на жизнь Николая. Но такого решения не находилось, — его не было. Приходилось выбирать. И сейчас Рылеев выбрал, вдруг, сразу, как самоубийца, твердо спускающий курок пистолета после многих лет приготовлений и страха.

Он подошел к Каховскому, обнял его и сказал:

— Любезный друг, ты сир на сей земле; ты должен собою пожертвовать — убей завтра императора.

Каховский не успел ответить — его обнимали и целовали Рылеев, Оболенский, Пущин...

В это самое время дверь кабинета скрипнула, и вошел Александр Бестужев. Еще из передней, через столовую, он видел об'ятия и поцелуи, опущенную голову Каховского и все понял. Ему стало жаль Каховского до слез. Он тоже обнял его. Рылеев вынул из бюро кинжал и протянул Каховскому.

Надо было расходиться. Рылеев и Пущин пошли к коляске. Оболенский — за ними. В столовой рылеевской квартиры остались Бестужев и Каховский, тоже собиравшийся уходить.

— Зайдите ко мне наверх сегодня попозже, хоть поутру, — сказал ему Бестужев.

Каховский кивнул головой и вышел на серую, облитую грязными сумерками улицу.

Около девяти часов вечера у подъезда рылеевской квартиры не стояло ни одного экипажа, но передняя была завалена шубами. Рылеев попросил военных садиться за круглый стол. Бестужев сел вместе с Сутгофом, Кожевниковым, Арбузовым, Пановым, графом Коновницыным, Палицыным. Вскоре появился Мишель со Щепиным-Ростовским. За ними — Оболенский, Каховский, Михаил Кюхельбекер, Репин. Совещание, — это можно было назвать настоящим совещанием, — вел Трубецкой.

— Господа, — говорил он, — не надо принимать решительных мер, ежели не будете уверены, что солдаты вас поддержат...

Рылеев, который не садился, а ходил вокруг стола, жадно ловя слова и наблюдая за выражением лиц, сейчас же вмешался:

— Вы, князь, все берете меры умеренные, когда надо действовать решительно.

Трубецкой устало положил на стол длинные руки.

— Но что же мы сделаем, ежели на площадь выйдет мало?

Бестужев подумал: «Умрем, вот что сделаем!», но промолчал.

Трубецкой вздохнул и сказал ротным командирам:

— Не забудьте, господа, захватить для солдат патроны.

Посыпались возражения: патроны — в ротных цейхгаузах, и для того, чтобы раздать их на руки солдатам перед присягою, не сыщешь благовидного предлога.

Бестужев не выдержал: при чем тут предлоги?

— Позвольте, а как по вас залп дадут? — заговорил он, волнуясь, — артиллерия, слышно, взяла по три зарядных ящика на орудие...

Арбузов погрозил кулаком в угол.

— Мы и холодным оружием с ней справимся.

Мишель задал вопрос: выводить ли ему роту, если другие роты не тронутся?

Трубецкой отвечал ледяным тоном:

— Старайтесь поддержать солдат в отказе от присяги до тех пор, как услышите, что какой другой полк вышел или что прочие присягнули; в последнем случае делать нечего, а в первом, услышавши, что другой полк вышел, то и ваш верно выйдет.

Капитан лейб-гвардии коннопионерного эскадрона Пущин, брат Ивана Ивановича, засмеялся.

— Это — пустое предприятие, господа. Посмотрел бы я, как младший меня офицер выведет мой эскадрон, — разве через мой труп.

Рылеев горячо возразил:

— Не удастся в Петербурге, отретируемся на военные поселения и оттуда снова двинемся на Петербург.

Завязался военный спор о возможности ретирады по петербургским дефилеям. Два новых лица незаметно вошли в столовую — Корнилович и сенатский обер-прокурор Краснокутский. Корнилович закричал:

— Господа, не забудьте: сто тысяч войск ждут сигнала на юге!

Шестьдесят тысяч, известие о которых он привез с юга, уже выросли до ста.

Краснокутский густым басом покрыл крики:

— Если будет только собрано войско на Сенатской площади, я заставлю сенаторов подписать конституцию и отречение императора. А там запалим дворец, фамилию же вывезем или истребим.

Трубецкой поднялся и вдруг показался всем неимоверно высоким

— Я согласен с Пущиным; мы не готовы, нет никаких шансов на успех.

Он по очереди тронул под локоть Пущина, Мишеля Бестужева, Арбузова, Репина и вышел с ними в кабинет. Было ясно, что он хочет умерить пыл ротных командиров.

Рылеев в бешенстве закричал:

— Да не откладывать же... Все равно, — правительство ведь знает...

Тут все вскочили со своих мест, и тысяча вопросов посыпалась на Рылеева: как знает? что знает?

Кондратий Федорович не мог говорить — горло его было сжато спазмой, он указывал на сверток бумаг, лежавший на столе.

Бестужев развернул голубые листы, на первом из которых было крупно написано: «Счастливейший день моей жизни», и начал читать вслух. Это была собственноручно сделанная Ростовцовым запись его разговора с великим князем Николаем. Вчера днем, когда у Оболенского собрались офицеры по одному от каждого полка и Рылеев взял с них слово действовать, Ростовцов не выдержал — написал письмо великому князю о заговоре. С этим письмом, в котором он ручался головой за справедливость своих показаний и требовал, чтобы его посадили в крепость и не выпускали оттуда никогда, если предсказываемое кровопролитие не случится, доносчик отправился во дворец и был принят великим князем. Вернувшись домой, записал беседу с Николаем, а сегодня утром, когда Рылеев был у Оболенского, рассказал им обо всем и вручил документ. Ростовцов раскрыл заговор, но не назвал заговорщиков, и умыл руки признанием перед ними. Он ставил свечу одновременно богу и сатане. Бестужев читал, и строки сочинения Ростовцова плясали в тумане у него перед глазами. Слуша-

ли молча. Бестужев швырнул бумаги на диван. Трубецкой побледнел. Рылеев стоял против него, такой же бледный.

— Вы видите, князь, умирать все равно; мы обречены на гибель.

Бестужев встал между ними.

— Да! По крайней мере, о нас будет страничка в истории...

— Так вы за этим-то гонитесь? — со злобой спросил его Трубецкой, — отпустите-ка меня, господа, в 4-й корпус, там, если быть чему-нибудь, то будет, а что 2-й корпус не присягнет, — ручаюсь.

С этими словами диктатор взял шляпу и пошел в переднюю. Как всегда, после его ухода вдруг закипело в квартире Рылеева. Говорили все сразу.

Около полуночи появился Якубович. Увидев остервеневшего Щепина, приходящих и уходящих ходоков из полков, вдохнув воздух, полный страстей и возбуждения, он воспламенился и, высоко подбросив шляпу, взревел:

— Что рассуждать? Надобно разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабеж, потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви и итти ко дворцу...

Оболенский пришел в восторг:

— Правильно! Якубович на опыте знает о солдате нашем...

Рылеев спорил из последних сил:

— Как! Мы подвизаемся к поступку великому... Нам ли употреблять низкие средства?..

— Уймись, Якубович, — уговаривал капитана Бестужев, — пойми, что храбрость солдата и храбрость заговорщика не одно и то же...

Но капитан не унимался. Он требовал, чтобы ему поручили итти с гвардейским экипажем во дворец и захватить императорскую фамилию, обещал Арбузову

завтра утром быть у него в экипаже с тем, чтобы вести матросов к измайловцам, а оттуда во дворец, хотел поднять полк гвардейских егерей и с ними зайти в Семеновский и в Московский. Словом, он брался за все.

Рылеев подошел к Мишелю Бестужеву и Сутгофу. Мишель любовался этим человеком, то появлявшимся, то исчезавшим в океане сумасшедших порывов, которыми полон был сегодня крохотный мир заговорщического штаба. Кондратий Федорович взял Мишеля и Сутгофа за руки.

— Мир вам, люди дела, а не слова. Вы не беснуетесь, как Щепин или Якубович, но уверен, что сделаете свое дело.

Мишель изложил ему свой план на завтра. Он не хотел ждать Якубовича — его бравада и хвастливые выходки казались ему до крайности подозрительными. Он хотел вести свою роту, а если удастся, то и полк, прямо на площадь. Сутгоф — тоже.

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб льдистый полюс растопить!

Тютчев.

ТОЛЬКО-что пробило шесть часов утра. Пронзительный ветер бесснежной петербугской зимы свистел за окном; клубы холода отрывались от расписанных морозом стекол и таяли посреди комнаты. За

стеклами было черным-черно. Петруша спал, сладко посапывая. Бестужев не спал. В дверь постучали, и человек вошел в комнату, вернее, ворвался голос человека, так как самого его не было видно.

— Я к вам, Бестужев. Вы сказали — притти утром...

Это — Каховский. Бестужев думал ночью о нем, о данном ему вчера поручении и готовился к разговору. Он хотел сказать Каховскому, что убивать императора до того, как определится исход восстания, бесполезное варварство; что смерть императора нужна будет только в том случае, когда первоначальный успех восстания станет очевидным фактом, так как тогда только и возникнет опасность междоусобия; что удар, нанесенный Николаю до успеха, может обернуться против всего предприятия и что, наконец, по всем этим причинам место цареубийства — не возле дворца, при выходе императора, а на Сенатской площади, куда он, конечно, явится. А там — Каховский или случай — не все ли равно? Основные соображения этого рода возникли у Бестужева еще вчера, когда Каховский получал свое задание. Но лишь ночью он сумел их додумать до конца, а самый конец запрятал глубоко в сердце: несмотря на все, что произошло и было сказано в течение вчерашнего дня, Бестужев не хотел ничьей смерти, даже — Николая... Разговор с Каховским обернулся до неожиданности просто.

— Рылеев посылает вас на площадь Дворцовскую? — спросил Бестужев.

— Да! Но я не могу решиться. Я уже был у Рылеева и сказал ему. Кроме того, искавши случая нанести удар императору, я могу остаться праздным и не разделить опасности общей, а это — преступление.

— И не ходите ко дворцу. Это вовсе не нужно.

Я беру на себя. Будьте со всеми на Сенатской площади.

В семь часов они спустились к Рылееву. Кондратий Федорович еще лежал в постели. На тумбочке горел ночник.

Пришел Трубецкой. За ним — Штейнгель. Следом — Репин с известием, что в Финляндском полку офицеров потребовали к полковому командиру и что они присягают отдельно от солдат. Лицо Трубецкого прояснилось. Он начинал думать, что дело обойдется без восстания. Еще яснее стало на душе у диктатора, когда он зашагал домой. В церквах — он зашел в церковь — провозглашали на ектениях Николая; разносчики продавали текст новой присяги, хотя еще и без манифеста; кабаки, по предусмотрительному распоряжению министра финансов Канкрина, были заперты. Трубецкой шел, весело насвистывая марш Преображенского полка.

Между тем Рылеев вскочил с постели и начал лихорадочно одеваться. В панталонах с незастегнутыми штрипками, без галстуха, с мокрым лицом, он наскоро писал записки поручику Финляндского полка Розену и Кюхельбекеру и отправлял их с Яковом и другим своим человеком — Петром. Еще не было восьми часов, когда Рылеев, Бестужев и Каховский уже пригнали в извозчичьей карете к казармам гвардейского экипажа. Якубовича здесь не было.

— Вас поведет Николай Бестужев, — сказал Рылеев. — Поднимайте матросов.

Бестужев кинулся на Гороховую. Капитан лежал на диване в шинели, мороз гулял по нетопленной комнате. Взглянув на его опущенные, растрепанные усы, Бестужев понял, что вчерашняя храбрость оставила кавказского героя, и попробовал пристыдить его.

— Все сие несбыточно, — проговорил Якубович

слабым голосом, — ты — молодой человек, не имеешь никакого понятия о русском солдате, а я его знаю вдоль и поперек...

Бестужев махнул рукой. Часы пробили девять.

Бестужев шагал к казармам Московского полка и мысленно говорил, обращаясь к богу: «Если дело наше правое, — помоги нам; если же нет, — да будет воля твоя!» Так суеверный человек, уже решившись на отчаянный поступок, идет спросить совета у гадалки с тем, чтобы последовать этому совету только в том случае, если он совпадет с его собственным решением.

Бестужев прошел прямо к брату Мишелю.

— Где же Якубович? — спросил тот прежде всего.

— Якубович остался на своей квартире обдумывать, как бы похрабрее изменить нам.

— Итак, надежда на артиллеристов и прочие полки исчезла, — сказал Мишель со слезами на глазах, — ну, медлить нечего, пойдем в роту, я поведу ее на площадь.

В коридоре к братьям подошли несколько офицеров из тех, кого Мишель привозил к Рылееву — Щепин, Волков, Броке, князь Кудашев. Начали с 3-й фузилерной роты, которой командовал Мишель. Бестужев, сверкая белоснежным аксельбантом и сопровождаемый свитой ротных командиров, вбежал в солдатский покой и закричал:

— Ребята! Я — ад'ютант императора Константина и только-что приехал из Варшавы...

Он говорил слова, о которых раньше не думал ни одной минуты. Солдаты вскакивали с нар и бросались навстречу с жадными лицами.

— Ребята! Вас заставляют присягать. Но ведь

император жив, его задержали по дороге в Петербург. Он в цепях, ребята! И шеф полка вашего, великий князь Михаил, тоже задержан за четыре станции отселе и тоже — в цепях. Ребята, для чего это? Хотят заставить гвардию присягнуть Николаю...

Бестужев кричал и видел множество подступавших к нему со всех сторон людей, ошеломленных неслыханной смелостью его речей. Этим людям казалось, будто перевертывается весь мир, и в каждом солдатском сердце вздрагивало темное чувство, для которого Рылеев нашел хорошее слово: теперь или никогда.

Бестужев продолжал кричать. Вдруг крик его смело ураганом нестройных возгласов, слившихся в один вопль, двух сотен пересохших глоток:

— Ура, Константин! Не хотим Николая!

Солдаты кинулись к стойкам с ружьями. Мишель в фельдфебельской каморке раздавал боевые патроны.

Бестужев прошел со своей свитой в 6-ю фузилерную роту Щепина, там — то же; дальше, в 5-ю, во 2-ю роты, и везде его бешеные речи встречались одинаково. Он уже кричал, что и покойного императора отравили; верили всему, о чем ни вздумалось бы ему закричать сейчас.

Мишель выстроил свою 3-ю роту на маленьком казарменном дворике. Ружья заряжены, взяты на руку. Рота двинулась на большой полковой двор, куда выносили аналой для присяги. Ряды гренадер окружали знамена, ожидая знака, чтобы примкнуть к восставшим. Щепин пристраивал 6-ю роту позади 3-й. Солдаты выбегали из казарменных помещений поодиночке и целыми капральствами. Александр Александрович сразу вывел 2-ю и 5-ю роты.

— Ура, Константин!

Мишель повел колонну к воротам. Гренадерские ряды со знаменами бросились за ним.

Под воротами строй разбивался о кучку начальников — бригадный командир генерал Шеншин, полковой — барон Фредерикс, батальонный — полковник Хвощинский. Они упрашивали солдат вернуться. Бестужев сказал Фредериксу:

— Отойдите, генерал!

Тот выругался. Тогда Бестужев погрозил ему черкесским пистолетом. Фредерикс отскочил, и в этот момент страшный удар сабли пришелся ему по голове. Разрубленный кивер закинулся назад, и кровь брызнула тонким винтом. Сабля Щепина сверкала летучей молнией, опускаясь в разные стороны. Генерал Шеншин рухнул наземь, — Щепин продолжал рубить его и лежачего. Полковник Хвощинский поднял руки, о чем-то умоляя. Щепин взрезал ему спину, захватив и шею до виска.

— Умираю! — кричал Хвощинский.

Солдаты хохотали. Бестужев снова увидел Петрушу и рядом с ним Каховского.

— Бегите в гвардейский экипаж, видите, — здесь все готово!

Живая лавина выкатывалась на Гороховую и затопляла ее.

Щепин взял флангового за рукав и повел по улице. Распущенные знамена плыли в воздухе. Барабаны били поход. Мальчишки бежали по тротуарам.

— Ура, Константин!

Бестужев оглянулся. Из офицеров-московцев с ротами шли только Щепин да Мишель. Вот и квартира Якубовича. По лестнице, громыхая ботфортами, бежал сам капитан. Его волосы развевались из-под черной повязки, рука высоко поднимала шпагу, и на

конце шпаги болталась шляпа с огромным белым султаном.

— Что бы это значило?—спросил Бестужев Мишеля.

— Надо испытать его...

Бестужев подошел к Якубовичу.

— По праву храброго кавказца прими начальство над войсками.

— К чему эти церемонии? — отвечал капитан недовольно. — Ну, хорошо, я согласен.

Из казарм вышли 2, 3, 5, 6-я роты и часть 1-й гренадерской, — всего около семисот человек.

— Ура, Константин! Долой Николая!

Солдаты бежали, и офицерам впереди приходилось ускорять шаг. Со стороны можно было подумать, что не офицеры ведут за собой солдатский поток, а поток этот гонит и преследует офицеров. Вот и квартира Греча на углу Исаакиевской площади. Форточка в одном из окон гречевой квартиры раскрылась, и Бестужев услышал испуганный женский крик:

— Александр Александрович! Ступайте сюда! Здесь вас не тронут...

Бестужев усмехнулся: «Хороша, должно быть, картина!»

Вышли на Сенатскую площадь. Она была пуста. Мишель и Щепин начали рассчитывать ряды и строить карре, тылом к Галерной, Сенату и Синоду. Было десять часов утра. Якубович подошел к Бестужеву:

— Что? Имею я теперь право повторить тебе, что вы затеяли дело неудобоисполнимое? Видишь, не один я так думал.

Мишель огрызнулся, проходя мимо:

— Ты бы не мог сказать того, если бы сдержал слово и привел сюда прежде нас артиллеристов или измайловцев.

Бестужев отдал свой пистолет Мишелю. Якубович сказал:

— Ах, как голова болит!

Затем вложил шпагу в ножны, надел шляпу с белым султаном и зашагал с площади прочь.

Заметив, что вокруг памятника собираются тесным кольцом штатские люди, Бестужев подозвал к себе унтер-офицера Луцкого, из чиновничьих детей, и приказал ему держать цепь с тем, чтобы никого из посторонних не пропускать в карре, а в упорствующих — стрелять.

— Правильно! — раздался рядом знакомый голос.

Это был Оболенский. За ним начали подходить одиночками члены общества — молодой Коновницын, Иван Иванович Пущин, показался Розен.

— Где же отыскать теперь князя Трубецкого? — недоуменно спрашивал он Бестужевых, Пущина, Щепина. Князь-богатырь молчал, утомленно опершись на свою чеченскую саблю, много поработавшую на казарменном дворе. Бестужевы не знали, что отвечать. Пущин сказал:

— Пропал Трубецкой или спрятался, — не знаю. Если можно, достань еще помощи, в противном случае и без тебя тут довольно жертв.

Было уже около одиннадцати часов, когда близ карре появился Каховский. Он был в своем всегдашнем длинном лиловом сюртуке и, пристукивая зубами от холода, рассказал, что в гвардейском экипаже началось: офицеры спорили с генералом Шиповым о присяге, кричали матросам, что надо поступать по совести; присяга сорвана, но что произошло дальше, Каховский не знал, так как был арестован, заперт под замок и, вырвавшись с помощью офицеров, бе-

жал прямо сюда, едва уйдя от каких-то гнавшихся за ним боцманов ластовой команды. В руках у Каховского был пистолет. Он взял его у Мишеля.

Верхом прискакал Одоевский и, бросив лошадь, стал у карре. Только утром он сменился с караула в Зимнем дворце, отвел караул в полковую церковь к присяге, поехал домой, переоделся, отдал один из двух своих пистолетов Кюхельбекеру и решил отправиться в Финляндский полк. Там — присягали. Возле казарм лейб-гренадерского полка Одоевскому повстречался Коновницын, посланный Бестужевым к Сутгофу. Они вместе были у Сутгофа, и Одоевский сам видел, как Сутгоф начал выводить свою роту из помещения. Это было главное.

Молодой человек в штатском выбрался из толпы и, подойдя к Мишелю, дал ему пятьдесят рублей.

— Солдатам на водку.

Мишель передал деньги унтер-офицеру. Тот отдал соседу подержать ружье и кинулся бежать по какому-то хорошо известному ему адресу.

— Это — Глебов, — пояснил Каховский, указывая на молодого человека, — он живет с Палицыным, я его принял.

Московцы стояли на площади уже около двух часов. Солдаты в мундирах, белых панталонах, крагах, киверах с высокими волосяными султанами жались, подпрыгивая и колотя рука об руку, словно в ожидании смотра или парада. День был ветреный и холодный. Гуляла поземка. Бестужев с Пущиным, Щепиным и братом раза два оставляли карре и, протискавшись сквозь толпу, заходили погреться в кондитерскую.

Оболенский возился с оцеплением. Прямо на него упал из толпы выдавленный человеческой теснотой Вильгельм Кюхельбекер в круглой шляпе и новой

темнооливкового цвета шинели с бобровым воротником и серебряной застежкой. Какой-то худой, черный человек подошел к нему и сказал на отвратительном французском языке:

— Я отставной ротмистр Раутенфельд; если вам угодно, у меня есть сабли и прочие предметы, необходимые для такого дела. Кроме того, я мог бы предводительствовать чернью, если вам угодно.

Кюхельбекер хотел, было, пуститься в об'яснения с ротмистром, но Пущин оттащил его.

Каховский замерзал. Его нос посинел, щеки посерели, и он то отдавал Бестужеву свой пистолет, чтобы похлопать рука об руку, то снова брал его.

На углу Адмиралтейского бульвара показался 1-й батальон Преображенского полка и перед ним — император Николай, в мундире, шляпе, лосинах, с голубой лентой через плечо. Это были первые войска, выставленные правительством против мятежного карре московцев. Мрачное спокойствие бледного лица Николая было выразительнее гнева, трусости, мужества. Это было отчаяние, которое заставляет людей стиснуть зубы и продать жизнь по неимоверно дорогой цене. До карре доносились слова его команды:

— К атаке в колонну стройся, 4-й и 5-й взводы прямо, скорым шагом марш-марш!

Николай вывел батальон к углу строившегося и обнесенного временным деревянным забором дома главного штаба и здесь остановил его. Подвели верховую лошадь; он вскочил в седло и велел зарядить ружья. Генерал-ад'ютанты Голенищев-Кутузов и Стрекалов, флигель-ад'ютанты Дурново, Перовский и Адлерберг заслоняли его коня, ожидая атаки.

Бестужев скомандовал своим:

— На плечо!

Каховский попросил у Бестужева:

— Дай патрон.

Бестужев дал. В этот момент случилось нечто, до крайности странное. Из карре было превосходно видно, как к Николаю подошел Якубович и, держа два пальца у шляпы, молодецки рапортовал о чем-то. Николай кивнул головой и протянул руку. Якубович пожал ее, повернулся кругом через левое плечо и скрылся в толпе. Через несколько минут его увидели пробиравшимся сквозь людское месиво к карре. Он подступил довольно близко и крикнул:

— Держитесь! Вас крепко боятся!

Больше Бестужев уже не видал храброго кавказца.

Появился Рылеев. Он был в солдатской суме и перевязи и готовился встать в ряды карре.

Кто-то посмотрел на часы — половина первого. Пароконные сани мчались вокруг забора, окружавшего недостроенную Исаакиевскую церковь. В санях стоял генерал-губернатор граф Милорадович, в одном мундире со звездами и лентой; левой рукой он держался за плечо кучера, а правой показывал вперед.

Через несколько минут он подскакал верхом к карре и закричал тоном отца-командира, привыкшего разговаривать с солдатами:

— Ребята! Что вы делаете? Я сам охотно желал бы, чтобы великий князь Константин царствовал над нами. Но как быть, если он отрекся? Я сам видел его отречение. Верьте мне, ребята! Налево кругом! Марш во дворец! С повинной!

В карре что-то шевельнулось. Привычка к повиновению готова была сдвинуть с места ряды. Оболенский подбежал.

— Граф, прошу вас от'ехать. Опасность вам угрожает...

Милорадович не слышал.

— Марш, с повинной! — повторял он.

Оболенский схватил у солдата ружье и хотел кольнуть генеральскую лошадь, но сразмаху всадил штык в бок графу. Раненый обеими руками схватился за бок. Оболенский бросил ружье и отошел с видом равнодушия, поразившим Бестужева.

Одновременно выстрел разорвал мгновенную тишину. Милорадович зашатался, шляпа слетела с его курчавой головы.

— Кто стрелял в Милорадовича? — спросил Бестужев.

— Каховский.

Бестужев не приметил отвечавшего. Все это было на ходу, в страшной суматохе.

— Ура, Константин!

Кричали уже не одни солдаты. Многотысячная толпа, наполнявшая площадь, кричала вместе с ними:

— Ура, Константин!

Около двух часов дня прискакала почти без офицеров конная гвардия и выстроилась в эскадронных колоннах спиной к дому Главного штаба.

Рылеев не выдержал. Все утро, прежде чем появиться на площади, он метался по казармам, пытаясь что-нибудь сделать. Сейчас он решил бежать в лейб-гренадерский полк, к Сутгофу, — прошло много времени с тех пор, как Одоевский привез известие о выступлении лейб-гренадер, а их все не было. Пробовали отговорить Рылеева — напрасно, он бросил наземь свою солдатскую амуницию и смешался с толпой.

Николай и Бенкендорф, от'ехав в сторону, рассматривали карре. На конногвардейцев сыпались

сверху, с заборов поленья и камни. Выстрелы свистели. Николай побледнел еще больше. Его гневный взгляд упал на толпу, стоявшую кругом, и уловил — никогда небывалое: толпа стояла в шапках, присвистывая и улюлюкая.

— Шапки долой! — крикнул он с ненавистью.

Народ отхлынул. Император поскакал навстречу верной части Московского полка, которую вел с Гороховой улицы, как-то особенно ссутулясь и дергая себя за рыжие бачки, великий князь Михаил. Московцев поставили на углу Исаакиевской церкви— против карре. Через несколько минут подошли семеновцы.

К двум часам Бестужеву, Пущину и другим было уже совершенно ясно, что замышлял против восставших Николай: он окружал их своими войсками. Оставались открытыми Галерная улица и набережная. Когда и их займут войска императора, карре будет отрезано.

Прискакали кавалергарды, без кирас, в наспех наброшенной амуниции, и были поставлены в резерв. Второму батальону Преображенского полка Николай приказал примкнуть к левому флангу конной гвардии. Кольцо замыкалось. Из карре можно было разглядеть, как по Исаакиевскому мосту с Васильевского острова маршировали финляндцы. Они шли со всеми офицерами, следовательно — на помощь к императору. Однако у самого выхода с моста что-то случилось у финляндцев. Первый взвод, впереди которого шагал громадный офицер, — это был барон Розен, — стал и остановил весь полк. От Николая скакали к финляндцам генерал-ад'ютанты — один за другим, — возвращались и снова скакали, передавая приказ за приказом. Полк не двигался. Розен стоял, как монумент.

Наконец, произошло и то, чего никак не мог дождаться Рылеев: Сутгоф вышел на Сенатскую площадь с ротой своих лейб-гренадер.

Прибытие к мятежникам лейб-гренадер страшно испугало Николая. Дело было не в той роте, которую привел Сутгоф, а в том, что восстание не ограничилось половиной Московского полка. Финляндцев не было возможности сдвинуть с Исаакиевского моста; в Измайловском полку произошло какое-то замешательство, и полк не являлся. Не шли егеря и гвардейский экипаж. Флигель-ад'ютант Бибиков, посланный за гвардейским экипажем, был избит прикладами по дороге. В батарейной роте великого князя Михаила Павловича оказались перерубленными постромки. Николай приказал генерал-ад'ютанту Левашову скакать за Измайловским полком.

И, сжав зубы до скрипа, прошептал на ухо Адлербергу:

— Отправляйся во дворец и скажи шталмейстеру Долгорукому, чтобы готовил загородные экипажи для императриц и детей.

Бестужев стоял, опершись на солдатское ружье. Унтер-офицеры притащили откуда-то жбан с водкой. Пили солдаты, пил и он. В голове зажигалось что-то похожее на надежду, сердце падало и начинало биться часто и сильно. «Неужели брат Николай не приведет моряков? Не может быть! Только бы устоять до его прихода...» и губы повторяли почти беззвучно в тысячный раз:

— Московский полк — сердце России!

О том, что будет после прихода моряков, он не думал.

В это самое время гвардейский экипаж показался

на площади. Его вел Николай Александрович. Ротные командиры — Арбузов, Михаил Кюхельбекер и другие были налицо, с блестящими глазами, в растегнутых сюртуках и с саблями наголо. Экипаж шел почти бегом в колонне к атаке, с распущенными знаменами и барабанным боем. Откуда-то появившийся перед карре Рылеев бросился к Николаю Александровичу.

— Предсказание наше сбывается, — сказал он радостно, — последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы; мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою.

Они крепко обнялись. Больше около карре Рылеева уже не видели.

Николай двинулся со свитой на Дворцовую площадь: он был сильно обеспокоен судьбой Зимнего дворца. Возле дома Главного штаба его остановила толпа лейб-гренадер, бежавшая с примкнутыми штыками, без офицеров; впереди мчался маленький поручик с русыми баками и личиком вербного херувима. Толпа разбивалась о лошадь императора на два потока и стремительно катилась дальше.

— Стой! — закричал Николай в ярости.

— Мы за Константина! — отвечали ему солдаты и продолжали бежать.

— Когда так, то вот вам дорога, — выговорил он, задыхаясь, и показал на Сенатскую площадь.

Четыре роты лейб-гренадер, кроме роты Сутгофа, ушедшей раньше, были подняты батальонным адъютантом Пановым, которого принял Каховский месяц назад. Каховский умел выбирать людей!

Лейб-гренадеры Панова образовали фас карре, обращенный к стройке Исаакиевского собора. Сутгоф отошел к Неве. Гвардейский экипаж встал между карре и стройкой, флангом к Галерной улице. Те-

перь в рядах восставших было не меньше трех тысяч человек, не считая пятисот финляндцев, стоявших на мосту *. Правда, ошибок и упущений сделано было немало. Сутгоф мог занять крепость, проходя мимо ее раскрытых ворот, но не сделал этого. Панов уже был во внутреннем дворе Зимнего дворца и, наткнувшись на сапер, попятился вместо того, чтобы выбить их и овладеть дворцом. Гвардейский экипаж пришел не только без своих пушек, о которых забыл, но почти и без патрон. Однако людская сила восставших была все-таки немаловажна.

Между тем, коннопионеры занимали выход из Галерной улицы. Николая не было на Сенатской площади, но его система окружения действовала. Два эскадрона конногвардейцев обскакали карре и построились рядом с коннопионерами. Никто не подавал команды мятежным солдатам. Но весь фас карре, обращенный к Галерной, приложился, как на ученье. Мишель выскочил вперед и крикнул:

— Отставь!

Однако десяток выстрелов раздался, и несколько человек конногвардейцев рухнули со своих громадных коней.

— Уйдите, капитан, — говорил Пущин какому-то свитскому офицеру, — здесь вам делать нечего...

Капитан требовал, чтобы его пропустили к солдатам; он хотел говорить с ними и, порываясь за цепь, называл свою фамилию: Гастфер.

— Уйдите, — Оболенский погрозил ему кулаком.

Каховский подошел к капитану и несколько мгновений смотрел ему в лицо. Затем выхватил кинжал и

* Четыре с половиной роты Московского полка — 670 человек, пять рот лейб-гренадерского полка — около 1 250 человек, гвардейский экипаж — около 1 100 человек.

ударил его в голову, за ухом. Капитан упал, приподнялся, его подхватили и окровавленного, с повисшей головой, отвели внутрь карре.

Начали появляться нестроевые чины разных гвардейских полков и говорили шопотом:

— Подержитесь, господа, до вечера, а когда смеркнется, то все солдаты поодиночке станут перебегать на вашу сторону.

Приходили мастеровые и люди неизвестного звания из толпы, требовали оружия и кричали:

— Мы вам весь Петербург в полчаса вверх дном перевернем.

Над каким-то полицейским драгуном мелькали десятки кулаков; толпа втаптывала его в землю с остервенением. Полицейского спасли, причем Вильгельм Кюхельбекер был из главных спасателей. Вероятно, поэтому в руках у него очутился огромный палаш драгуна с медным эфесом. Вдруг завидев раздувающиеся ноздри Левушки Пушкина, неизвестно как пробравшегося к карре, Кюхельбекер передал палаш ему и, подведя Левушку к Одоевскому, сказал по-французски:

— Примите от меня этого молодого солдата.

Еще через несколько минут Левушка показался уже без палаша, а потом исчез вовсе.

Было около трех часов. Сумеречный декабрьский день переходил в холодный, печальный вечер. Солдаты замерзли. Усатые сизые лица смотрели сурово и безнадежно. Отступать было некуда. Можно было только наступать. Скоро и это должно было оказаться невозможным, — правительственные войска все прибывали. Четыре орудия с грохотом проскакали и стали на углу Адмиралтейского бульвара, грозно ра-

зинув медные пасти, тускло освещенные серым мерцанием кончавшегося дня. Можно было бы соединиться с толпой, но офицеры этого решительно не хотели. Полиция появлялась в разных концах площади и гнала народ.

Арбузов первый заметил жест генерала Орлова, командовавшего конной гвардией, хотя и не слышал слов. Так подают сигнал к атаке. Действительно, эскадрон конногвардейцев отделился от строя и поскакал к карре. Скакал он плохо, — лошади, не перекованные на шипы, скользили, спотыкались и падали, широко разбрасывая ноги по льдистому покрову земли. Нападавших встретили из-за угла, где хранились строительные материалы, градом камней и поленьев. Какие-то люди вырывали булыжники из мостовой и швыряли в конногвардейцев. Атакующие рассыпались, не доскакав до карре. Эскадрон повернул назад.

Оболенский, заметив, что к карре подошли офицеры лейб-гренадерского полка и зовут своих солдат в казармы, разгорячился.

— Бей тех, кто зовет! — кричал он.

Генерал Орлов повел конную гвардию во вторую атаку. Снова скользили и падали лошади, сыпались камни и поленья, хохотала толпа. Карре встретило атаку пелотонным огнем и, свалив десятка два конногвардейцев, заставило их отступить, не врубившись. У конногвардейского полковника, барона Велио, болталась перебитая рука. Его унесли в манеж. Орлов попробовал атаковать в третий раз, но столь же неудачно.

Николай со свитой уже вернулся с Дворцовой площади и стоял позади батареи. Камни и комья снега летели со всех сторон в этот угол бульвара. Флигель-ад'ютанта Перовского кто-то так ударил поле-

ном в спину, что он едва отдышался. В принца Евгения Вюртембергского, племянника бестужевского герцога, угодил комок снега. Он наскочил на бросившего и конем опрокинул его наземь.

— Ты что делаешь?

Тот поднялся, отряхиваясь.

— Шутим-с, барин! — и пустился наутек.

Командир лейб-гренадерского полка Стюрлер не отходил от фасов карре, занятых его солдатами. Он плохо говорил по-русски и, уморительно коверкая слова, упрашивал солдат итти в казармы. Оболенский несколько раз повторял ему:

— Полковник, уйдите, иначе вас унесут...

Его брали под-руки и отводили насильно, но он возвращался. Каховский давно уже следил за этой комедией. Наконец, подошел к Стюрлеру и выстрелил в него из пистолета. Стюрлер отбежал в сторону, потом вскинул кверху руки, как бы желая подтянуться на невидимом турнике, сделал несколько шагов на месте и упал. Его потащили в дом Главного штаба.

Бестужев думал: «Если бы Измайловский полк присоединился к нам, я бы принял команду и тогда можно было бы решиться на атаку». План атаки вертелся у него в голове. Но измайловцы стояли на месте и, как видно, ждали ночи. А между тем подошел Павловский полк и занял Галерную улицу вдоль.

Император принимал последние меры. Два митрополита — петербургский Серафим и киевский Евгений — в митрах и облачении, с двумя иподиаконами на запятках саней, выехали к бунтовщикам из-за забора Исаакиевской церкви. Солдаты снимали кивера и, взяв ружья к ноге, крестились. Серафим поднял крест, благословляя.

Михаил Кюхельбекер подошел к нему и сказал просто:

— Отойдите, батюшка, не след вам мешаться в это дело.

Слова его, как эхо, отозвались в рядах.

Митрополиты с иподиаконами двинулись назад, сопровождаемые народом. Чьи-то услужливые руки распахнули перед ними калитку забора, окружавшего стройку Исаакиевской церкви. За калиткой виднелись грязные рабочие бараки, телеги для подвозки материала, мусор и щебень.

Около четырех часов дня под'ехал к карре командующий гвардейской артиллерией генерал Сухозанет. Его не любили в гвардии. Сухозанет закричал что-то о пушках и картечи.

— А привез ли ты конституцию? — отвечали ему. — Скажи, чтоб прислали кого почище тебя... Константин!

— Так узнайте же, что такое Николай!

Сухозанет повернул лошадь и вырвался из карре. Несколько выстрелов полетели ему вдогонку, и перья посыпались из султана его шляпы. Он на скаку выдернул султан. Повидимому, это было заранее условленным сигналом. Бестужев успел подумать: «Мы погибли. Однако не повести ли солдат в атаку на пушки?»... Откуда-то взявшийся Корнилович сказал:

— Вот, теперь надо итти и взять орудия.

Кругом еще кипели какие-то рассуждения. Бестужев не принимал в них участия. Все было бесполезно. Еще утром он хотел или успеха или смерти. Идя к московцам, он ожидал, что кончит жизнь на штыках, не выходя из полка, — уже тогда он не надеялся на успех. А что же теперь? — Только смерть...

Сумерки разорвало пламенем, и первый выстрел

грянул. Бестужев кинулся вперед, под пушки, — он искал смерти. Все остальное — карре, народ — стояло на месте, — или прицел был взят неверно, или стреляли холостыми зарядами. Конногвардейские офицеры, раздосадованные неудачей своих атак, радовались близости конца.

— Ура! Фора! Фора!* — кричали они, как в театре. Вспыхнуло пламя у бульвара, и два орудийных залпа один за другим загремели, как в настоящем бою. Острые льдинки, веером взлетавшие из-под ног, били в лицо. Флейтщик гвардейского экипажа, мальчик русый и тонкий, подпрыгнул и ударился оземь. С Бестужева слетела простреленная шляпа. «Умру, сейчас умру!» — думал он с восторгом. Возле него катались по земле, корчились и стонали люди. Бестужев услышал голос Пущина, его последнюю команду:

— Sauve qui peut!**

Никакого карре уже не было. Тысячи людей бежали стремглав, прыгая на лед Невы, прорываясь через ряды павловцев и коннопионеров на Галерную и набережную. Орудие ударило по бежавшим. Звенели разбитые оконницы в Сенате, с крыш и заборов кучами валился народ. С каким-то мертвым чувством в душе Бестужев пробирался между убитыми, ступая по снегу, вдруг зардевшемуся большими красными цветами... У входа в Галерную улицу он столкнулся с братом Николаем Александровичем, который пытался остановить беглецов и уже составил взвод. Бестужев тоже удержал нескольких лейб-гренадер. Но через минуту никого не было — ни взвода, ни гренадер, ни Николая Александровича. Ядра, прыгая и

---

* То же, что бис (итал.).

** Спасайся, кто может! (фр.).

гудя, ударяясь в простенки домов узкой улицы, рикошетом разили прятавшихся между выступами цоколей людей. Картечь догоняла ядра. Ни один закоулок не оставался вне огня. Галерная походила на капкан. Бестужев забежал под незапертые ворота огромного дома графа Остермана-Толстого и начал подниматься по неосвещенной лестнице.

15 ДЕКАБРЯ 1825 — 5 АВГУСТА 1826

Единственное благо побежденных — не надеяться ни на какое спасение.

Вергилий.

Бестужев постучал. Ему открыли. Из передней он вошел в ярко освещенную комнату. За фортепьяно сидел свитский офицер и, ударяя пальцами по желтым клавишам, высоко поднимал локти. Были еще какие-то офицеры; один из них — морской. Дамы в нарядных платьях весело болтали по-французски. На Бестужева смотрели с недоумением. Кланяясь со всей изысканностью светского человека и бормоча нелепые любезности, он прошел по ковру через гостиную. Затем сел на пуфик возле фортепьяно и стал ждать. Чего? Он сам не знал. С ним не говорили, старались не замечать его.

Отчаянный стук в дверь с лестницы взбудоражил гостиную. Портьера распахнулась, и вошел бледный, с развевающимися русыми баками, в наброшенной на мундир штатской шинели, маленький поручик Панов. Девушка в розовом платье вскрикнула и, ухватясь за столик, на котором стояла клетка с попугаем, стала медленно падать. Свитский офицер поддержал ее. Бестужев начинал понимать, в чем дело: он в кварти-

ре невесты Панова, — ему было известно и раньше, что Панов — жених. Первым ушел поручик, после слез, благословений и клятв; его выпустили на Неву, завернутого в партикулярную шинель, с круглой шляпой на голове. Через полчаса отправился и Бестужев. Он долго шагал по речному льду, не торопясь, забирая нарочно то в одну, то в другую сторону, кружа за визгливым ветром, иногда оборачиваясь лицом к наскокам снежной пыли и жадно ее глотая, иногда неподвижно стоя на месте и разглядывая в небе черные клочья ночного тумана. Торопиться было некуда. Он бродил по Неве и Галерной гавани до утра, изредка присаживаясь на скамейки у бедных чиновничьих домиков. С церковных колоколен пополз густой и ровный перезвон. Старухи заковыляли, стуча костылями о мерзлую грязь. На папертях собирались рваные нищие и громко ссорились, толкая друг друга. На востоке загоралось утро. Бестужев зашел в церковь; отогревшись у печки, отправился дальше. В это утро, пока шли ранняя и поздняя обедни, он побывал во многих церквах. Но и это кончилось. Он вспомнил Мойку, Рылеева, Сомова, Наталью Михайловну, потом — матушку, сестер, братьев; ощупал свое лицо, неумытое, потное и скользкое, быстро нагнулся, зачерпнул ладонью горсть свежего снега и вытер лицо. Вдруг все стало ясно. Спасаться негде и незачем. Пустое... Надо быть самим собой.

Бестужев двинулся через Неву, направляясь к Зимнему дворцу. Он вошел во дворец через комендантский под'езд. В знаменной комнате снял саблю и поставил в угол. Заметив в карауле Павла Ивановича Греча, сделал вид, что не видит — так, вероятно, для Греча было удобнее. Унтер-офицер подошел со словами:

— Вы арестованы, ваше высокоблагородие.

Флигель-ад'ютант Перовский вмешался:

— Не тронь, капитан не взят, а сам явился. Пойдемте к государю.

За стеклянной перегородкой виднелись арестованные офицеры. Бестужев разглядел высокую фигуру Розена. Затем, следуя за Перовским, поднялся по мраморной лестнице, мимо людей, бесшумно скользивших вверх и вниз. Ему были отлично знакомы и эта бесконечно длинная, густо раззолоченная галлерея, и аппартаменты, отделанные в мавританском вкусе, и зимний сад с кадками тропических растений, звонко плещущим фонтаном и буйно кричащими птицами, и высокие голландские камины из резного дерева, и паркеты маркетри, и дубовые потолки, и бронза, и гобелены, и статуи. Он и не приметил, как очутился в приемной зале императорских покоев, наполненной тихо шептавшимися военными.

Дверь кабинета распахнулась, и Николай вышел в залу. Первый, кого он заметил, был бледный, но ловкий и подтянутый, хотя и без сабли, Бестужев, рядом с Перовским. Николай сделал знак Перовскому и вернулся в кабинет. Перовский повторил:

— Пройдемте к государю.

Бестужев подошел к Николаю по всем правилам фрунтового устава и, смотря ему в глаза, спокойно и твердо проговорил:

— Преступный Александр Бестужев приносит вашему величеству свою повинную голову.

Николай сделал шаг к Бестужеву и остановился, пристально его разглядывая. Бестужеву показалось, что он позирует, стараясь казаться простым и даже как бы тронутым чрезвычайными обстоятельствами этой встречи. На лице его беспрерывно сменялись выражения строгости, торжественности и снисходительно-

сти. «Какая быстрая смена масок!» — успел подумать Бестужев. Вдруг маска снисходительности окрепла. Император улыбнулся сперва одними глазами, потом одним ртом, — доказательство страха и напряженной осторожности.

— Радуюсь, что вашим благородным поступком вы даете мне возможность уменьшить вашу вину. Будьте откровенны в ответах и тем докажите искренность вашего раскаяния.

Николай поднял перед собой бледную руку.

— Но как ты попал в заговор? Зачем?

Еще со вчерашнего вечера дворец был превращен в с'езжую. За ночь через кабинет императора прошло около десяти заговорщиков. Но ни бессмысленно глядевший в одну точку Щепин, ни ползавший на коленях Трубецкой, ни молчаливый Сутгоф, ни даже Рылеев, сам задававший себе вопросы и тут же на них отвечавший, — никто из них не сказал Николаю такой простой и понятной вещи, как Бестужев. Действительно, эти «несчастные» могли понимать события последних недель как результат подлинного междуцарствия и, чувствуя себя свободными от присяги, поступать в соответствии с этим. Разговор продолжался долго...

. . . .

Дежурный по караулам приказал конвою вести Бестужева в крепость. Солдаты окружили арестованного, ожидая команды. Он скомандовал сам:

— Марш! — и зашагал в ногу.

Глухое эхо под крепостными воротами провожало шаги. Бестужев отряхнул снег с сапог на под'езде комендантского дома и вошел со своими конвойными в небольшую комнату, где была устроена домовая

церковь. Через несколько минут раздался стук деревяжки о пол, и в комнате появился комендант крепости генерал-от-инфантерии Сукин. Это был седой старичок с брюшком и серыми глазами, полными бесконечного равнодушия ко всему на свете. Он ловко повернулся на своей деревянной ноге и сказал ледяным голосом:

— Я имею высочайшее повеление содержать вас под строжайшим арестом. Господин плац-майор Подушкин отведет вас в номер.

Только тут Бестужев заметил толстого офицера с провалившимся носом и разбитной улыбкой гулящей бабы.

Плац-майор сделал знак, и на голову Бестужева набросили плотный холщевый мешок. «Пытка!—мелькнуло в голове арестанта,—ведут пытать»... Подушкин взял его за руку и повел. Они вышли из комендантского дома и зашагали по обледенелым деревянным мосткам.

— И-и-и, батюшка, — гнусавил Подушкин, спотыкаясь и обнимая Бестужева за талию, — то ли еще случается... Было бы здоровье, батюшка, вот что... Выйдете отсюда, служить станете, генеральство выслужите, за границу поедете, мне английский сервиз привезете... И-и-и... А покамест — сюда пожалуйте!

В темном и грязном коридоре с Бестужева сняли мешок. Ночник на выступе печки чадил нещадно. Солдат с грохотом отодвинул засов, и Подушкин ввел своего пленника в каземат. Это была крохотная комната с окном, стекла которого были замазаны мелом и прикрыты толстой ржавой решеткой; труба железной печки проходила под сводчатым потолком; госпитальная постель с бумажным одеялом и засаленной пестрядевой подушкой, столик, стул, судно составля-

ли меблировку. Сумрачный полусвет дрожал в каземате.

Плац-майор подошел к Бестужеву и вдруг нежно приник к нему всем телом, одновременно с поразительной ловкостью проводя руками сзади, спереди, по бокам.

— По положению-с, — сказал он со вздохом, — а теперь прошу раздеться.

Через минуту на Бестужеве осталось одно нижнее белье, прикрытое халатом из серого сукна. Подушкин вежливо простился, солдаты вынесли мундир, брюки, ботфорты, громыхнули засовы, визгнули замки, и Бестужев сел на постельный тюфячок, оставшись в совершенном одиночестве.

Часа два сидел он неподвижно, стараясь разгадать, в какой части крепости находится его каземат. По кое-каким мелким признакам, — он не мог бы даже определить их словами, — ему казалось, что это должно быть где-нибудь возле Никольских ворот, к парку, на левой стороне. Он не ошибался.

В полдень принесли обед, — щи, кусок говядины и гречневую кашу на оловянной тарелке. Бестужев спросил солдата:

— Не Никольская ли это куртина, дружок?

Солдат внимательно посмотрел на него и вышел молча. Прислуге было строго запрещено отвечать заключенным на вопросы.

Еще в девятом часу утра, сейчас же после разговора с императором, в соседней зале допрашивал Бестужева генерал Левашов. Он сидел за раскрытым ломберным столом, кудрявый, красивый и улыбающийся, по придворной привычке, и, не смея говорить с арестованными по-французски, жалко коверкал русские

слова, заполняя листок за листком безграмотными фразами. Бестужев подписал текст первого своего письменного показания. Оно было осторожно и не заключало в себе ни одного лишнего слова; все названные в нем фамилии уже произносились или императором или Левашовым; из главных — Рылеев, Трубецкой, Оболенский, Каховский, Иван Пущин; «болото» заговора оставалось пока неизвестным следователям, и Бестужев удачно промолчал о нем.

Три дня прошли как один — длинный, томительный, пустой и недужный. В каземате было сыро — оставшиеся от прошлогоднего наводнения мокрые узоры все еще плыли по стенам. Печная труба докрасна раскалялась при топке, но грела только потолок; пол был холоден, как невский лед. Бестужев часами не мог согреться, сидя на койке с поджатыми ногами. Мыслей не было, и чувства вдруг замерли и притупились — страшное напряжение мятежного дня вихрем прошло через мозг и сердце, испепелив их.

18 декабря Подушкин вошел в каземат № 1 Никольской куртины в сопровождении солдата с узлом, в котором громко позвякивало что-то металлическое. Потом застучала деревяжка и появился Сукин. Его глаза были еще холоднее, чем при первой встрече.

— Я получил высочайшее повеление заковать тебя, — сказал комендант, повернулся и вышел.

Люди бросились на Бестужева, усадили на стул, вытряхнули из узла двадцатидвухфунтовые железа и живо надели их на ноги и руки арестанта. Подушкин встал на колени и защелкнул замки на кандалах, обернув наручники тряпкой.

Железа давали себя чувствовать при умывании. Руки Бестужева были раз'единены болтом. «Теперь не скажешь,—подумал он,—что рука руку моет». Солдат

ополаскивал ему отдельно каждую руку. Лицо он мыл себе сам одной рукой.

Утром — Подушкин с неизменным вопросом о здоровье, потом чай с булкой, обед, ужин, ночь с вонючей лампадой на окне и подглядываниями из коридора каких-то людей в валенках для соблюдения тишины, безгласные солдаты, тяжкое недоумение насчет желез, прикидка и так и этак и невозможность разгадать причину гнева Николая, — дни ползли и тащили за собой Бестужева, как тачка с прикованным к ней тягальщиком в черной шахте.

26 декабря поздно вечером, когда Бестужев уже лежал на своей койке, отбиваясь от больших рыжих водяных крыс, загремели затворы и вошел Подушкин.

— Вставайте, батюшка, поедем, — сказал он, — приоденьтесь.

Сторож разложил на койке мундир и брюки Бестужева.

— Куда вы меня повезете, Егор Михайлыч?

— И-и-и, батюшка, куда, куда, — куда надо, туда и поедем.

Бестужев оделся; сторож накинул на него измятую беличью шубу; Подушкин вынул из кармана грязный носовой платок и завязал ему глаза. Вышли из каземата, из куртины; свежий, морозный воздух ударил в лицо. Бестужев делал жадные глотки. Но тревога его усилилась, когда он почувствовал, что сажают в сани. Лошади дернули, проскакали в об'езд каких-то строений несколько сот саженей и стали. Бестужев — в зале, за ширмами. Ему видно сквозь платок и ширмы, как ходят по зале жандармы, аудиторы, плац-ад'ютанты и прочая мелкая субалтерия. Скрипят перья, звенят шпоры, сыпятся шутки, ярко горят све-

чи. Затем его ведут через несколько комнат и вводят в ярко освещенный покой.

— Можете открыться!

Две дюжины восковых свечей горят на огромном столе, покрытом красным сукном. Председательствует военный министр Татищев, худенький, согбенный старик с бесстрастным и добрым лицом. Справа и слева от него — великий князь Михаил, князь А. Н. Голицын, генералы Голенищев-Кутузов, Бенкендорф, Дибич, Левашов, Потапов, Чернышов. За отдельным столиком — секретарь А. Д. Боровков, добрый знакомый Бестужева по Вольному обществу любителей российской словесности. Если бы не Боровков, — торжественная картина, развернувшаяся перед изумленными глазами арестанта, очень напомнила бы таинственные заседания венецианского Совета Десяти, только без il ponte dei sospiri*, а то бы и концы в воду.

Чернышов поправил на голове курчавый, как бараний затылок, парик и, избоченясь в креслах, произнес с невыразимой важностью:

— Приближьтесь.

Бестужев сделал несколько шагов, звеня цепями, и поклонился. Члены комитета начали задавать ему вопрос за вопросом, — об основателях тайного общества в Петербурге и рядовых членах, о причинах, побудивших Бестужева войти в заговор.

На этот последний вопрос он ответил так:

— Входя в общество по заблуждению молодости и буйного воображения, я думал через то принести пользу отечеству в будущем времени, если не делом, то распространением либерализма. Приманка новизны

---

* Мост вздохов (итал.).

и тайны также немало в том участвовала и мало-помалу завлекла меня в преступные мысли.

Чернышов вдруг поднялся и спросил грозно:

— Вы были во все время в карре с бунтующими,— кто убиец графа Милорадовича?

Смутная догадка ворвалась в сознание: «Уж не меня ли подозревают в убийстве?» Дрожь пробежала по телу Бестужева, и он отвечал поспешней, чем, может быть, следовало:

— Я слышал, кто-то произнес, что по нему выстрелил Каховский. Тем более думаю это, что он раза три брал и отдавал мне пистолет, чтобы погреть руки.

Члены комитета переглянулись. Бенкендорф вздохнул и сказал кротким и тихим голосом:

— Пойдите. Вам зададутся вопросы письменно, и вы должны будете отвечать также письменно.

Затем все вместе, перебивая друг друга, стали уговаривать Бестужева не таиться, особенно подчеркивая, что государь доволен его первыми ответами и что от искренности и правдивости дальнейших показаний зависят снисхождение, милость и, при известной доброте сердца его величества, даже полное прощение.

— Пойдите...

Кто-то подскочил сзади и завязал платком глаза. Потом — скрип перьев, смех и шпоры, беличья шубка, сани, свежий воздух, звон запоров и снова — сырой, холодный, полутемный каземат.

Поражение вовсе не кончилось на Сенатской площади; оно продолжалось и здесь — в могильной тишине государственной тюрьмы. Здесь оно заканчивалось мучительными признаниями перед самим собой, страшными открытиями внутреннего бессилия и глу-

боким разочарованием в предпринятом с таким энтузиазмом деле. 14 декабря убедило Бестужева, что он, так успешно поднявший на восстание первые роты солдат, не был, однако, революционером, хотя и очень желал им быть.

«Воображение скачет на почтовых, а размышление тянется на долгих», — скажет Бестужев впоследствии, вспоминая страшные дни и ночи казематских дум. Смерть угрожает всякой идеологии, когда она не может служить практике. Бестужев переживал в тюрьме смерть своей идеологии. Чем выше был градус кипения его настроений при выводе московцев из казарм, тем губительнее оказался приступ растерянности на площади, а теперь от прежнего под'ема не оставалось даже и самых жалких клочков.

Принесли пакет за черной печатью с вопросными пунктами из Комитета и с перенумерованными листами чистой бумаги для ответов. Начерно писать запрещалось. Вопросы были те самые, которые предлагались Бестужеву в Комитете устно. Он принялся сочинять ответы, стараясь внушить Комитету взгляд на происшедшее, который установился у него теперь. В своей гибели он видел гибель революции, и смешно было бы обманывать, путать, затемнять. Приходилось говорить прямо о цели движения и его средствах, представляя то и другое с соблюдением собственного достоинства и не без грустной иронии по адресу рушившегося идеала.

Он потребовал от Подушкина бумаги и 10 января написал обширнейшую записку об историческом ходе развития свободомыслия в России, адресовав ее непосредственно царю. Записка из каземата № 1 Никольской куртины представляла собой блестящий образец политической публицистики, исполненной ума, начитанности, сведений, наблюдений, экономических

комментариев к истории политических настроений в России после 1812 года. Это — целая летопись исканий, падений, взлетов, побед и поражений мыслящих русских людей бестужевского поколения, развернутая на фоне страстно и гневно показанного государственного и общественного развала. В своей записке Бестужев искренен до конца. Это видно из того, что он выступает в ней горячим защитником прав третьего сословия — купечества и мещанства, — класса «почтенного и значительного во всех других государствах, у нас ничтожного, бедного, обремененного повинностями». Чтобы Бестужев мог так писать при его симпатиях к общедворянской традиции, не растерянных полностью до самого 14 декабря, ему надо было с величайшей честностью договориться с самим собой, и он, несомненно, это сделал. Он не забыл упомянуть и об исторических воспоминаниях, «ласкавших его самолюбие» примерами дворцовых революций; и о страхе, который чувствовал перед деспотизмом Николая, угрожавшего «гонением всем умным и благонамеренным людям». Как интеллигент-литератор начала века, он раскрыл корни российского либерализма с ясностью, доступной сильному и свежему уму; как политический преступник, он не побоялся почтительностью внешних форм лишь подчеркнуть полные гражданского пафоса и жестокого осуждения страницы своей памятной апологии.

Записка пошла к царю. Однако чем искреннее был Бестужев, тем больше от него хотели знать. Комитет потребовал сведений о внутренней организации тайного общества, — Бестужев дал их. Затем он написал, также по требованию Комитета, характеристики главнейших деятелей общества — Трубецкого, Оболенского, Никиты Муравьева, Рылеева, Ивана Пущина, Штейнгеля, Одоевского, Каховского, Сутгофа, Арбу-

зова, Ростовцова, Якубовича, Торсона, Щепина-Ростовского, своих братьев. Сопоставляя показания Бестужева с грудами накопившегося, строго проверенного материала, Комитет приходил к выводу, что узник из каземата № 1 Никольской куртины не лукавит. От Бестужева потребовали новых показаний по вопросу о том, кто нанес графу Милорадовичу 14 декабря штыковую рану в бок, — Николаю почему-то казалось, что это не обошлось без участия бестужевской руки. И все же 21 января Комитет постановил ходатайствовать «перед его величеством, чтобы капитана Бестужева расковать, сколько во уважение кротости и чистосердечия, каковые он показал при допрашиваниях в Комитете, столько и для того, чтобы, почувствовав снисхождение, он усугубил искренность и признания».

•

В начале весны Подушкин передал Бестужеву письмо от Прасковьи Михайловны. Письмо было запечатано, никаких признаков изучения в крепостной канцелярии на себе не носило, и руки Бестужева дрожали, когда он разрывал конверт. Да, почерк матушки — старинные витиеватые буквы: вместо «в» — две палочки, прикрытые сверху и снизу, «ш» невозможно отличить от «т», и все — своеручное, неумелое, почти детское. Подушкин отошел к окну, любуясь впечатлением от трогательной картины. Бестужев читал, и руки переставали дрожать, а сердце билось все ровней и спокойнее. Словно под диктовку какого-нибудь генерала-ад'ютанта, Прасковья Михайловна обращалась к сыну со слезной мольбой верить в милосердие государя, которое будет точно соразмерно с чистосердечием признаний. Старушка извещала также сына о том, что государь назначил ей, а по смерти — дочерям

ее, пятьсот рублей ассигнациями годовой пенсии. Все это было изложено в выражениях самых торжественных и велеречивых. Бестужев прочитал письмо и, заметив протянутую руку плац-майора, с самым равнодушным видом вложил в нее казенное послание. Подушкин ушел разочарованным.

Приблизительно в это же время Бестужева стали изредка выводить на прогулку. Сначала прогулка заключалась в том, что ему разрешалось постоять минут десять в огромных сенях куртины с окном без рамы, через которое широким потоком вливался свежий воздух. Потом начали выводить на прогулку по крепостным стенам. Со стен открывалась забытая картина — город, площади, набережные, дворцы, снующие по улицам точки-люди и экипажи, похожие на черных тараканов. Когда Бестужев в первый раз поднялся на стену, солнце его ослепило, и он закрыл глаза рукой, приучая их сперва к розовому полумраку пригоршни. Земля качалась, словно под ногами моряка, сошедшего после плавания на землю. Он вырвал из-под какой-то черепицы первую весеннюю травинку, поцеловал ее с жадностью и, случись тут дерево, кажется, бросился бы к нему с об'ятиями, как к другу. В талые полдни начали открывать верхнюю часть окна в его каземате. Бестужев, подтянувшись на руках, крепко держался за решетку и смотрел на ялики, скользившие по реке. Как-то ему показалось, что он видит в одной из лодок сестру Лешеньку. Это могло быть ошибкой зрения, бредом, чем угодно, но оказалось фактом. Скоро через гарнизонного солдата, убиравшего каземат, завязались у Бестужева словесные переговоры с Еленой Александровной. Вероятно, этот солдат был сыщиком, потому что действовал необыкновенно смело и решительно, но поручения передавал со всей исправностью, за что и закармливали его на

Васильевском обедами до одури. Бестужев просил Елену Александровну прислать ему в пироге записочку с сообщением о ходе дела, но она знала не больше, чем он, да и боялась. Зато сам Александр Александрович был неосторожен до крайности. Так, однажды, увидев переезжавшую через реку сестру, он выбросил в окно оловянную тарелку, нацарапав на ней что-то. За это Подушкин не велел недели две открывать в его каземате верхнюю часть рамы. Но Елена Александровна продолжала свои наезды к Никольской куртине, и когда окно каземата № 1 опять начало открываться, проходила мимо, задерживаясь, чтобы пропустить какой-нибудь медленно тянувшийся воз с дровами и при этом сказать брату два-три слова. Стоявшие под окном на часах гвардейские солдаты видели эти проделки и усмехались. Они привыкли к посещениям бледной, худой девушки; неизвестно, что они думали, но встречали ее приветливо:

— Здесь, здесь, давно вас ждут.

По вечерам развлечения Бестужева были не так увлекательны. Его мучил заунывный бой курантов на башенных часах, раздававшийся с неумолимой, точностью через каждые пятнадцать минут. В этой печальной музыке было что-то такое, от чего сердце сжималось в судороге смертельной тоски, и часто казалось Бестужеву, что ум его мутится под ударами страшного маятника. Так и написал он в одном из своих показаний Комитету:

— Ум мутится...

Много радости доставило ему открытие способа, посредством которого оказалось возможным переговариваться с рядом сидящим заключенным. Способ состоял в перестукиваниях через стену, достаточно толстую, чтобы не пропускать голосов, но легко передававшую стуки. Была изобретена азбука: тридцать

букв делились на десятки, каждому десятку присваивался свой опознавательный стук. Все это было бесконечно утомительно и для уха и для мозга — слушающий постоянно путал гласные с согласными, а повторения фраз были пыткой для передающего. И все-таки Бестужев прыгал и скакал по каземату, когда, разобрал, наконец, ответ соседа на свой первый вопрос:

— Б-а-т-е-н-к-о-в.

К половине марта все главные и второстепенные участники восстания были обстоятельно допрошены Комитетом. Оставались невыясненными некоторые пункты разногласий в показаниях, которые легче всего было выяснять на очных ставках, и несколько отдельных новых показаний, бросающих на старые неожиданный свет. Бестужев уже знал, что Рылеев рассказал все, что только можно было рассказать Комитету, и даже больше того; он брал на себя ответственность за происшедшее, преувеличивая значение своих действий, чтобы устрашить правительство; вместе с тем откровенничал без меры, так как не ждал спасения ни для себя, ни для своих друзей, ни для революции. Он хоронил революцию вместе с собой, но хотел внушить правительству, что и похороненная — она жива. Каховский не сознавался ни в чем до половины мая, когда убедился, что выдан с головой. После этого он со всем жаром мести принялся топить всех, начиная с самого себя. Якубович и в Комитете был таким же болтуном, как в обществе.

Май был особенно тяжелым месяцем для Бестужева и, если бы не книги, которые начала в это время доставлять ему с разрешения крепостного начальства сестра Елена Александровна, его ум и сердце могли

бы погаснуть навсегда. Но он спасался от докуки комитетских «пунктов» и тревоги очных ставок тем, что читал Саллюстия и перевел почти всего Катилину. Били на башне куранты, а он щупал свой пульс и говорил с удивлением:

— Сердце мое шевелится еще!

Или даже:

— Душа моя все-таки растет.

С 17 декабря 1825 года по 17 июня 1826 года Следственный комитет заседал сто сорок семь раз. В первое время заседания происходили почти ежедневно с шести часов дня до полуночи. Преступники — всего 121 человек — уже были разбиты на одиннадцать разрядов *.

Об этом Бестужев, как и другие заключенные, не знал. Поэтому то, что случилось с ним 12 июня, было для него полнейшей неожиданностью. В первом часу дня вошел к нему плац-майор и сказал:

— Пожалуйте, батюшка, оденьтесь и поедемте в Комитет.

Бестужев оделся и тут только заметил, что безносое лицо Подушкина выглядело по-особому торжественно и официально. Еще больше удивился Бестужев, когда Подушкин вывел его из куртины с открытыми глазами. Так прошли они по крепости и поднялись на крыльцо комендантского дома. Дверь растворилась, и Бестужев увидел перед собой Никиту Му-

* Пять человек были поставлены вне разрядов и приговорены к смертной казни четвертованием, 1-й разряд (31 чел.) — к отсечению головы, 2-й разряд (17 чел.) — к политической смерти, остальные (85 чел.) — к каторге без срока, на срок, в ссылку, на поселение, в солдаты с правом выслуги и без этого права.

равьева, Матвея Муравьева-Апостола, Кюхельбекера в изорванном тулупе и валенках, — так его взяли зимой в Варшаве, — и еще двух незнакомых людей — генерал-майора с горбатым носом и штатского с бледным лицом и красивыми черными усами. Первый оказался князем С. Г. Волконским, второй — И. Д. Якушкиным. Матвей Муравьев-Апостол раскрыл об'ятия. С Никитой Бестужев поцеловался. Кюхельбекер накинулся с тысячью вопросов. Поговорить было о чем. Бестужева поразила мрачность Муравьева-Апостола — его мучительно тревожила судьба брата Сергея Ивановича*, — и какая-то больничная худоба всех. «Неужели и я таков же?»—подумал он. Подушкин вбежал с бумагой в руке и начал устанавливать шестерых преступников в какой-то ему одному известный порядок. Затем повел их через несколько комнат и, наконец, впустил гуськом в длинную залу. Посередине стоял огромный стол, покрытый красным сукном и изображавший букву П, а кругом стола заседали около ста сановников — члены Синода, Государственного совета, сенаторы в своих красных мундирах. Бестужеву приметилось сухое лицо Сперанского с выражением зубной боли и опущенная вниз серебряная голова Мордвинова, зачем-то разостлавшего на коленях большой белый платок. Члены Синода, тучные и румяные старцы, в негнущихся шелковых рясах, с бриллиантовыми крестами на черных клобуках, с любопытством привстали, чтобы видеть преступников. Многие генералы смотрели в лорнеты. Около большого стола помещался пюпитр,

* С. И. Муравьев-Апостол — руководитель восстания Черниговского полка на юге; при разгроме восстания был ранен, взят в плен с оружием в руках и доставлен в Петербург вместе с братом Матвеем.

за которым, вытянувшись, стояла деревянная фигура сенатского обер-секретаря. Министр юстиции, князь Лобанов-Ростовский, маленький сивый живчик в голубой ленте, бегал по зале, наводя порядок. Обер-секретарь начал вызывать подсудимых по фамилиям, — Бестужев с изумлением догадался, что это суд, что он уже осужден и услышит сейчас свой приговор, — каждый должен был, как на солдатской перекличке, отвечать: «я». Кюхельбекер по глухоте своей замедлил. Министр юстиции крикнул:

— Да, отвечайте, отвечайте же!

Обер-секретарь развернул свиток голубой бумаги — сентенция. Бестужев смотрел на медленные губы секретаря, слушал, и все происходившее казалось ему смешным и пошлым фарсом. Наконец, до него донеслось:

... «Штабс-капитан Александр Бестужев. Умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии, возбуждал к тому других, соглашался также и на лишение свободы императорской фамилии, участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен; лично действовал в мятеже и возбуждал к оному нижних чинов».

Обер-секретарь зачитал перечень провинностей остальных пяти товарищей Бестужева, затем приостановился и, пожевав губами, проговорил:

— Все сии суть государственные преступники первого разряда, осуждаемые к смертной казни отсечением головы.

В Бестужеве не дрогнул ни один нерв. Страшная сентенция ударилась в его ухо, но не потревожила ни мысли, ни чувства. Ему было все равно. Он даже выше поднял голову.

Секретарь все еще читал: император, снисходя к

чистосердечному раскаянию Бестужева и четверых его товарищей, отменил смертный приговор... Двадцатилетняя каторга... Все это доносилось до Бестужева словно сквозь сон.

Осужденных вывели. Их ожидали в соседней комнате священник, лекарь и два цирюльника с аппаратами для кровопускания. Услуги этого персонала не понадобились никому. Впрочем, доктор посетил Бестужева еще раз вечером в каземате. Ужин в этот день принесли раньше, чем обыкновенно.

Бестужев проснулся на рассвете от суматохи и шума в коридоре: отворялись и затворялись с грохотом двери казематов, плац-ад'ютанты, сторожа и солдаты бегали туда и сюда. Наконец, загремели затворы, с лязгом рванулись замки, дверь каземата № 1 распахнулась, и Бестужев увидел на пороге плац-майора Подушкина со свечой. У него было невыспавшееся, злое лицо, и красные глаза прыгали на безносом лице.

— Вставайте, почтеннейший, на экзекуцию, — просипел он, — одевайтесь живо...

Заря возникала светлыми полосками на черном туманном небе. Холод сковывал движения. Бестужева вели через крепость, он видел множество темных фигур, шагавших с разных сторон, в сопровождении конвойных солдат. На мосту возле Алексеевского равелина остановились. В розовых сумерках утра Бестужев старался разглядеть собравшихся кругом него людей. Среди множества незнакомых лиц он отыскал Батенкова. Гаврила Степаныч стоял в стороне и задумчиво грыз щепку. Оболенский заметно потолстел и особенно раздулся в щеках. Иван Пущин был веселее всех, узнавал о сентенциях направо и налево, сообщал о своей и, наконец, сказал что-то такое, от чего раздал-

ся общий хохот. Подошла рота павловцев, и осужденных вывели из крепости через Петровские ворота на луг позади Кронверкской куртины, где полукругом стояли шефские роты и лейб-эскадроны от всех гвардейских полков. Но самое поразительное, что метнулось в глаза Бестужеву сразу же по выходе из крепости, была виселица, — столбы с перекладиной над помостом и пятью веревками, слабо колебавшимися в полумраке. Палачи в красных рубахах разгуливали под веревками по помосту. Бестужев спросил с ужасом у соседа:

— Для кого это?

— Пестель, Рылеев, Каховский, Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин...

Действительно, эти пятеро отсутствовали среди выведенных на экзекуцию преступников. Холод утра показался Бестужеву горячей огня. Сердце его вдруг растопилось в пламенном чувстве, которому нет названия — так полно оно и многосторонне, и слезы обожгли щеки. Прощай, Рылеус! Прощай, Конрад!

Гвардейцев выделяли из толпы осужденных и ставили перед частями полков, в которых они служили. Пылали, дымя и треща, костры. Несколько генералов гарцовали, отдавая распоряжения. Но всех деятельнее был Чернышов; разодетый по-бальному, в ленте, с лорнеткой, он с озабоченным видом летал по рядам, что-то говорил, о чем-то усиленно хлопотал. Экзекутор выступил вперед и начал читать всем уже известную сентенцию; его голос глухо раздавался в тумане; чтение продолжалось долго. Затем осужденным приказали стать на колени. Бестужев сделал это с недоумением. Фурлейт подошел к нему и, взявшись руками за концы казенной шпажонки, взмахнул ею в воздухе. Шпага, очевидно, плохо подпиленная, не сломалась. Удар пришелся по голове Бестужева — он

качнулся, но устоял на коленях. Это произошло не только с ним, — до Бестужева долетел гневный возглас Якушкина:

— Если ты повторишь еще раз такой удар, ты убьешь меня до смерти.

Генерал-ад'ютант Голенищев-Кутузов подскакал и, узнав, в чем дело, рассмеялся.

С Бестужева сняли мундир и бросили в костер. Пламя взвихрилось фонтаном искр, притухло и снова поднялось буйным оранжевым винтом. — Прощай, все! Прощай, Рылеус! Прощай, Конрад!

Экзекуция кончилась. Осужденные поднялись с колен и столпились в кучу. Это было необыкновенное зрелище. В лазаретных халатах, накинутых вместо мундиров, в круглых шляпах, черкесских папахах, киверах и ботфортах, — толпа осужденных выглядела маскарадной процессией.

Через час Бестужев был уже снова заперт в каземате и обдумывал происшедшее. Странное дело, применительно к его собственной судьбе оно не произвело на него большого впечатления. Несправедливое ожесточение, столь очевидно проявленное правительством в приговоре, возвышало Бестужева, ставило его на какое-то совсем новое, значительнейшее место в жизни. Приговор и звание каторжника отделяли его непереходимой пропастью от блестящего прошлого. Но эта самая невозвратимость заставляла ощущать жизнь совсем по-новому. Может быть, это была отвага отчаяния, — такой отваги, как теперь, Бестужев никогда не ощущал в себе.

Ефрейтор вошел с обедом. Лицо его было бледно, и нижняя челюсть тряслась.

— Что с тобой? — спросил Бестужев.

Ефрейтор рассказал: за крепостью совершился ужас — повесили пятерых, трое сорвались, повесили

снова. Один, маленький, качался в мешке дольше других...

Бестужев упал на койку и зарыдал.

«Прощай, Рылеус! Ты погиб, как преступник. Но да вспомянет тебя Россия!»

На следующий день после экзекуции Бестужева вызвали в комендантский дом и провели в гостиную генерала Сукина, который сидел на диване перед дымящимся чайником, далеко вытянув вперед деревянную ногу. Кроме генерала, Бестужев нашел в гостиной сестру Елену и братьев Николая, Мишеля и Петрушу. Это было свидание — с поцелуями, слезами, горячими об'ятиями, — восстание из могилы, а не простое свидание. Генерал пил чай с блюдечка, по-солдатски, в разговоре участия не принимал и часто выходил в соседнюю комнату нето по делам, нето, чтобы не мешать чужому счастью.

Елена Александровна говорила:

— Ну, братья, не отвечаю за других, а мы с вами свидимся, мы разделим вашу участь в Сибири.

Николай Александрович шутил:

— Какую мы колонию там устроим, как заживем!

Свидания эти начали повторяться через каждые четыре-пять дней. В короткие минуты, когда комендант уносил из гостиной свою деревяжку, Елена Александровна торопливым шопотом передавала городские новости.

С обширным и все пополнявшимся запасом этих новостей Бестужев дожил до 5 августа. Под вечер в каземат вошел крепостной плац-ад'ютант Трусов и приказал готовиться к от'езду.

— Куда?

— В Финляндию.

В сумерки он появился опять и повел Бестужева в комендантский дом. Дорогой советовал остерегаться фельд'егеря и ни в каком случае не говорить при нем по-французски.

— Почему? — спросил Бестужев.

— За такой поступок он имеет право оставить вас без обеда, — серьезно отвечал плац-ад'ютант.

Бестужев вспомнил Горный корпус, где оставляли без обеда за разговоры по-русски, и расхохотался.

В комендантском доме уже ждал отправления Якушкин. Вскоре привели Матвея Муравьева-Апостола, Арбузова и Тютчева, капитана Пензенского полка, из пестелевских, бывшего семеновца. Бестужев был в венгерке, Арбузов и Тютчев — в казенных арестантских куртках и шароварах из грубого серого сукна. У комендантского под'езда стояли повозки и расхаживали жандармы. Бестужев громко повторил фразу, сказанную Вольтером при выходе из Бастилии:

— Итак, благодарю за хлеб, но прошу не отводить мне больше этой квартиры.

Якушкин и Тютчев засмеялись, Матвей Муравьев и Арбузов вздрогнули — они отвыкли от смеха.

АВГУСТ 1826 — ОКТЯБРЬ 1827

> Когти у них такие крепкие, длинные и острые, что никто, будучи схвачен ими, уже не вырвется.
>
> *Рабле.*

НОЧЬ была черна, как сажа. Пахло гарью — вокруг Петербурга горели леса. До Парголова тащились около трех часов. Станционный дом сверкал огнями. Повозки стали, и с крыльца сбежали наряд-

ные дамы с радостными восклицаниями. Матвей Иванович Муравьев-Апостол переходил из об'ятий сестры Е. И. Бибиковой на грудь тетки — Е. Ф. Муравьевой. Якушкин целовал жену — молодую и красивую женщину, ласкал детей, почтительно благодарил за любовь и внимание тещу. Бестужев стоял в стороне с протоиереем Казанского собора Мысловским, приехавшим проводить своего старинного антагониста, «афея» Якушкина. О Мысловском Елена Александровна еще в крепости на свиданиях рассказывала необыкновенную вещь. 15 июля, когда по Сенатской площади, после торжественного очистительного молебствия, проходили перед императором стройные шеренги гвардейских полков, протоиерей Мысловский, надев черные ризы, служил в Казанском соборе панихиду по усопшим Павле, Кондратии, Сергее, Михаиле и Петре. Якушкин не сомневался, что этот священник, подосланный правительством к узникам Петропавловской крепости, постепенно сделался их единомышленником и искренним другом.

Бестужев любовался счастьем своих спутников. В разговорах о будущем, в горячке предположений и планов о совместной жизни на каторге прошла ночь. Под утро фельд'егерь Воробьев решил отправляться. Снова поцелуи, об'ятия, слезы и восклицания; глухо и тяжко падали в холодный рассвет последние советы и просьбы. Солнце поднялось и повисло в дыме далеких лесных пожаров. Только на следующий день вдохнул Бестужев прозрачный воздух Суоми * и понял, что путешествие в Роченсальм не хуже приятнейшей из прогулок. Было приятно говорить, просто говорить; возможность вслух обмениваться мыслями после восьмимесячного затворничества в каземате ка-

* Финское название Финляндии.

залась блаженством. Когда путешественники начинали горячо беседовать по-русски, фельд'егерь Воробьев предупредительно замечал:

— Парле франсе, мусье *, — что выходило у него необыкновенно торжественно.

На какой-то станции, за обедом, Бестужев начал доказывать Якушкину, что при всей неподготовленности предприятия 14 декабря, оно было на шаг от успеха, и приводил в подтверждение этой мысли множество соображений. У Якушкина на все была своя собственная точка зрения; он спорил и говорил, что неудача была неизбежна, как следствие проявленного членами общества нетерпения.

— Истинное назначение общества, — громко ораторствовал Якушкин, — состояло в том, чтобы быть основанием великого здания, основанием подземным, никем не замечаемым. Но мы слишком рано захотели быть на виду, превратив себя из фундамента в карниз.

— И потому упали вниз! — раздался неожиданный голос.

Тут только спорщики заметили кругленькую фигурку фельд'егеря Воробьева, внимательно слушавшего их разговор. Фельд'егерская сентенция отозвалась тотчас общим веселым смехом.

17 августа путешественники прибыли в Роченсальм, где были встречены с какой-то робкой осторожностью местным комендантом полковником Кульманом. Через полчаса комендант отправил их к берегу под конвоем, которым начальствовал бравый поручик гарнизонной артиллерии Хоруженко, обрядившийся зачем-то в полную форму. Впрочем, и сам комендант сопровождал арестантов до берега, где ждал их шестиве-

---

* Говорите, господа, по-французски (фр.).

сельный катер. Серое море катило волну за волной и несло неумолчный рокот прибоя. Катер шел не меньше часа. Наконец, замаячила впереди огромная круглая башня; казалось, что она поднялась прямо из воды — мрачное сооружение гигантских рук, окруженное седыми бурунами вечно возмущенного здесь моря.

-

Форт «Слава» был построен еще Суворовым; его крепостные сооружения были запущены и пропитаны раз'едающей сыростью. Поручик Хоруженко немедленно разместил своих подопечных по одиночным казематам. Замок щелкнул за Бестужевым; он огляделся. Русская печь, два окошка с тесовыми щитами перед каждым, кровать с ворохом соломы вместо тюфяка, стол, несколько стульев — все. Темница была угрюма, как склеп.

Хоруженко остался в форте начальствовать над узниками. Он установил для них суровый режим. Из каземата выводили только на прогулку и только поодиночке. Сам поручик заходил к заключенным с таким торжественным видом и так начальнически разговаривал, что поддерживать с ним беседу не было охоты ни у кого. Все это, однако, очень быстро надоело самому Хоруженко. Через несколько дней он сбросил с себя артиллерийский мундир с черным бархатным воротником, надел широкий засаленный халат с оборванными кистями и начал целые дни проводить в казематах с заключенными. Наконец, и казематы ему надоели. Тогда он стал собирать узников у себя за чайным столом. Разговоры получили характер простой непосредственности и сделались занимательными. Хоруженко много рассказывал о себе, философствуя. Его отец был казак, сосланный по

делу о восстании Пугачева в Архангельск. Обучался Василий Герасимович в кантонистском отделении и вышел оттуда солдатом в артиллерию. Смышленость и пригожий вид помогли ему получить фейерверкерские нашивки, а потом сам граф Аракчеев заметил его и произвел в офицеры.

— Вам, господа, — говорил он, покуривая трубку, — дворянство досталось даром, а потому и нипочем для вас. А я ценю его очень, потому что добыл спиной, на которой поломано немало палок.

Частые переходы от душевности и простоты к порывам начальнического восторга, столь свойственные поручику, утомляли и раздражали. Но гораздо хуже была другая особенность в характере Хоруженко: он был завзятый приобретатель, и естественным источником приумножения средств для него являлась служба. На несчастье заключенных, зять поручика, какой-то шкипер, подарил ему запас испорченной солонины, выброшенной с корабля. Эту солонину Хоруженко сейчас же обратил на продовольствие арестантов, пряча в карман пятьдесят копеек ассигнациями, отпускавшиеся на их суточное содержание. Все это он проделывал совершенно открыто, с фанатическим убеждением в правильности своих поступков, так как не представлял себе, чтобы какая-нибудь, даже самая мелкая, возможность обогащения оставалась не использованной. Когда ему говорили, что солонина — гниль и есть ее нельзя, он не спорил. Но на следующий день по казематам разносили ту же самую солонину в отвратительных щах с белой пеной и пузырями. Хлеб, доставлявшийся из Роченсальма, бывал всегда недопечен. Вода из крепостного колодца — солона до того, что пить ее можно было только со слезами на глазах. Все это привело к тому, что зимой у Бестужева обнаружился солитер. То же самое слу-

чилось и с Муравьевым-Апостолом, а Якушкина замучила гастрическая лихорадка.

Наступили холода. В казематах задымили печи. Бестужев проснулся ночью от странного ощущения смертельной физической тоски. У него ничто не болело, но ощущение смерти было так остро, что его охватил ужас. Он вскочил с койки. Пол каземата стремительно опускался вниз. Сверху с грохотом падали доски, валились кирпичи, рушился форт, мир превращался в огромные жернова, повороты которых грозили через мгновение уничтожить все. Бестужев закричал и прыгнул вперед. Ударился о дверь, огненные искры посыпались из глаз, — кончилась жизнь.

Часовой, стоявший у бестужевского каземата, услышал за дверью звуки борьбы и глухие крики. С кем мог бороться заключенный? С дьяволом. Солдат подхватил полы шинели и кинулся к унтерофицеру. Этот закрутил ус и, промолвив:

— То ли еще бывает, чорт-то на людей падок, — побежал будить поручика.

Хоруженко наспех собрал команду, надел мундир и в параде явился к странному каземату. Не сразу решились открыть дверь, но все-таки решились. Бестужев лежал на полу без чувств. Кровать была сдвинута с места, стол опрокинут, стулья поломаны. По каземату душными волнами ходила угарная вонь.

После этого случая Хоруженко позволил держать казематы открытыми в течение целого дня и запирать только на ночь, когда угар окончательно выветрится.

Несмотря на это приятное послабление, форт «Слава» оставался скучнейшей крепостью в мире. Бестужев томился отсутствием книг. У Матвея Муравьева была французская библия, у Якушкина —

Монтень, да сам Александр Александрович вывез с собой из Петербурга несколько старых английских журналов, томики Рем́блера и Гертнера. У коменданта форта не было ни одной печатной страницы, кроме Четьи-Миней и «Мальчика у ручья». Поэтому подлинным счастьем показалась французская рукопись последней части байроновского «Чайльд-Гарольда», с которой Хоруженко вернулся однажды из Роченсальма, сообщив, что какие-то тамошние дамы просили его передать эту рукопись заключенным.

Бестужев убивал время, давая уроки английского языка Якушкину и Муравьеву-Апостолу. Тютчев начинал грустить. Занимать тоскующего товарища было полезнейшим развлечением для Бестужева. Мертвая скука оборвалась в декабре, когда Хоруженко начал ежедневно выводить на крепостной плац свою команду и учить ее стойке и ружейным приемам. Он сообщил по секрету, что ожидает приезда в форт высокого начальства — финляндского генерал-губернатора А. А. Закревского. 15 декабря Закревский действительно приехал в форт, осмотрел полуразрушенные укрепления, поздоровался с командой, похлопал по плечу поручика, волчком прошелся по казематам и затем приказал собрать к нему заключенных. Хоруженко был потрясен, когда толстый и ражий генерал-губернатор вместо того, чтобы пушить арестантов за измену царю, передал Муравьёву-Апостолу об'емистый сверток, приговаривая:

— Сестрица ваша Екатерина Ивановна сделала мне честь своим поручением.

Генерал-губернатор привез также Якушкину от тещи его Н. Н. Шереметьевой сапоги на медвежьем меху, а Бестужеву вручил целый ящик с чаем, сахаром и табаком.

— Сие от меня в благодарность издателю «Полярной Звезды».

Тут только Бестужев вспомнил, что, рассылая в свое время бесплатные экземпляры «Звезды», он с Рылеевым аккуратно каждый год отправлял их в Финляндию солдафону Закревскому.

Непостижимая любезность генерал-губернатора к арестантам произвела оглушительное действие на роченсальмского коменданта Кульмана и Хорученко, не подозревавших до того времени существования неуловимых связей, соединявших каторжников с недоступным для бедных гарнизонных служак миром. Хорученко решительно отказался от начальнических настроений, и солонина исчезла из арестантского меню, перебравшись в артельный котел команды.

Однако заключенным категорически запрещалось писать. Это было громадным лишением для Бестужева. В голове его давно уже бродил план целой поэмы на «высокую историческую» тему из эпохи удельных княжеств на Руси. Бестужев редко писал стихи, но балладный характер жизни в форте «Слава» рождал строфу за строфой. Александр Александрович расщепил зубами какой-то жестяной обломок, смешал с водой искрошенные в пыль угольки и на табачных обертках принялся по ночам записывать свою поэму. Это было странное произведение: люди сложны не по веку, речи пышны не по людям и главный герой — князь Андрей Переяславский — гуманист и либерал, удивительно похожий на автора.

Я не умру в бездонной мгле,
Но сединой веков юнея,
Раскинусь благом по земле,
Воспламеняя и светлея!
И, прокатясь ключом с горы

Под сенью славы безымянной,
Столь отдаленной и желанной,
Достигну радостной поры,
Когда, познав закон природы,
Заветный плод во мгле времян
Людьми посеянных семян
Пожнут счастливые народы...

Якушкин находил, что слог поэмы вял, характеры действующих лиц не выдержаны и черты исторической обстановки бедны. Бестужев нисколько не сердился на критика, но защищался с отчаянным упорством. Еще был один предмет частых споров его с Якушкиным. На Бестужева стали слетать минуты глубокого уныния. Иногда ему казалось, что форт «Слава» будет его прижизненной могилой, и тогда он хватался за голову в приступах мучительной тоски. Иногда он начинал бояться, что, даже отбыв срок наказания и вернувшись к общению с людьми, он навсегда останется для них отверженным преступником, ибо где люди, которые понимают, что для блага родины нет преступлений?

Летом 1827 года генерал-губернатор Закревский прислал в форт «Слава» своего офицера с поручением опросить заключенных и выяснить, не желают ли они отбыть в крепости весь срок своего наказания. Предложение это встретило единодушный отпор. Бестужев горячо доказывал, что неизвестность, ожидающая в Сибири, лучше того, что есть, хотя бы потому, что это — неизвестность, и все были с ним согласны. В конце сентября за Бестужевым приехал катер. Его перевезли в Роченсальм, а оттуда доставили на лошадях в Шлиссельбург, поместив на гауптвахте. Через несколько дней туда же прибыл и Матвей Му-

равьев-Апостол. Тишина грозной тюрьмы давила и убивала надежды. Солдаты возились с кандалами; звон цепей напоминал страшные дни. Шлиссельбург казался скверным завершением этого, столь радостно начатого, путешествия.

Однако Шлиссельбург был только этапом. Перед осужденными лежал тяжелый путь в далекую Сибирь. На Тихвинской станции, в комнатах смотрителя роскошно завтракал барин, которому служили с подобострастным усердием три лакея. Он вышел к Бестужеву и Муравьеву, как только их повозка остановилась у крыльца станционного домика, и убедительно просил откушать с ним вместе. Это был Римский-Корсаков, известный прошлой своей деятельностью масон, — мимолетный знакомый Муравьева-Апостола по дому графини Чернышовой. За завтраком Римский-Корсаков сообщил, что он именно их — Бестужева и Муравьева — поджидал на станции, что Сибирь — не шутка, поселение — не Демутов трактир, и требовал, чтобы путники приняли от него на дорожные издержки в виде ссуды шестьсот рублей. Все это говорилось с жаром такого искреннего сочувствия, что отказать—значило бы оскорбить старого масона, и шестьсот рублей перешли в пустые карманы странников.

Через Петербург Бестужев и Муравьев проскакали галопом. Впрочем их завезли на полчаса к начальнику штаба его величества, генералу барону Дибичу. Рыжий генерал, пыхтя, как самовар, вынес к ним свою неказистую фигуру и, внимательно оглядев худые лица преступников, — император любил знать новости из первых рук, — сказал, избегая произносить «вы» и «ты»:

— Милостью и великодушием непамятозлобного государя моего, освобождены от работ каторжные

Александр Бестужев и Матвей Муравьев-Апостол с обращением обоих в сибирские посельцы. Сверх сего, посельцу Александру Бестужеву дозволено писать и даже печатать, что захочет из сочинений своих, с условием токмо не писать и не печатать никакого вздору. До свиданья.

ОКТЯБРЬ 1827 — ИЮНЬ 1829

Странная Русь: высшими плодами являются люди, опередившие свое время до того, что, задавленные существующим, они бесплодно умирают по ссылкам.

Герцен.

Фельд'егерь вез Бестужева и Муравьева-Апостола через Ярославль, Вятку, Пермь и Екатеринбург. В этом последнем городе путешественники остановились у местного почтмейстера. Хозяин занимал их сперва любезным разговором в гостиной, а потом вдруг распахнулись двери в столовую, и празднично убранный обеденный стол предстал глазам людей, видавших раньше и не такие столы, но за два года жизни в казематах забывших, что подобные вещи существуют на свете. Семейство почтмейстера принимало государственных преступников, как самых дорогих гостей; пробки взлетали в воздух, пенилось шампанское, и бокалы один за другим осушались за здоровье «несчастненьких».

Через двадцать два дня пути странники прибыли в Тобольск. Губернатором здесь был Д. Н. Бантыш-Каменский, небезызвестный писатель и историк, человек любезный, хорошо знавший Муравьева-Апосто-

ла по совместной службе при князе Репнине, малороссийском генерал-губернаторе. Губернатор поместил проезжих у местного полицмейстера. В Тобольске они прожили около трех недель, окруженные вниманием и сочувствием. Дело дошло до того, что какой-то тобольский живописец написал даже портрет Муравьева с тем, чтобы доставить его сестре Матвея Ивановича — Бибиковой — в Петербург.

Наконец, повозка снова запрыгала по мерзлым колеям, фельд'егерь и квартальный из тобольской полиции скакали впереди. Ехали через Тару и потом Барабинской степью, где приходилось оттаивать снег, чтобы получить годную для питья воду.

В Красноярске губернаторствовал Д. Н. Бегичев, автор известного тогда романа «Семейство Холмских» и брат ближайшего друга Грибоедова, — Степана Никитича *. Бегичев принял путешественников самым любезным образом. Все эти встречи и любезности были очень приятны, но остановки в губернских городах страшно мучили Бестужева. Он прослышал о том, что братья Николай и Мишель едут впереди, и желание догнать их сделалось его болезнью. Он нетерпеливо просил провожатых ехать скорей, умолял Матвея Ивановича, с которым они, по знакомству его с тобольским губернатором, обращались особо почтительно, помочь делу. Но квартальный на ушко сообщил Муравьеву, что ему строжайше запрещено с'езжаться на станциях с отправленной вперед партией. Делать было нечего. Матвею Ивановичу не хотелось огорчать Бестужева печальной правдой, и он молча выслушивал его горькие упреки.

Через двадцать пять дней после выезда из То-

---

* Впоследствии Бегичев служил губернатором в Воронеже (1830—1836) и оказал немаловажные услуги А. В. Кольцову.

больска путники поздно вечером прискакали в Иркутск. Город плавал в тумане, которым дышала река Ангара, еще не замерзшая, несмотря на тридцатиградусный мороз. Переправились на пароме и остановились прямо перед под'ездом губернаторского дома. У губернатора был бал. Сквозь запушенные снегом окна сияли люстры, мелькали тени вальсирующих пар; на улице было слышно, как гремел оркестр. На крыльцо выскочил вспотевший от танцев чиновник во фраке и закричал:

— В острог их вези!

Ночевали путешественники в остроге. На другой день к ним присоединили Якушкина, Арбузова и Тютчева, которым предстояло скорое отправление в Читу. Встреча произошла вечером в бане, где банщиками, ловкими и услужливыми, были люди в цепях, со страшными клеймами на изуродованных лицах. В клубах пара, под густой мыльной пеной Бестужев распознал Якушкина и тут же крепко обнял его. Но радость, неизмеримо большая, ожидала Бестужева по возвращении из бани: Николая и Мишеля доставили в острог.

Губернатор Цейдлер * приехал к Бестужеву и Миравьеву с извинениями: допущена ужасная ошибка; освобожденные от работ должны помещаться на вольных квартирах. Напрасно они просили губернатора оставить их в остроге, не разлучая с близкими людьми, — Цейдлер был неумолим, ссылался на какой-то закон и требовал немедленного переселения. Однако кончил тем, что отвел Бестужева в сторону и сказал шопотом:

— Вашим братьям, которых завтра увезут в Читу,

* Увековечен Некрасовым в «Русских женщинах».

я разрешил провести эту ночь с вами. Понимаете? Я делаю беззаконие, но... Понимаете?

Бестужев понял, и слова благодарности бурным потоком полились с его языка. Ночь в Иркутске на 24 ноября была необыкновенной ночью в жизни братьев Бестужевых. Сколько рассказов, и какие рассказы! Сколько горечи, радости, надежд и отчаяния, смеха и слез! Но печали было больше, и Бестужев поразил своих братьев, не заметивших в нем и следа прежних искрометных «бестужевских блесток», — он был ровен и тих, отдаваясь грустному наслаждению последней встречи. Перед рассветом простились. Мишель подарил Александру свою немецкую библию, а тот ему «Parnasso italiano» *. Ангара катила страшную шугу. Николай и Мишель выехали из Иркутска верхом кругоморской дорогой — переправа через Байкал была невозможна, и подоблачный хребет Хамир-Дабаха стоял у них на пути.

7 декабря, в мороз, когда на небе дрожали овалы и полосы невиданного светоизвержения, Бестужев и Муравьев-Апостол покинули Иркутск и двинулись на север, сопровождаемые молодым казачьим урядником. Они ныряли между снеговыми холмами, скользили по обветренному насту и, сберегая лица от ледяного дыхания пустыни, закутанные, обвязанные в теплое, как бурятские тайши, вечером 31 декабря, под новый год, в'ехали, наконец, в Якутск.

Две с половиной тысячи жителей, две с половиной сотни бревенчатых необшитых домов, шесть церквей, монастырь, школа, богадельня, пять лавок с двумя купцами и девять кабаков,—это Якутск. Улицы пря-

* «Итальянский парнас» (итал.).

мизной, простором и безлюдностью походили на гигантские пустыри.

В Якутске имел резиденцию начальник области Мягков, давно уже неживший на заячьих пуховиках в своей недосягаемой для петербургских щупальцев столице. Он принял ссыльных с сочувственным любопытством, но тут же и огорчил их: имелось повеление отправить Муравьева-Апостола дальше, в Вилюйск. Бестужеву надлежало устраиваться на житье в Якутске.

Александр Александрович разместился на наемной квартире, в дырявом домике, так странно построенном, что все наружные стены его состояли из окон да дверей, а внутренние — из печей. Холод и жар вели смертельную борьбу в этом скромном обиталище, но оно обладало неоценимым для Бестужева преимуществом — чистотой. Это было необыкновенно для Якутска, где сам начальник области тонул в грязном беспорядке своих брусчатых хором и говорил, оправдываясь:

— Люблю, знаете ли, рококо!

Еще в тюрьме мудрый Сенека научил Бестужева — «при известных обстоятельствах можно удаляться от жизни, но никогда не надо бежать от нее». Бестужев не бежал. От скуки он начал ходить к обедням и всенощным, читать и петь на клиросе. Мягков писал о нем хвалебные донесения, а молодые якутские дамы не могли без сладких замираний в сердце смотреть на высокого, стройного, широкого в плечах поселенца, носившего под дохой французскую венгерку, вывезенную из Петербурга. Бестужев видел в Якутске могилу, — ему хотелось лечь в нее принаряженным. Он просил Прасковью Михайловну и сестер в письмах, которые исправно отправлял с каждой почтой, прислать ему однобортный черного цвета

сюртучок, материю на жилетку, шейный платок, несколько пар цветных перчаток, пару бритв с прибором и две головные щетки. Итак, необходимость «произведена в добродетель», и участь «терпеливо пережевывается». Письма в Петербург и обратно идут медленно — их читает Третье отделение собственной его величества канцелярии. Еще медленнее идут письма в Читу к братьям Николаю и Мишелю — они путешествуют через Петербург, так как Третье отделение надеется прочитать нечто интересное и в этих замороженных судорожной осторожностью строках. Неизвестно даже, попадают ли они в конце концов к братьям — им воспрещено отвечать.

Зимой здешний день «короче якутского носа». Но уже в апреле ранняя весна пошла прогуливаться по бескрайным просторам городских улиц. Уже утренняя и вечерняя зори начали сходиться, и ночь под угревом вдруг запылавшего солнца без оглядки побежала к северу вместе с тающим снегом и громадами катящихся к морю ленских льдов. Однако природа скудна. Темный тальник одевает далекий яр; редкие сосны тянут кверху жидкие кроны.

Вскоре по приезде в Якутск необыкновенный поселенец узнал, что сердечные страсти не замерзают нигде. Старая слабость к щегольству вела его от успеха к успеху. Скоро он стал своим человеком в доме управлявшего местным откупом Колосова и писал стихи ко дню именин его супруги. Дом начальника солеваренных заводов Злобина также был всегда открыт для него.

Бестужеву казалось, что лень разрослась в нем, как крапива.

«Меня отбивает от работы недостаток в источниках, ибо здесь решительно нет ни одной классической книги, но, конечно, и лень, вкорененная долгою

отвычкою от занятий, прикладывает к тому свой вес. Винюсь и сам себе обещаю исправиться; но занятый свободой дышать чистым воздухом, как обновкой, я больше гуляю, чем читаю, и даю времени направить меня в колею ученья. Между тем часы идут, и незаметные дни уходят невозвратно» *.

Пришло лето, почти без зелени и без дождей, летняя жара разогревала землю только на аршин. Цветы, посаженные Бестужевым в восьми горшках, почти не поднимались, и грядка с огурцами выглядела могильным холмом. Якутск зашевелился: паузки и барки подплывали к городу с песнями; народ толпился на берегу, встречая и провожая; якуты катали бревна и грузили суда; солнце почти не заходило за Кангальский камень; огромные рыжие комары с яростью грызли все живое, неумолимые, как египетская казнь. В письме сестры Елены Александровны Бестужев прочитал о том, как маменька Прасковья Михайловна плакала при выступлении из Петербурга гвардии в турецкий поход; она жалела, что старшие сыновья ее не разделят славы будущей войны. Это — по-спартански. Бестужев понимал ее сожаления. Он завидовал брату Петруше, уже окурившемуся порохом под солдатским ранцем на солнечных равнинах Персии. Ему казалось, что и его «элемент — пороховой дым». Он жадно следил за известиями с театра турецкой войны и, вероятно, с совершенно искренним пафосом писал о победе «русского орла». Тоска по сильным ощущениям снедала его, и Якутск, летом похожий на огромный чувал в великой юрте Севера,

* Письмо к матери от 23.4.1828 («Памяти декабристов», сборник материалов, Л., 1926, т. II).

начинал казаться ему непереносимым несчастьем. Румяный вид и шутливое расположение духа, которые начали, было, к нему возвращаться, снова его оставили. С горя он сбрил бакенбарды и опустил усы вниз.

Таким увидел его свояк Никиты Муравьева, граф Захар Чернышов, отбывший по декабрьскому делу краткую каторгу в Чите и приехавший 23 июня в Якутск поселенцем на житье. Чернышов был худ и желт; рассказывал страшные вещи о читинской каторге; с удовольствием предавался воспоминаниям о прежней петербургской жизни. Бестужеву не о чем было рассказывать, но сказать хотелось многое. Новые друзья сняли на Никольской улице под общую квартиру свою целый дом о двух просторных избах, соединенных сенями; в каждой половине — чулан, прихожая, буфет, зал в два окна, спальня в одно окно. Хотели на будущий год пристроить общую комнату для обеда и чая. С Чернышовым из Иркутска приехала целая подвода книг. Греч и Булгарин прислали Бестужеву немецких и латинских классиков со словарями. Александр Александрович усердно читал, и прочитанное поднимало в нем вихрь собственных фантазий, просившихся на бумагу. Иногда ему казалось, что он в состоянии писать прозу и стихи «аршинами». Но он сдерживал себя, боясь раствориться в подражании. Кроме того, даль, время и неуверенность в судьбе написанного резали под корень творческие порывы.

Подошла осень, ясная и теплая, без духоты и комаров. Чахоточный блеск румянил деревья. Ярмарка, на которой Бестужев с Чернышовым закупили годовой запас продовольствия, отшумела в середине августа. Рыба исчезла из лавок; ягоду с'ели птицы, птиц — якутский чернобог. Бестужев и Чернышов приготовились ко всем зимним невзгодам, но с

октябрьскими тридцатиградусными морозами вселилась в домик на Никольской улице смертельная тоска. Товарищ, книги — прекрасно, но где же жизнь? Мир ограничен собственной головой; существование без цели обесценивается с каждым днем; капли скуки разбивают камень терпения; прежде призрак славы заставлял не бояться смерти; теперь — мрачная философия отверженности понуждает желать ее. Вчера утонуло в омуте страстей; завтра — лишено надежд; равнодушное сегодня тяготится и грузом прошлого и пустыми перспективами будущего.

Бестужев искал спасения от летаргии, читая шиллерова «Валленштейна» и ломая голову над гетевским «Фаустом». Он почти не выходил из дому. Чтение становилось его бытом.

Наконец, Бестужев не выдержал. Он принялся писать стихотворения к случаям и без случая, закуривая иной раз ими трубку, переводил из Гете, сочинял к именинам и на смерть своих новых знакомых, разработал в хорошем балладном стиле якутскую легенду о неверной жене под названием «Саатырь». В стройные строфы укладывались пейзажи, полные поэтического настроения:

Вей же песней усыпительной,
Перелетная мятель,
Хлад забвения мирительный,
Сердца тлеющего цель...
Хоть порой улыбка нежная
Озарит мои черты, —
Это радуга надснежная
На могильные цветы.

Он отправил в Петербург два стихотворения — «Финляндия» и «Алине», поручив сестре Лешеньке

попытаться пристроить их без подписи в каком-нибудь журнале.

Захар Чернышов был угрюм, как зимний вечер. Его угнетал Якутск: он плакал от холода; томился от необходимости проводить дни, наполненные глотками чая, клубами табачного дыма, вздохами и зевотой; бросил читать и ничего не писал, хотя раньше был большим охотником до словесности; перестал вспоминать о прошлом; порывы и утешительные мечты Бестужева действовали на него раздражающе; его отчаянию было нужно одиночество.

В начале января нового, 1829, года Бестужев расстался с Чернышовым, который перебрался на отдельную квартиру. Рушилось общее хозяйство, почти прекратились встречи. Чернышов заперся в своем домике и с судорожным нетерпением ждал, чем кончатся предпринятые в Петербурге хлопоты о переводе его рядовым на Кавказ. Война с турками кипела в Европе и в Азии. До Бестужева доходили слухи о младших братьях — Павле и Петруше. Они служили в армии Паскевича; Петруша отличился при взятии Ахалцыха и был произведен в унтер-офицеры; за Карс его представили к производству в прапорщики. Павлик был уже офицером и после нескольких дел, в которых геройски участвовал, вернулся в Тифлис. Бестужев жадно следил за карьерой братьев и хлопотами чернышовских родственников. О нем никто не хлопотал. Он решился на важный шаг. 10 февраля на имя начальника императорского штаба графа Дибича отправилось ходатайство Бестужева о переводе рядовым на Кавказ для участия в боевых действиях.

Письмо странствовало; автор его терзался ожиданиями. Прошло две недели. 25 февраля явился

фельд'егерь, забрал Чернышова и вывез его из Якутска с такой поспешностью, что Бестужеву не удалось даже проститься с ним. Это случилось на самой маслянице, когда дровни, покрытые коврами, шныряли по улицам и звон праздничных бубенцов наполнял город. Оставшись один, Бестужев долго не мог собраться с мыслями. От'езд Чернышова усилил тоску и расшевелил надежды. Кавказ начинал казаться обетованной землей, и от роз Сибири — снежных хлопьев — зажигались горячие мысли о будущем.

Медленно уходила зима. На крышах рдели под солнцем гроздья сосулек. Весна наступала сырыми оттепелями. Тревога природы отзывалась глубокими волнениями в сердце Бестужева. Оживали литературные интересы, зарождались широкие творческие планы. В эти дни нетерпеливых ожиданий Бестужев отыскивал «водораздел между классиками и романтиками» и сочинял трактат о романтизме. Он писал сестре Елене Александровне о новой идее, у него появившейся: можно было бы предложить петербургским книгопродавцам издание альманаха, целиком заполненного новыми оригинальными произведениями якутского заточника — стихами, прозой, критическими статьями, — совершенно похожего разнообразием содержания на мать всех альманахов — «Полярную Звезду».

«Я далек от самолюбия, но далек и от унижения, я знаю себе цену в мире русской словесности, хотя цену случайную, происшедшую от совершенного безлюдия в прозаиках, и следовательно, думаю, что сим окажу некоторую услугу языку отечественному» *.

---

* Письмо от 25.2.1829 («Памяти декабристов», сборник материалов, Л., 1926, т. II).

Подумывал он и об издании собрания своих сочинений, конечно, анонимном. Наряду со всем этим, как бы предчувствуя скорую разлуку с севером, Бестужев углубился в изучение наиболее поразительного явления полярной природы — северного сияния. И вот, он читает Франклина; согласен с Шубертом: причина сияния в горении азота, воспламеняющегося от падающих звезд. Рассуждает о свете, утверждая его вещественность и радостно следя за поразительными опытами Перкинса. Проблема земного магнетизма его занимает до крайности, — он готов плясать в восторге от того, что лейденская банка, Вольтов столб и компас действуют под влиянием одного закона и одной силы в разных ее видоизменениях. Гумбольдт, открывший видимое влияние северного сияния на магнитную стрелку и заподозревший существование магнетических бурь, становится его героем. Его очень интересует поездка на Камчатку прусского ученого, доктора Эрмана; цель поездки — изучить связь между колебанием компаса и северным сиянием. Все это не похоже на азотную теорию Шуберта. Где же истина? Якуты думают, что с небосклона Европы сбежала огромная звезда и что Эрман приехал ловить ее.

Около 10 апреля прусский ученый появился в Якутске. Ночью он стоял возле отведенного ему домика и, обвешанный трубами, инструментами и приборами, разглядывал в телескоп небо. Кругом робко толпились жители, — полгорода не спало в эту ночь. Мертвая тишина царствовала на просторной, заполненной народом улице. Бестужев долго стоял в стороне и, наконец, решился. Он подошел к Эрману и сказал по-французски:

— Не желаете ли познакомиться с человеком, который носит опасное имя Бестужева?

Доктор отскочил от телескопа и схватил Бестужева за руку.

В течение нескольких дней, проведенных Эрманом в Якутске, он был неразлучен с знаменитым изгнанником. Бестужев помогал ему составлять метеорологические таблицы для сравнения высоты местностей, и они разговаривали без конца. Эрман восхищался Бестужевым, энергичное лицо и ловкая фигура которого показались ему образцом красоты среди тяжелых и неуклюжих северян. Он много расспрашивал о событиях, втолкнувших его в этот печальный угол света. Бестужев отвечал искренно и просто. Встреча была случайной, прощание — трогательным *.

Дикие гуси с криком летели к морю. Весенний дождь барабанил в ставни. Одиночество становилось страшным. Тяжелая весть опрокинулась на Бестужева: Грибоедов убит в Персии.

«Не говорю уже, какую горесть почувствовал я о потере человека, которого приязнью имел счастье пользоваться, но не просто как человек, но просто как Русский, могу ли не горевать о такой безвременной кончине человека, которому счастье обещало все в будущем и который столько обещал отечеству познаниями и талантами!.. Сколько людей завидовали его возвышению, не имея и сотой доли его достоинств, кто позавидует теперь его паденью? Молния не свергается на мураву, но на высоту башен и

* В своей книге „Reise um die Erde“ (Berlin, 1838, II, 269—271, 274—275) А. Эрман рассказал о своих встречах с Бестужевым в Якутске очень подробно. По материалам Эрмана А. Шамиссо написал вторую часть поэмы „Die Verbannten“ («Изгнанники»), посвященную Бестужеву.

главы гор. Высь души, кажется, манит к себе удар жребия», — так писал Бестужев матери в Петербург 25 мая.

Между тем Елена Александровна сообщала, что Булгарин предлагает старому другу годовое сотрудничество в своих изданиях; издатель Аладьин купил для «Невского альманаха» два стихотворения Бестужева («Череп» и «Тост») * и охотно будет платить сто пятьдесят рублей за лист оригинальной прозы; книгопродавец С. ** не прочь взяться за издание сочинений Александра Александровича из половины выгод. Бестужев часто смотрел по ночам на бледное небо, где попрежнему сверкала Полярная звезда, и ему казалось, что лучи ее сыплются порой на бумагу. Надежда на переезд из Якутска бледнела с каждым днем; другие надежды уже зажигались в пасмурной душе Бестужева, когда 3 июня через порог домика на Никольской улице шагнул фельд'егерь Богомолов, прискакавший из Иркутска.

---

* Аладьин приобрел для своего альманаха у П. М. Бестужевой за 400 рублей повесть ее сына «Кровь за кровь», предназначавшуюся для «Звездочки» 1876 года, и напечатал под названием «Замок Эйзен». Это обстоятельство вызвало страшный переполох в Третьем отделении.

** Сленин или Смирдин? Устные переговоры не привели к соглашению и оформлены в документах не были.

ИЮНЬ 1829 — ДЕКАБРЬ 1829

...Моя вина
Ужасной местью отмщена!
А. Полежаев.

ИЗ ИРКУТСКА Бестужев выехал 4 июля в самом радужном настроении *. Скоро волнистые долины Иркутской губернии остались позади. Обь и Енисей прошумели, и печальная гладь Барабинской степи встретила путника сибирской язвой, от которой валились и лошади и люди. В повозку впрягали жеребят, на козлах сидели вместо кучеров привидения. 19 июля Бестужев был в Екатеринбурге, затем — Казань, Симбирск, Волга, Астрахань, Кизляр, Терек с гребенскими станицами и 3 августа Екатериноград, откуда начиналась Военно-Грузинская дорога. Вокруг телег с воловьей упряжкой собралось несколько колясок с проезжающими; подтянулась пушка, при ней — артиллерист с дымящимся фитилем; за пушкой — команда пехоты с заряженными ружьями и, наконец, конный казачий эскорт. Казаки стали по обеим сторонам транспорта, пехота отрядила авангард и арьергард, барабанщик ударил под'ем, и медленным ров-

* Он не знал о переписке, которая велась между Петербургом и Тифлисом:

«Государь Император всемилостивейше повелеть соизволил государственного преступника Александра Бестужева, осужденного по приговору Верховного уголовного Суда в каторжную работу и потом... сосланного в Сибирь на поселение, определить на службу рядовым в один из действующих против неприятеля полков Кавказского отдельного корпуса по усмотрению Вашего Сиятельства, с тем, однако же, что, в случае оказанного им отличия против неприятеля, не был он представляем к повышению, а доносить только на высочайшее благовоззрение, какое именно отличие будет им сделано».

Военный министр А. И. Чернышов гр. И. Ф. Паскевичу 13.4.1829, за № 270.

ным шагом двинулся вперед воловий обоз. Пушечный фитиль курился, солдаты зажигали от него трубки. «Оказия» еле дотащилась до Владикавказа. Отсюда пошли без пушки. Утренний туман клубился молочным паром. Сперва было холодно; потом стало вдруг жарко. Туман разбежался по низинам стадами белых баранов, и Кавказ встал перед глазами Бестужева. Как облака на горизонте, от Каспия до Понта тянулись опаловые вершины гор; голые утесы ущелий сияли под солнечными лучами, как полированный кристалл; на ледяных шапках вспыхивали алые пятна; тысячи радуг переливались в лучезарном блеске поднебесья; свет и тени волновались в волшебной игре, и все вместе было так прекрасно, что Бестужев закрыл лицо руками. «Это стоит кисти Сальватора!»

За Дарьялом, после Бешеной балки и деревни Казбек, невдалеке от поста Коби, самой подошвы Крестовой горы и грозного перевала, навстречу оказии, с которой ехал Бестужев, попалась повозка. Кто-то спросил провожавшего ее казака:

— Чье добро?

— Господина Пушкина, — отвечал казак нехотя и хлестнул лошадь нагайкой.

Бестужев вздрогнул.

— Какого Пушкина?

— Слышь, — сочинителя.

— Да где же он сам?

— У господина майора Чиляева чай пьют...

Борис Чиляев, старый однокашник Бестужева по корпусу, управлял горскими народами, обитавшими возле Военно-Грузинской дороги, и имел свою резиденцию в Коби. Бестужев погнал лошадь рысью по извилистой тропинке.

— Куда вы? Куда? — кричали ему вслед из пе-

шего авангарда оказии, — неравно осетинцы на мушку возьмут...

Бестужев не слышал. Через полчаса он был в Коби и входил в глиняный домик Чиляева. Майор, черный, усатый, веселый, раскрыл об'ятия. Но Пушкин только-что уехал, и притом — новой околесной дорогой, с особым проводником. Бестужев схватился за голову... *

Ахнула пушка. Эхо тяжко разнесло гул выстрела по окрестным горам и грозно отозвалось за Курою, где замок и с каменного карниза крутого берега повисли вниз разноцветным ожерельем дома, балконы и решетки. Ахнула пушка — полдень... Под пристальными взглядами жаркого августовского солнца никнет пышная зелень садов, и летучими миражами плывут над городом прозрачные куполы зданий. В Салалаках звонко льются нагорные ключи, и это — единственный живой звук во всем старом Тифлисе. Город горит отраженным светом яркого полдня, тонет и растворяется в ослепительных переливах солнечного блеска.

---

* Пушкин прибыл в лагерь Паскевича при Инжасу 13 июня 1829 г.; возвратился из армии в Тифлис 1 августа; 8 августа выехал из Тифлиса и 10 — был во Владикавказе. Следовательно, Пушкин и Бестужев разминулись 6 или 7 августа. В письме к редактору «Тифлисских Ведомостей», П. С. Санковскому, от 3.1.1833 г. Пушкин вспоминает об этом происшествии не совсем точно: — «Если вы иногда видите Александра Бестужева, передайте ему мой дружеский привет. Мы встретились с ним на Гут-Горе, не узнавши друг друга, и с тех пор я имею о нем сведения только из газет, где он печатает свои очаровательные рассказы». Так или иначе, встреча писателей не состоялась; поэтому известная страница из «Путешествия в Арзрум» («Я завидел вдали всадника в чудной одежде» и т. д.), долгое время ходившая в рукописи и настойчиво врывавшаяся в подлинный пушкинский текст, есть несомненный апокриф.

В душных и жарких комнатах штаба кавказского корпуса скрипели гусиными перьями скрюченные писаря и угрюмо толпились офицеры, — многие на костылях и с подвязанными руками. Ловкие, поджарые ад'ютанты неслышно переносились из горницы в горницу. В приемной, среди множества военных, Бестужев простоял почти до вечера, узнав, наконец, свою судьбу: рядовой 41-го егерского полка, направление в полк — под Эрзерум. Вечерняя заря пылала, как зажженный океан. Розовые тени сумерек ложились на виноградные сады. Дали одевались в лиловую мглу. И вот, — теплый блеск месяца позолотил тифлисские балконы. Город ожил и зашевелился.

В сиянии тихой ночи на галлереях и кровлях домов замелькали фигуры, укутанные в белые покрывала, послышались нежные гортанные голоса. Тускло поблескивала извилистая тропинка, ведущая вверх по скалистой кайме к монастырю св. Давида. На горе, возле могильной плиты, стоял Бестужев и плакал. Он пришел сюда прямо из штаба, сегодня, в первый же день пребывания в Тифлисе; этого требовали сердце, долг дружбы к Грибоедову и благодарность. Кто-то из штабных, старых знакомцев по Петербургу, рассказал Александру Александровичу, что Грибоедов, уезжая в Персию, умолял Паскевича вырвать из Сибири Одоевского и его — Бестужева. Он пустил в ход все свое красноречие, влияние на двоюродную сестру *, все доводы рассудка и аргументы благородной души. Он со слезами упрашивал графа. Теперь все это пошло прахом. Гора св. Давида растворилась и приняла истерзанное тело друга. Бестужев крепко сжимал стучавшие зубы, чтобы гулким звуком рыданий не спугнуть вечерней тишины.

* Грибоедов был двоюродным братом графини Е. А. Паскевич.

15 августа, накануне выезда из Тифлиса, Бестужев надел новый костюм. Военный портной долго прилаживал на нем черный солдатский мундир. От этой невольничьей куртки тянуло запахом мотильной сырости. Не с мертвеца ли? Долго также не давался портному воротник егерской шинели. Твердое черное сукно все лезло за уши и мешало шевелиться челюстям.

«Хорошо, по крайней мере, что не придется мне лакировать воском и щеткой черную мою егерскую амуницию, — размышлял Бестужев, собираясь в поход, — а на деле покажу себя, только бы до огня добраться»...

Он с восторгом думал о младших братьях, которых должен был встретить под Эрзерумом. Петруша прибыл на Кавказ из оренбургского гарнизона еще в конце 1826 года, в самый разгар войны с Персией, и был при взятии Эривани 1 октября 1827 года. Сейчас же после Туркманчайского мира с Персией началась турецкая война. В мае следующего года Петруша был произведен в унтер-офицеры, а в июне уже штурмовал с Ширванским полком Карс, затем — Ахалкалаки, наконец, в августе — Ахалцых, на штурме которого был тяжело ранен. Павел — Ваплик — артиллерийский прапорщик, отсидев около года в Бобруйской крепости, был переведен в сухумский гарнизон в январе 1827 года. Судьба свела его с Петрушей под Карсом, и они были неразлучны до Ахалцыха. Затем, в сентябре 1828 года, встретились в Тифлисе у покойного Грибоедова. Теперь, когда Александр Александрович собирался ехать в армию, Ваплик был в Эрзеруме, а Петруша на походе, — общая встреча казалась очень возможной, даже неизбежной.

Эрзерум был взят русскими войсками 27 июня, и

анатолийская армия султана рассеяна. Эрзерумский и Баязетский нашалыки были в русских руках. Цель войны в Азии казалась Паскевичу достигнутой. Но император требовал, чтобы он продолжал движение на Сиваз и Токат.

16 августа Бестужев оставил Тифлис и, проскакав через огненную пустыню до самой Баш-Абарани, 3 сентября в'ехал в Эрзерум. Главнокомандующего в городе не было, — 17 августа он выступил куда-то со штабом. Бестужев отыскал его верстах в двадцати за Евфратом. Было холодно, моросил дождь, бурка на Бестужеве висела колоколом. Паскевич сердито поглядел на черный егерский воротник Бестужева (было заметно, что возня с разжалованными крепко ему надоела) и приказал явиться в Эрзерум к командиру полка. 41-й егерский полк останется в городе на зиму. Можно ждать дел с курдами. В Эрзеруме Бестужев прежде всего кинулся на квартиру братьев — радость, восторги! Петруша еще возился с пробитой под Ахалцыхом рукой. Скоро он и Ваплик должны были со своими частями двинуться к Тифлису.

Через несколько дней они действительно оставили Эрзерум. Бестужев остался один в унылом городке, с узкими, темными и кривыми переулками, с журчащими водоемами, криками ослов, лаем бесчисленных собак, толкотней и пестротой суетливых базаров. Александр Александрович живо перезнакомился с офицерами гарнизона и принялся собирать эрзерумские военные анекдоты, намереваясь потом переслать их целым сборником в «Северную Пчелу» Греча и Булгарина. Дело пошло, но жестокая лихорадка вдруг свалила Бестужева в постель. Он лежал около двух недель в пустой и холодной комнате, без мебели, без стекол в окнах, с каменным полом, резным, разукра-

шенным фольгою потолком и стенами, испещренными буйной фантазией арабесков. Лежал в жару, бредил и, заслышав от случайно зашедшего нового гарнизонного знакомца о том, что формируется отряд для экспедиции к городу Байбурту, вскочил на ноги, шатаясь, добрел до штаба полка, просил, как милости, разрешения участвовать в экспедиции. Ему казалось, что новость походных впечатлений, полученных не из портшеза, не с борзого жеребца, а из-под тяжести солдатского ружья, должна напитать собою и осмыслить эту странную жизнь на краю света. Не для тусклого же прозябания в гарнизоне, а для подвигов отчаянной храбрости рвался он на Кавказ.

Байбурт стоял в предгорьях, на крутых ступенях каменной лестницы, устроенной древней природой. 28 сентября русский отряд подступил к городу, где новый султанский сераскир * Осман-паша собрал значительные силы. Дело началось с жестокой перестрелки. После обеда — сигнал на штурм. Бестужев бежал с цепью стрелков между домами, окруженными загородью стройных раин. В ярких лучах солнца горели орудия, спрятанные за зубцами каменных стенок, и высокие чалмы турецких начальников ныряли с бастиона на бастион. В кривых улочках предместья кипела рукопашная схватка с лазами. В шинели и в амуниции Бестужев прыгал в овраги и взбирался на крутые валы серых утесов. Впереди вихрилось пламя пожара, зажженного внутри города гранатами когорновых мортир русского отряда, мелькали в черном дыму оранжевые огоньки ружейных выстрелов, звенела предсмертная песня мусульманских бойцов. Бестужев остановился: стена. Хороший прыжок мог вынести его прямо на гласис турецкого укрепления.

---

* Главнокомандующий.

Александр Александрович присел, подобрав полы шинели и меряя глазами высоту стенки. Потом швырнул кверху свое ловкое, легкое тело и перевалился через каменный забор. Он был третьим русским, ворвавшимся в Байбурт во время этого памятного штурма. Ночь упала на пылавший город мгновенно. Зарево пожара дрожало на темной зелени высоких тополей и кровью наполняло гремучий Чарох. Кипел грабеж. Под песни и выстрелы солдаты тащили награбленное добро, продавали, обменивали. Город походил на гигантскую печь, в которой двигаются, хохочут и рыдают люди.

Русские штурмовали Байбурт уже после того, как в Адрианополе был заключен мир *.

Бестужев побывал у подножия Арарата и в Эривани. Край нагнал на него тоску голыми, обожженными солнцем, горами, безжизненными степями и ущельями, вьющейся пылью мертвых дорог, шумом бурьянных полей, подземными деревнями и истомленным видом голодных жителей.

В середине октября Александр Александрович приехал в Тифлис с поручением закупить по казенной цене для 41-го егерского полка различные предметы амуниции. Комиссариатские чиновники тянули, составляя какие-то бесконечные ведомости, строча отношения, запросы и ответы со стола на стол. Жизнь в Тифлисе была приятна. Бестужев поселился с Петрушей, который лечил серными ваннами перебитый локоть руки. Часто из Бомбор приезжал Ваплик, — там стояла его артиллерийская рота. В Тифлисе собра-

---

* 2 сентября 1829 года.

лось много «картечных братьев»—Корнилович, Толстой, Назимов, Захар Чернышов, Нарышкин, Кривцов, Коновницын, Одоевский, Цебриков, Гангеблов. Все это общество, сдобренное сливками гвардейских офицеров, командированных из Петербурга на Кавказ для боевой практики и получения крестов, постоянно встречалось, играло в вист и шахматы, сыпало анекдотами. Бестужев ожил. Солдатская шинель его почти не тяготила. Блестящие гвардейцы, которых на Кавказе звали «фазанами», с каким-то трогательным участием льнули к декабристам и вообще к разжалованным. Если не состоять в числе разжалованных, то, по крайней мере, походить на них и дружить с ними было среди этой молодежи байронической модой. Отвага отчаяния, презрение к потерянным выгодам, равнодушие к безнадежности настоящего положения, — все это вызывало восторг, зависть, преклонение, подражание. Если к этому прибавить насмешливые жалобы на скуку и праздность ума, таинственные намеки на огрубелость мохнатого сердца и горечь разуверившихся чувств, — успех человека, овладевшего секретами роли, можно было считать обеспеченным. Бестужев вполне овладел свой ролью. По правде говоря, он был очень доволен жизнью в Тифлисе, но не было в этом городе ни одного человека, глубокая разочарованность которого в жизни была бы очевидней, чем в нем. Тифлисский комендант полковник Бухарин и его супруга Екатерина Ивановна с живым интересом принимали Бестужева у себя в доме. Полковник, малорослый, добродушный человек, со всеми признаками собачьей старости на лице, хлопал несчастливца по плечу.

— Скворец небесный! — говорил он успокоительно,—мир сей для человека есть лавиринф и загадка! Не разгадаете, Александр Александрович, ей-ей,

нет... А вы себе заметьте, любезнейший друг, что на Кавказе служба считается год за два, а две рюмки за одну. Пойдемте-ка к столу.

Два события перевернули вверх дном жизнь Бестужева. Во-первых, в Тифлисе вдруг появился снова поступивший на службу и прибывший на Кавказ в должности корпусного провиантмейстера памятный Бестужеву фон-Дезин. Этот человек не нашел в себе сил спокойно вынести встречу со своим старым обидчиком. Никогда еще не было ситуации, при которой так легко и безнаказанно могла ему сойти с рук любая месть: он мстил солдату... Во-вторых, по высочайшему повелению, спешно доставленному фельд'егерем из Петербурга, был арестован на несколько суток командир Нижегородского драгунского полка генерал-майор Н. Н. Раевский за то, что принимал у себя разжалованных и декабристов. На Раевского донес рыжий Бутурлин, ад'ютант военного министра Чернышова. Дело это принимало особый смысл потому, что Раевский в январе 1826 года уже арестовывался по подозрению в принадлежности к Южному обществу. Паскевич заволновался.

Граф Эриванский * был в ноябре 1829 года уже не прежним доступным, умным, скромным генералом. Фиктивное графство, завоеванное им в схватках с персидскими наездниками, и фельдмаршалский жезл, которым вознаградил его щедрый император за победы над турецкими босяками, сбили Паскевича с

---

* Титул, полученный Паскевичем за взятие Эривани. Ермолов, знавший ничтожные глиняные укрепления Эривани, рассыпавшиеся под огнем русских орудий, называл Паскевича графом Ерихонским.

толку. Он отрастил себе волосы и тщательно завивал их локонами, вроде Людовика XIV, а в остальном подражал знаменитым военным чудакам: показывал генералам фиги, называя их signore proffessore* и, не стесняясь, сравнивал себя с Александром Македонским и Наполеоном. Находясь в таком воспаленном состоянии, Паскевич пришел в яростную ажитацию, когда увидел на примере Раевского, как опасно воздерживаться от угождений царю. Подсказка фон-Дезина решила дело. В начале ноября у Гангеблова, по обычаю, собрались разжалованные. Бестужев пришел последним, весело пообедав в ресторации Одье. Вечеринка развертывалась в шумный кутеж. Говорили обо всем, кроме того, о чем считалось неуместным говорить в этом обществе: о Декабре не упоминалось никогда ни прямо, ни косвенно. Этой темы не существовало. Бестужев много болтал, смешил других, смеялся сам, — прежние бодрость духа и радостная беспечность к нему начинали возвращаться. Вдруг в передней брякнули шпоры, зазвенела сабля, и плац-ад'ютант вошел в комнату, где в сизом облаке трубочного дыма мелькало полдюжины оживленных молодых лиц. Стаканы остановились у губ, карты полетели под стол, оранжевые огни свечей жалобно замигали. Плац-ад'ютант подошел к Бестужеву.

— Пожалуйте со мной, — я имею вам нечто сообщить.

Александр Александрович ощутил в груди пустоту. В этой пустоте слабо билось сердце. Он вышел за плац-ад'ютантом в переднюю.

— По повелению его сиятельства главнокомандующего, вы арестованы, — сказал плац-ад'ютант и сделал

---

* Господа профессоры (итал.).

знак двум жандармам, стоявшим в углу, — возьмите вашу фуражку и следуйте со мной.

Бестужев пошел за фуражкой в общую комнату. Никто ни о чем не спросил его. Молча прикрыл он на минуту бледные веки, прощаясь. Петруша кинулся, было, за ним...

В Метехе* Бестужев просидел несколько дней. Страшные пароксизмы лихорадки, во время которых он ясно слышал, как шевелился в его кишках вывезенный из форта «Слава» чудовищный солитер, перетащили его из тюрьмы на квартиру к братьям и едва не уложили в гроб. Пользовавший больного знаменитый тифлисский доктор Депнер отчаивался в его выздоровлении. Только в начале декабря Бестужев начал поправляться. За это время судьба всех проживавших в Тифлисе декабристов была решена. Захар Чернышов был переведен из Нижегородского драгунского полка в 41-й егерский; Петруша Бестужев из Ширванского — в Куринский пехотный, стоявший в дагестанском селении Тарки; Александр Александрович — в Грузинский № 10 линейный батальон, несший гарнизонную службу в дагестанской крепости Дербент-Рынкале; все прочие разосланы в части, которые по разным причинам и поводам откомандировали их осенью в Тифлис. Генерал Н. Н. Раевский лишился командования Нижегородским драгунским полком и поступил в состав 5-й уланской дивизии, квартировавшей во внутренних губерниях России. Пострадал и благодушный тифлисский комендант полковник Бухарин. Паскевич вызвал его к себе.

— Почему живут разжалованные и не высылаются в полки? Почему у вас в доме Александр Бестужев день и ночь?

---

* Старинная тюрьма в Тбилиси.

— Разжалованные живут с разрешения командиров частей, а Бестужева Александра я не принимаю-с и не думаю принимать-с, ваше сиятельство.

— Да что ты врешь? Знаю, что он от тебя не выходит.

— Его Катерина Ивановна принимает-с, ваше сиятельство.

— Дурак, а не полковник...

ЯНВАРЬ 1830 — ФЕВРАЛЬ 1833

Его друзьми были горы,
Отчизной—гордый океан.
Байрон.

ДАГЕСТАН, куда попали Александр Александрович и Петруша Бестужевы, был «Кавказской Сибирью», местом ссылки для штрафованных солдат и провинившихся офицеров. Суровый характер страны, похожей на океан, вдруг окаменевший в разгаре бури, когда штурмовые валы ударяют своими гребнями в небо; климат, переменчивый и не мягкий; полная опасностей, скуки и безнадежности жизнь в крохотных крепостцах, прилепившихся птичьими гнездами к гигантским утесам, — все это заставляло смотреть на службу в Дагестане, как на несчастье. Из местных крепостей особенное значение имели две: Бурная, куда попал Петруша, и Дербентская-Рынкале, где предстояло служить его старшему брату. Бурная глядела на море с высокой скалы, громоздившейся над Тарками. Под защитой этой крепости производилась выгрузка судов, приходивших из Астрахани с военными и продовольственными припасами. Дербентская крепость была центром, где сосредоточивалась администрация Кай-

тага, Табасарани и других южно-дагестанских округов. Рынкале была невелика, окружена древними, давно не исправлявшимися стенами с амбразурами и бойницами и, кроме обычных земляных укреплений, заключала в себе казармы и дом коменданта, майора Федора Александровича Шнитникова. Все прочие должностные лица проживали не в крепости, а в городе. Дербент скатывался живописными уступами из-под стен и рвов Рынкале к морю. Чтобы попасть из города в крепость, надо было долго подниматься по крутой и узенькой каменистой улице. Вид из крепости был чудесный, особенно ночью, когда внизу дрожали огни беспокойного города, а еще ниже, за городской стеной и песчаным берегом, рокотало и пенилось необозримое море.

Попав в дербентский гарнизон и оглядевшись, Бестужев вдруг понял всю безысходную отчаянность своего положения. На какой случай к отличию мог рассчитывать гарнизонный солдат центрального укрепления края? Горцы никогда не осмеливались и не осмелятся напасть на Дербент — военных дел нет и не будет. Зато караульная служба, долгие часы в вонючей гауптвахте и на посту, под ранцем и ружьем, разводы и церемонии, ученья и гусиный шаг, — все это наглухо привинчивало жизнь к самым грубым и пустым интересам. И главное — этому существованию решительно не предвиделось конца. Предстояло заживо истлевать в гарнизоне, без малейшей надежды на выслугу. Это было так ужасно, что Бестужев совершенно упал духом. Эрзерумская лихорадка вынырнула из охватившей его смертельной тоски и свалила в постель. Между наплывами темного бреда проснулось дремавшее до сих пор воображение, и тяжесть жизни сделалась неощутимой.

«Несчастье обратилось в привычку.., — писал он

братьям в Читу, — вдали пустое море, кругом безрадостная степь, вблизи грязные стены, неприязненные лица татар. Горька разлука с Петром... В досужее от службы время (т. е. между часами) я занимаюсь словесностью, как одуряющим средством от скуки...»

Бестужев погрузился в обдумывание того, о чем еще велись жестокие споры во всех журналах, над чем сам он не раз в прежние времена и даже в Якутске до боли трудил свою голову: что такое романтизм? Разобраться в теоретической стороне вопроса ему и теперь до конца не удалось. Да ведь и не было в его распоряжении тех общих теоретических точек, от которых он мог бы итти. Отсюда — ощупь. Но и эта ощупь привела к открытию, делающему честь его чутью критика и публициста. Он — яростный романтик — не усомнился окончательно признать, что романтизм — не больше, чем ступенька для какого-то нового литературного направления. Он не знал его названия, но знал твердо, что мыслит и говорит языком перелома, что романтизм — «куколка хризалиды, обвертка необходимая, но пустая, и будущее сбросит ее в забвение». Он предвидел реализм, предчувствовал его появление в литературе, и даже славный Гюго представлялся ему только звездой-предтечей.

Бестужев принялся писать повесть «Испытание». Задачей этой работы он поставил изображение светских людей того круга, к которому сам принадлежал прежде. То новое, о чем ему хотелось сказать, заключалось в морали: модный чайльд-гарольдизм хорош, может быть, в Англии, но в России, где так много дела, где так легко хоть немного облегчать участь обездоленных и загнанных людей, он отвратителен как всякий эгоизм. В положении Бестужева эта скромная

мысль могла быть выражена только очень робко. Автор и не проявил никакого дерзновения, но ясность его тенденции — безупречна. Герой его повести понял, что нельзя «чужими руками и наемной головой устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных, разоренных барским нерадением, хищностью управителей и собственным невежеством».

Повесть «Испытание» — несомненный образец значительного мастерства. Быстрый рассказ, живой и легкий язык, сюжет, занимательный и острый, должны были понравиться читающей публике, которую тогдашние прозаики старательно усыпляли докучливо пресными нравоучениями.

Александр Александрович прочитал свое новое произведение в семействе коменданта Шнитникова. Майор Федор Александрович, — человек лет сорока, бледный, с большими серыми глазами, — был начитан, вдумчив, умен; повесть произвела на него огромное впечатление, как голос силы и власти, поднятый из-под обломков бытия. Жена Шнитникова, Таисия Максимовна, молодая, красивая, любезная, — плакала и хохотала по ходу развития драматического действия, которого в повести было с избытком. Ее восторженные одобрения можно было считать предвестником широкого успеха «Испытания» среди будущих читателей. Одобряли повесть и два офицера дербентского гарнизона — бывший гусарский штаб-ротмистр Иван Петрович Жуков и бывший поручик лейб-гвардии Гренадерского полка Михаил Матвеевич Корсаков, — оба переведенные на Кавказ за прикосновенность к делу 14 декабря и хорошо знавшие жизненную обстановку, в которой действовали герои повести. Оставалось отправить «Испытание» в Петербург, но от-

правлять рукопись обычным путем было опасно. Жуков и Корсаков изобрели способ отправки совсем необычный. Список повестки, сделанный писарской рукой, был навернут на деревянную палку и зашит в холст. Уже покончив с упаковкой, Бестужев долго сидел над посылкой, грустно задумавшись; потом распорол холст и на обложке рукописи сделал собственноручную анонимную приписку на немецком языке. Приписка была немногословна — короткий привет Ленхен Булгариной. Затем снова зашил все это в холст и адресовал в Петербург Гречу.

Муллы идут в мечеть, закутанные в длинные кафтаны, с длинными тростями в руках, с медными персидскими чернильницами, привешенными к поясам. Бестужев сбрасывает с себя широкий и пестрый халат, шелковую тюбетейку, накидывает на плечи солдатскую шинель из тонкого серого сукна, им самим изобретенного красивого фасона, и поднимается по каменистой узенькой улочке, похожей на высушенное солнцем русло гремучего горного потока, из города в крепость, — к Шнитниковым. В этом добром семействе он проводит все свое время, свободное от учений, караульной службы и литературных занятий. Здесь он обедает, ужинает, возится с пятью малышами, часами говорит с майором, читает только-что написанные страницы, рассказывает Таисии Максимовне были и небылицы. Семейство коменданта — отрада и спасение Бестужева. Только здесь он бывает самим собой.

Стоял август—жаркий и душный; море спало, синея безмятежной глубиной. Вокруг города холмы поднимали к небу пышную зелень миндальных, гранатовых и персиковых деревьев. Но по Дербенту только-

что прошла холера. Чудесные плоды южного лета прячут в себе смерть.

Вот и август подходит к концу. Бестужев вбежал к Шнитниковым со свежей книжкой «Сына Отечества» в руках; его карие глаза сверкали и искрились, полные губы дрожали. Он вихрем пронесся через низенькие комнаты комендантского дома в кабинет хозяина и повис у него на шее.

— Федор Александрович! Читайте! Греч напечатал!

Майор взволновался не меньше автора. Он понимал, что значит для Бестужева появление «Испытания» в печати, пусть без подписи и даже без псевдонима. Было бы смешно сомневаться, что Греч напечатал «Испытание», не получив на то разрешения от кого следует. Итак, дорога открыта...

Тут же было решено, что удачливому писателю надлежит немедля приниматься за новую вещь. Федор Александрович советовал взять для разработки кавказскую тему и местные характеры и рассказал историю, случившуюся на Кавказе в июне 1823 года, когда полковник Верховский, окружной воинский начальник, был убит накануне своей женитьбы на любимой женщине неким Аммалат-беком, спасенным от смерти стараниями полковника. Подробности в развитии сюжета прямо подводили писателя к большой и важной теме: роль войны в обострении враждебности двух культур, национально и общественно чуждых одна другой. * Бестужев ухватился за сюжет и за тему.

«Кавказ... богат предметами для поэта и романтика, но, по несчастью, здесь и цветы дышат тлением и

* История убийства полковника Верховского была известна и внутри России. Лермонтов в своей школьной тетради дважды зарисовал сцену убийства.

виноград каплет желтою лихорадкою»,—писал он Булгарину в первом своем письме после катастрофы, с осторожностью обращаясь к старому другу на «вы», расхваливая его романы «Выжигин» и «Дмитрий Самозванец» и уверяя, что вовсе не думает состязаться с ним «в дарах слова»*. Фаддей Венедиктович не только дружески отозвался на первое робкое послание изгнанника, но еще и с непостижимой смелостью предложил ему участвовать в своих изданиях. Нужно было договориться о деловой и материальной стороне сотрудничества. Бестужев брался присылать в год не меньше двадцати и не больше двадцати пяти печатных листов оригинальной прозы, желая иметь за это 1 500 рублей гонорара, уплачиваемого по третям.

«Испытание», напечатанное анонимно в «Сыне Отечества», было встречено публикой восторженно, а критикой — одобрительно. Но именно этот литературный успех заставил Бестужева с особенно острой болью почувствовать мучительную безвыходность своего положения. Зима. Ветер наносит то с гор, то с моря туманы и дожди, мелкая травка зеленеет на окружных холмах и полуразрушенных стенах города. Бедствию не видно конца.

В плену печальных настроений Бестужев написал письмо когда-то обиженным им людям — братьям Полевым. На письмо пришел ответ, самый добрый и глубоко сочувственный. Это было началом деятельной и обширной переписки, не прекращавшейся в течение почти шести лет. В «Московском Телеграфе» Полевого стали появляться бестужевские вещи: рассказ «Страшное гаданье», несколько отрывков из пя-

* Письмо от 15.5.1830 («Русская Старина», 1901, февраль).

той главы повести в стихах «Андрей Переяславский», стихотворение «Шебутуй». В весенние месяцы 1831 года написал Бестужев большую историческую повесть из эпохи смутного времени — «Наезды», необычайно богатую по использованному в ней этнографическому материалу, очень занимательную по сюжету, трезвую по мотивам национального самосознания и правдивую по характеру бытовых зарисовок. Вместе с тем продолжал он работать и над повестью об убийстве полковника Верховского Аммалат-беком. Эту работу он считал главной, делал ее неспеша и, столкнувшись с необходимостью знания восточных языков, принялся за изучение татарского и арабского, собираясь добраться даже и до Гафиза. Дербент был не только Кавказской Сибирью, но и Кавказскими Афинами по чистоте татарского языка и мудрости местных ученых.

До весны 1831 года имам Дагестана Кази-Мулла жил в Гимрах, привлекая под зеленый значок газавата соседние племена шамхальцев и койсубулинцев.

Угроза восстания этих племен отзывалась в Дербенте дремотной тревогой. Исподволь исправлялись стены, перетаскивались пушки с бастиона на бастион. Служба стала невыносимой. Бестужев писал повесть об Аммалат-беке в караульнях — между стоянием на посту, в вонючем лазарете — среди дизентерийных и лихорадочных больных.

В середине августа он отправил Полевому пять глав «Аммалат-бека», обещая выслать остальные через две недели. Автор был доволен своей повестью.

«Сдается мне, что характер Аммалата выдержан с первой главы, где он застреливает коня, не хотевшего

прыгать, до последних, в которых он совершает злодейское убийство друга»...*

Действительно, характер татарского бека был выдержан с прямым расчетом на то, чтобы конфликт двух культур, национально и общественно враждебных, выглядел со всей непримиримостью факта. Он так и выглядит. Аммалат-бек — «дитя природы» и притом — влюбленное; в этом вся его социально-психологическая сущность. Бестужев не приметил, как вместо столкновения двух культур в его повести столкнулась русская культура с горской дикостью; возвышенно-идеальное он противопоставил величаво-земному и посчитал, что в этих гиперболах решается задача. Характеры Верховского и Аммалата развернуты правильно в поступках, но неверно об'яснены в об'ективных корнях действительности. Во всем остальном повесть вышла увлекательным, полным драматических ситуаций и действия, красиво и местами очень художественно написанным произведением.

«Будь медлен на обиду, но ко мщению скор», — уже одна эта надпись на кинжале Аммалата должна была производить обаятельное впечатление на читателей своим рыцарским благородством.

В августовской книжке «Сына Отечества» появился чрезвычайно любопытный по своему реалистическому направлению рассказ Бестужева «Лейтенант Белозор». Легкая приключенческая фабула, по обыкновению очень занимательная, оснащена в нем превосходно написанными картинами быта — русского военного и голландского. Типы голландских коммерсантов, русских солдат, язык, на котором разговаривают те и другие, ландшафты и пейзажи, — все это носит на

---

* Письмо от 26.9.1831 («Русский Вестник», 1861, т. 32).

себе яркую печать мастерства и манеры, вполне реалистической. Отдельные мысли-картины чрезвычайно выразительны.

Этот прекрасный рассказ вышел с посвящением Булгарину и был первым после «потопа» 1825 года * произведением, которое Бестужев подписал старым своим псевдонимом — Марлинский. Этим псевдонимом, взятым от петергофской беседки Марли, возле которой проживал Бестужев в бытность строевым офицером лейб-драгунского полка, были подписаны когда-то некоторые мелкие критические статьи Александра Александровича. Катенин упрекнул своего неприятеля в том, что он боится выглянуть из-за забрала, и Бестужев тотчас оставил псевдоним, чтобы никому не дать права и основания к подобным упрекам. С тех пор прошло много времени, и все изменилось. Псевдоним Марлинского, под которым он прятался когда-то от напора литературной известности, теперь оказывался робким средством к тому, чтобы связать новый напор известности с забытой личностью автора. Псевдоним был боковой лазейкой, выглянув из которой, Бестужев мог рассчитывать, что читатели узнают в Марлинском своего старого знакомого — Бестужева. После «Белозора» все свои произведения он подписывал только этим псевдонимом.

Ко времени напечатания «Белозора» вполне определилось громадное творческое открытие Александра Александровича. Он открыл в своих произведениях то, о чем писатели, ему предшествовавшие, не имели ни малейшего понятия, — русского солдата. Но прежде чем вывести солдата на страницы рассказов и по-

* «Потопом» Бестужев называл декабрьские события 1825 г.

вестей, он должен был найти и внимательно рассмотреть его сам. Об этом открытии он писал следующим образом:

«Чтобы узнать добрый, смышленый народ наш, надо жизнью пожить с ним, надо его языком заставить его разговориться... А солдат наш? Какое оригинальное существо, какое святое существо и какой чудный, дикий зверь с этим вместе!.. Кто видел солдат только на разводе, тот их не знает; кто видел их с фухтелем в руках, тот их и не узнает никогда, хоть бы век прослужил с ними. Надо спать с ними на одной доске в карауле, лежать в морозную ночь в секрете, итти грудь с грудью на завал, на батарею; лежать под пулями в траншеях, под перевязкой в лазарете; да безделица: ко всем уэтому надо гениальный взор, чтобы отличить перлы в кучах всякого хлама, и потом дар, чтобы снизать из этих перл ожерелье. О! сколько раз проклинал я бесплодное мое воображение за то, что из стольких материалов, под рукою моей рассыпанных, не мог я состроить ничего доселе. Дай бог, чтобы время починило дырявые мои карманы, а то все занимательное высыпается из них, словно орехи у школьника. Я был так счастлив (или, пожалуй, так несчастлив), что вблизи разглядел народ наш и, кажется, многое угадал в нем; вопрос: удастся ли мне извлечь когда-нибудь из этих дробей знаменателя?.. Хочу и сомневаюсь» *.

Открытие русского солдата Бестужев сделал осенью 1831 года в Дербенте, при самых тяжелых обстоятельствах, в которых тогда находились город и крепость. Он продолжал разрабатывать свою находку до самой смерти. В «Письмах из Дагестана», где описаны осада Кази-Муллой крепости Бурной и даль-

* Письмо от 1.1.1832 («Русский Вестник», 1861, т. 32).

нейшие происшествия войны в Дагестане, единственным героем выступает именно солдат, показанный с удивительной правдивостью, таким, каким он был в действительности,—полусожженная кабардинская мохнатая шапка, сверх амуниции — драный дагестанский ковер, вместо сапог — два войлочных мешка, подвязанные сыромятным ремнем... Вот он идет, приплясывая на походе с голода: «Так, мол, легки стали, ваше благородие, что иначе и ходить не умеем...» От рекрутства до могилы проходит солдат Марлинского, безвестный, темный, героическая жертва великого исторического обмана... Он показан без риторической приторности; в простых словах рассказана его страшная жизнь; но образ солдата и лицо солдатской толпы вышли из рук художника в наиболее законченных и верных типах.

14 августа 1831 года, отобедав у Шнитниковых, Бестужев отправился к командиру линейного батальона, в котором служил, — майору Пирятинскому, — на ежевечерний вист. Майор Пирятинский был холостым стариком и уже около тридцати лет состоял в майорском чине, будучи не шибко грамотен и чрезвычайно добродушен — «до простоты». Вист составился из хозяина, Бестужева и капитана Жукова, с которым в одном доме жил Александр Александрович. Вечер переходил в ночь, когда солдат, присланный недавно назначенным в Дербент начальником гарнизона майором Васильевым, явился с повесткой. Пирятинский вызывался к начальнику гарнизона.

Добродушный майор скоро вернулся, запыхавшись и угрюмо насупившись.

— Ну, ребятушки, — сказал он, — и послал нам бог фигуру в начальники. Вишь, ты, — стоит бездель-

ник Кази-Мулла в Кайтаге, за 35 верст отсюда, так уж у господина майора Васильева глаза на лоб лезут со страху. Такой малой веры в себя человек, что приказал с завтрашнего дня начинать всем гарнизоном совместно с жителями работы на укреплениях.

Майор Васильев вышел в офицеры из нижних чинов и всю свою службу провел на Кавказе. Прибыв в Дербент, он внимательно осмотрел крепость и город. Рынкале торчала на макушке горного уступа; к северу от нее, по крутому скату до морского берега, тянулся город, защищенный с западной и восточной сторон сложенными из огромных камней в незапамятные времена каменными стенами. К стенам примыкали сады и кладбища, а на холме, называемом «Кифара», разместились белые хижины слободки, в которой жили женатые солдаты. 15 августа Васильев приказал жителям Кифары переселяться в город; он не сомневался, что Кази-Мулла попытается овладеть Дербентом.

Всю ночь на 19 августа громко лаяли собаки, которых по кавказскому обыкновению с вечера выгоняли за городские ворота. На рассвете барабанщики пробили не обычную зорю, а тревогу; город и крепость поднялись. Стены ожили. Утренний туман разбежался. Обитатели Дербента и Рынкале увидели разноцветную ленту наездников, гарцовавших внизу. Пехота имама, под зелеными значками, спускалась нестройными толпами с окрестных холмов. Дербент был в осаде. Городские мальчишки принесли из садов в карманах своих архалуков два воззвания Кази-Муллы — одно к Васильеву, другое к мусульманскому обществу города.

На следующий день, 20-го, Кази-Мулла занял Кифару, сжег ее и двинулся к главным воротам, чтобы

ворваться в город. Гарнизон и городские жители отбивали приступ за приступом. Имам потянулся к городским садам, захватил их, отвел воду и с другой стороны подошел к городским стенам. На стены вышли даже гражданские чиновники; таможенные служители защищали главные ворота. Владетель кайтагский Ибрагим-бек, ненавидимый своими подданными, перебежав к русским и засев в Дербенте с толпой нукеров, бойко отстреливался от наседавших. Он просил пустить его на вылазку, чтобы выбить горцев с кифарского холма и из башни, откуда они без всякого для себя вреда обстреливали город и крепость. Начальник инженерной команды, подполковник Остроградский, решительно возражал против вылазок, полагая, что стены города, хотя и бессильны перед атакой артиллерии, но для горцев неодолимы, вылазки же поведут только к большим потерям людей. Васильев колебался. Майор Пирятинский вызвал к себе Бестужева. У майора был Жуков.

— Вот что, ребятушки, — говорил Пирятинский, торопливо глотая слова, — вы — грамотеи. Перо — в руки, и настрочить надобно записку храбрецу нашему, начальнику гарнизона, — подстегнуть, чтобы не страшился вылазок. Вишь, ты — потери... Да в жизни бог волен, анафема, мать пресвятая богородица! А толкнуть Ибрагим-бека в открытом поле на свалку с Кази-Муллой уже и потому полезно, что повлечет за собой кровомщение...

Бестужев присел за стол и заскрипел пером. Через четверть часа обстоятельная записка о пользе вылазок при фортификационной войне, с тучей аргументов из военной истории древних и новых времен, была готова. В качестве последнего довода эта записка кончалась утверждением, что вообще вылазки сообразны «с званием, которое носим, с долгом присяги его

императорскому величеству и с именем Россиянина». Пирятинский с удовольствием подписал документ.

Записка испугала Васильева; он знал, что Бестужев, а не Пирятинский был ее автором, но не сомневался, что именно Пирятинский, в случае успеха горцев, пустит ее в ход. С 21 августа начались вылазки, прикрытые огнем двух заново устроенных батарей. Под городскими стенами закипели стычки. На рассвете горцы начали подходить с разных сторон — им хотелось разбить внимание гарнизона, чтобы ворваться с берега моря. Васильев приказал усилить огонь со всех фасов и выслал две команды охотников выбить мюридов * из ближних завалов. Одну вылазку повел штабс-капитан Жуков, другую — прапорщик Фергат-бек. Бестужев был с Жуковым. За каменными стенами завалов белели чалмы и вспыхивали огоньки беглых выстрелов. Бестужев лежал за пригорком, выпуская пулю за пулей. Проведя рукой по усам, он увидел, что ладонь черна, — пороховым дымом закоптило усы. Жуков с отчаянием посмотрел на завал.

— Сейчас велю играть отбой... Ничего не выходит...

— Да ты с ума спятил!

Бестужев поднялся. Позади копошились солдаты и нукеры Ибрагим-бека.

— Эх, зачем было огород городить!..

— На штыки, что ли?

Бестужев побежал широким шагом прямо к стенке. Слева его обогнали трое, справа — пятеро. Ветер хлестал в лицо. Серые шинели ползли ящерицами на завал. Бестужев стоял на изломе. В него целила из пистолета красная борода — он воткнул штык в разинутый рот горца, — вероятно, горец о чем-то кри-

* Ближайшие последователи и ученики имама.

чал. Люди прыгали в костры, разведенные за каменной изгородью, головни подскакивали, шипя, фонтаны ослепительных искр взлетали кверху, полыхала свирепая рукопашная сшибка. Завал был взят. Жуков схватил Бестужева за рукав.

— Куда же ты, очумелый?

Но Бестужев не слышал. Он бежал дальше — к деревянной башне, с которой дербентские садовники оглядывали раньше свои цветущие земли; теперь в этой башне сидели мюриды. Бестужев не знал, спешит ли кто-нибудь за ним. Какая-то животная дерзость им овладела. — «Но где же хладнокровие? — подумал он на бегу, — храбростью называется не одна лишь запальчивость, а соединение дерзости с хладнокровием, где хладнокровие?...» Эта мысль его поразила, он сделал над собой усилие и остановился, озираясь. Сотня людей набежала сзади, подхватила и понесла его с собой. Наскок был так яростен, что деревянное строение башни дрогнуло, и доски посыпались сверху, сорвавшись со стропил. Мюриды уползли. Бестужев засел в башне со своими, отбрасывая горцев свинцовым градом дальше и дальше. Вечером, впустив смену, он вернулся в город с простреленной в двух местах шинелью, без шапки, с перебитой пополам ружейной ложей. 21 августа Александр Александрович узнал, что такое подлинная отвага отчаяния...

Кази-Мулла вязал фашины и строил лестницы, намереваясь штурмовать город. На городских стенах также кипела работа. Ставили фуры, мешки с землей и щебнем, исправляли полуразрушенные концы стен у берега моря. Батареи застилались новыми полами, закреплялись бревна и доски, прорезались амбразуры. Среди солдат и жителей, занятых этой работой, Бестужев заметил девушку, стройную и свежую, в синем

платке на голове; она с ловкой мужской сноровкой подавала наверх камни. Солдат засмеялся ласково:

— Эх, девка-немогучка, из рук все валится...

В ответ она так подбросила тяжелый валун, словно ей ввек ничего другого не случалось делать.

— Кто ты такая? — спросил Бестужев.

— Ольгой Нестерцовой зовут, — отвечала она, зарумянившись, — унтер-офицерская дочь я, швея. Нужно, что ли, чего?

Бестужев кивнул головой.

— Когда прогоним Кази, приходи ко мне, — заказ на шитье есть. Бестужев я, — слыхала?

— Слыхала, — сказала Ольга каким-то упавшим голосом и вдруг побледнев, — кто вас не знает...

Потом живо отвернулась и принялась за работу. Бестужев посмотрел на ее крепкую спину и почувствовал: девушке хочется избежать его взгляда.

27 августа Кази-Мулла снял осаду. Солнце взошло и осветило лагерь, брошенный скот, черные пятна догоревших костров, туры и фашины, громоздившиеся безобразными кучами, пустые бурдюки и поломанные арбы. Войск имама больше под городом не было.

«Слава не заслоняет мне опасностей своими лазоревыми крылышками, и надежда не золотит порохового дыма», — писал Бестужев Полевому *.

Бестужев проделал в дождливые осенние месяцы 1831 года все, что возможно для солдата, и даже больше возможного. Под аулом Чиркей, за рекою Сулаком, он вызвался осмотреть ночью мост, разрушенный горцами. Десятки завалов опоясывали скалу про-

* Письмо от 16. 12. 1831 («Русский Вестник», 1861, т. 32).

тивоположного берега реки. Из завалов сыпался огонь. Ночь была темная. Бестужев подполз к обрыву над бушевавшим Сулаком и замер за десять шагов от белых ворот аульного предместья. Он слышал, как горцы заваливали ворота камнями, слышал их говор... Вдруг взвизгнули собаки, прыснул свинцовый ливень, — Бестужев, затаив дух, домчался до своего лагеря. А утром поставил крыло батареи против изученного места и громил ворота, пока они не развалились.

Штурмовал Бестужев с колонной полковника Миклашевского деревянную твердыню Кази-Муллы — Агач-Кала; вместе с полковником вскочил на стены башни, в которой заперлись двести мюридов; видел, как десятками катились вниз солдаты, как рухнул убитый наповал полковник. Это было 1 декабря. Дело стоило русским четырехсот рядовых, восьми офицеров и Миклашевского. Кази-Мулла бежал сквозь дремучие леса, окружавшие Чумкескент, в Гимры.

Тяжкие осенние экспедиции этого года доставили Бестужеву случай увидеться с братом Петрушей в крепости Бурной. Но лучше бы не было этого свидания, — так оно было печально. Петруша всегда был кроток, тих, замкнут, молчалив. Вынести начальнические издевательства, которые преследовали его со времени перевода из Ширванского в Куринский полк, он не мог, и — не вынес. Жизнь в Бурной, общая казарма доконали его. Бестужев ясно видел, что Петруша сходит с ума. Он курил по шестьдесят папирос в день, был худ, как мумия, говорил, что он — высокое создание, которому уже служат собаки, а скоро будут поклоняться и люди...

Бестужев вернулся в Дербент в каком-то полузабытьи.

«Вместо гармонии, нахожу я в себе ветер пустын-

ный, шепчущий в развалинах... Две только драгоценности вынес я из потопа: это гордость души и умиление перед всем, что прекрасно... Свет забавлял меня очень редко, но не пленял никогда. В кругу своих я был собою, но вполне разоблаченную душу видел только один, и этот один уже в лоне бога...» *

Сообщая в Читу о болезни Петруши, он махнул рукой на всякую осторожность.

«Со слезами говорю далекое прощай вам, недоплаканные живые мертвецы. Потомство бы зарыдало, если бы прочло эти строки, писанные братьям-страдальцам и братьям-мученикам; а в современниках нет слез для несчастья. Эгоизм заглушил все чувства, благородящие человека. Утешимся! Мы пали в другом, но сохранили их» **.

Глубокие раны в душе человека нужны для того, чтобы пролились из нее ручьи такой чистой искренности. Вспоминая о брате Петруше, Бестужев терял способность не только писать, но и думать. Восемьдесят верст отделяли его от Бурной, где томился несчастный брат; однако это расстояние было непереходимо для гарнизонного солдата. Поручик Корсаков сообщал из Бурной, что Петруша уже семь дней ничего не ест, считая, что его хотят отравить. Ему чудятся жуки с человечьими глазами; страшные голоса его преследуют. Бестужев написал письмо генерал-ад'ютанту Панкратьеву, умоляя, чтобы дозволено было Петруше приехать в Дербент, 6 мая пришло разрешение на переезд больного. В это же время Прасковья Михайловна усиленно хлопотала в Петербурге об увольнении ее сына Петра в отставку как умали-

---

* Письмо от 16.12.1831 («Русский Вестник», 1861, т. 32).

** Письмо от 24.12.1831 («Отечественные Записки», 1860, май—июнь—июль).

шенного. В конце мая Петрушу привезли в Дербент; он прожил здесь два месяца, измучив старшего брата своим жестоким бредом. Он ненавидел всех, кто находился близко, и ближайших — в особенности. Ему уже казалось, что и Александр Александрович — злейший враг его и подбивает преданных собак против их господина. Только 13 июля был получен приказ об увольнении Петруши от службы. В начале августа он выехал из Дербента в Россию.

Майор Васильев был груб и злопамятен. Он не мог простить Бестужеву записки о вылазках, представленной Пирятинским во время осады Дербента. Вылазки, действительно, принесли пользу. Но это обстоятельство только увеличивало в его глазах вину штрафного солдата. Поссорившись с Шнитниковым из-за служебных мелочей, Васильев мучил Бестужева Федором Александровичем, а Федора Александровича Бестужевым, наряжая разжалованного на часы к комендантскому дому. И вот, Бестужев стоял в ранце и под ружьем у гостеприимного крыльца, за которым — хорошие сочувствующие люди, но он все-таки выстаивал долгие часы, положенные от смены до смены, боясь и помыслить о нарушении устава. И только по сдаче поста вела его, измученного и усталого, к столу добрая Таисия Максимовна. Нужно было верблюжье терпенье, чтобы служить под начальством Васильева. Майор был так откровенно и цинически груб, что Бестужев уже начинал подумывать: не захочет ли он показать в конце концов свою власть во всей полноте, не взбредет ли ему в голову... высечь штрафного солдата? Мороз пробегал по телу при этой мысли. Страшное подозрение было стыдно высказать даже Шнитникову. Оставалось молчать и из шкуры лезть,

чтобы не дать Васильеву малейшего повода к придирке.

«Пусть бы меня, как Прометея, терзали орлы и коршуны... но сносить ляганье осла!» *

Странно двоилась в это время жизнь Бестужева. С одной стороны — Васильев с угрозами и тупой злобой ничтожного сатрапа; с другой — сверкание славы, восторженные критические статьи, преклонение читателей, глухие отзвуки которого долетали и до Дербента. Не было тогда в России прозаика более любимого, чем Марлинский. Вокруг выдуманного имени расцветал ореол подлинного величия. Обе столицы зачитывались «Аммалат-беком» и рассказами Александра Александровича. Темные слухи о том, что автор — разжалованный офицер, что он пишет о том, что видит и в чем сам участвует, что он — один из тех кавказских героев, в которых заочно влюблялась романтическая русская молодежь, — слухи эти лишь увеличивали очарование.

В «Московском Телеграфе» признавали Марлинского «корифеем новейшей повести» русской. В «Телескопе» находили, что в его произведениях иногда «сверкает луч высшего всеоб'емлющего прозрения». Просьбы, мольбы о сотрудничестве сыпались из столичных журналов. Н. И. Надеждин предлагал любые условия.

В типографии Греча вышли отдельным изданием первые пять частей «Русских повестей и рассказов» Бестужева — без имени, даже без псевдонима. Но публика тотчас узнала любимого автора, и успех издания превзошел ожидания: 2 400 экземпляров разошлись в несколько дней.

---

* Письмо от 1.9.1832 («Русское Обозрение», 1894, X).

А Бестужев горевал и думал, стоя на часах у шнитниковского крыльца: «Неужели это вечно?» Слава и Васильев, права признанного таланта и жалкие обязанности постового солдата; любовь читающей России и постоянное опасение быть высеченным за пустейший промах, — в страшной пропасти барахтался измученный Бестужев.

«Мои повести — разорванные звенья электрической цепи, вязавшей ум мой с сердцем; но я сам не разберу концов, не сцеплю обрывков... Вот почему не написал я доселе ничего полного, развитого до последней складки».

Иногда ему казалось, что в разладе сердца и ума гибнет его талант, и он хватался за перо; неохотно принимаясь за работу, с любовью продолжал ее. Так написал он повесть «Фрегат Надежда» и посвятил женщине, пострадавшей из-за него и с ним вместе, — полковнице Екатерине Ивановне Бухариной. Он не сомневался, что повесть понравится публике, так как писалась от сердца. Повесть была отослана Гречу и Булгарину для «Сына Отечества».

Дербентская яма, в которой сидел Бестужев, становилась для него ненавистной тюрьмой. Единственным средством выбраться из нее была выслуга. Единственным средством выслуги — отличие в экспедициях. Бестужев справедливо полагал, что он уже трижды заслужил георгиевский крест: под Байбуртом, на стенах Дербента и у ворот Чиркеевского аула. Все—впустую; никакой подвиг не будет вознагражден; хоть звезду сорви с неба,—даже не заметят. Но надо было все же стучать в наглухо запертую дверь. Новый главнокомандующий, генерал-ад'ютант барон Г. В. Розен, был на линии. Снова тревожил Кази-Мулла. В июне были кровавые дела, но имам опять уцелел. Говорили, что какой-то туман помешал захватить его. Предпо-

лагалась большая экспедиция в Чечню. Бестужев начал просить об откомандировании для участия в походе.

А пока Васильев, ожидавший приезда генерала Розена в Дербент, мучил свой гарнизон восьмирядными ученьями и репетициями смотров. У Бестужева болели глаза. «Фортславский» солитер, вылезавший ежегодно из Александра Александровича четырехсаженными лентами, томил его голодом, жаждой, рвотой. От всего этого еще тяжелей казалась полная боевая амуниция; изнуряли маршировки. Васильев приказал Бестужеву сбрить усы; приказание глупое и обидное. Вышли награды за прошлогоднюю осаду. Все что-нибудь получили, — Бестужев не получил ничего. Между тем Розен двигался через Чечню; тридцать деревень уже были сожжены и истреблены, восемьдесят из'явили покорность. Кази-Мулла заперся в Гимрах за частоколами и завалами. Бестужев не поспел к развязке. 17 октября русские войска под начальством Розена штурмовали последнюю крепость имама. Кази-Мулла погиб. Над трупом славного вождя бедняков зажглась звезда нового имени. Лучший из мюридов имама, его вернейший друг и последователь Шамиль пролил кровь свою за тело учителя и кровью же врагов свирепо отомстил за потерю. Имя Шамиля звонко пронеслось по горам. Экспедиция кончилась, как всегда, притворной покорностью Чечни и разнузданным грабежом в усмиренных аулах.

В начале ноября Дербент посетил главнокомандующий. В его свите был Павлик Бестужев. Братья не виделись три года. В штабе отряда и в строевых частях, пришедших с главнокомандующим, Александр Александрович встретил множество старых знакомцев.

Это была приятная, освежающая встряска. 21 ноября Павлик уехал. Еще серее стало в Дербенте. Свидание с братом подняло целую пучину тяжких мыслей в Бестужеве. «Ваплик» не был членом Северного общества и никак не участвовал в декабрьском восстании. Он попал в Бобруйскую крепость, а оттуда на Кавказ только потому, что был Бестужевым; он страдал и влачил железные оковы службы в этой дальней земле, так как старшие братья страшной участью своей столкнули с путей жизни его детскую судьбу. Давно уже схлынули с Александра Александровича настроения памятных декабрьских дней. Даже от двойственного отношения к разгромленной революции, которое вынес Бестужев из Петропавловской крепости, не оставалось уже и следов. Все это отчасти подмерзло в Сибири, отчасти прогорело насквозь в огне атак и сшибок на ветряных перевалах кавказских хребтов.

Самодержавие и крепостное право... Эти «устои» русской жизни не то, что окрепли, а как-то закостенели в мертвой неподвижности за восемь лет николаевского царствования. Но Бестужев, когда-то пылко ненавидевший всякий деспотизм, готов был теперь и с этим помириться. Тяжек апогей самодержавия, однако еще страшней то, что готовится ему противопоставить новое поколение людей, разбуженное пушками Сенатской площади. Уже не о военном восстании, не о конституции и великом соборе депутатов будет итти речь. Пестель не умер.

Мужик и солдат страшны стали Бестужеву, — недаром вплотную рассматривал он их три года. Бестужев и его друзья в своей несчастной молодости лучше знали то, чего не надо, чем то, что надо; эти — наоборот; не конституцию учредить, а истребить дворянское племя надо им. Жив... Пугачев.

«Сегодня день моей смерти. В молчании и сокрушении правлю я тризну за упокой своей души»*.

Эти сожаления и раскаяния приходили к Бестужеву чаще всего во время уединенных прогулок по берегу моря. Он любил вскачь пускать своего коня вдоль песчаного берега, разбрызгивая морскую пену и любуясь быстротой, с которой волны смывают следы...

«Это былое и будущее»,—грустно думал он. Воспоминания уже не тяготили. Наоборот, они освежали раздавленное сердце. В картинах природы, в образах фантазии Бестужев находил прежнего себя.

«Люблю встретить бурю лицом к лицу... с наслаждением глотаю капли дождя — эти ягоды полей воздушных. Полной грудью вдыхаю вихрь... О! в буре есть что-то родственное человеку! Дремлет чайка в затишьи, но чуть взыграло море, она встрепенется, раскинет крылья на высь, с радостным криком взрежет ветер, смело поцелуется с буранами. Таков и дух мой! С самого младенчества я любил грозы: гром для меня всегда был милее песни, молния краше радуги».

«...в сочинении оживаю... Правда, я живу тогда не своею жизнью: плавное мое воображение принимает все виды; оборотень, оно влезает в кожу, оно, как рукавицу, надевает понятия лиц, созданных мною или другими; я смеюсь и плачу над листком... но это миг... я скоро простываю; слова мне кажутся так узки, перо так медленно, и потом читатели так далеки, путь к их сердцам нравственно и физически так неверен... и потом, когда вздумаю, что эта игра или страдание души все-таки поденщина для улучшения

---

* Письмо от 14.12.1832 (Н. Котляревский, Декабристы А. Одоевский и А. Бестужев, СПБ, 1907, 124).

своего быта, кисну, холодею, тяну, вяжу узлы как-нибудь»*.

25 декабря 1832 года вспыхнули притухшие надежды Бестужева на выслугу. Грузинский № 10 линейный батальон получил два солдатских георгиевских креста. Один из них нижние чины и ротные командиры единогласно присудили Бестужеву. Подполковник Васильев (он получил чин за прошлогоднюю осаду) вызвал к себе счастливца. Лицо подполковника было красно, маленькие подслеповатые глазки смотрели в угол.

— Вот что, — сказал он сердито, — тебя, как достойнейшего, выбрали господа ротные командиры и товарищи. Что ж, я не против... Только, брат, сам возложить на тебя орден не могу, — это, как хочешь. А пошлю я запрос о разрешении на линию. И тебе и мне спокойнее будет...

ФЕВРАЛЬ 1833 — АПРЕЛЬ 1834

Одна дорога ведет к жизни, и тысячи дорог — к выходу из нее.

Сенека.

ТРИДЦАТИШЕСТИЛЕТНИЙ человек, часто влюблявшийся, но никогда не любивший, Бестужев начинал уже думать, что настоящая любовь подобна духам или привидениям, о которых много говорят и которых никто не видел. Он долго старался понять, отчего не приходит к нему настоящая любовь, и, наконец, догадался:

«Сердце у меня чисто, несмотря на то, что ум XVIII века *на этот счет*... Более пылкий, чем постоянный, и, может быть, более сладострастный, чем

---

* Письмо от 16.12. 1831 («Русский Вестник», 1861, т. 32).

нежный, я губил годы в волокитстве, почти всегда счастливом, но редко дававшем мне счастье... Любила ли хоть одна из них мой ум более моей особы, мою славу более своего наслаждения? Нет... Мало есть людей, которые бы так любили женщин, так близко узнали их и так мало в них нашли... Надо было иметь такое щедрое воображение, как мое, чтобы одевать в воображаемое совершенство действительные пустяки, но я всегда любил себя обманывать, когда обман дает истинное наслаждение... Молодость моя улетает, и я хочу вырвать у нее последние цветы»*

Неожиданно в жизнь Бестужева вошла Ольга Нестерцова. Наивность этой простой девушки скоро оказалась такой умной, самый ум Ольги таким душевным и ясным, столько в ней отыскалось жизненной цельности, что Бестужев в первый раз ощутил долгожданное чувство. То, чем он привык покорять женские сердца— разочарованность, мечтательность, разрушаемая скептицизмом и сарказмами, презрительное равнодушие ко всему общечеловеческому, — все это никак не действовало на Ольгу. Она полюбила в нем именно то, что находилось в противоречии с модным типом Чайльд-Гарольда из разжалованных, — доброту, искреннюю веселость, не иссякавшую даже под прессом несчастий, благодушие, крепость физическую и нравственную. Гнилостные соки умирания, душный аромат которых так ценился в модной любви, вызывали в Ольге только отвращение. С ней приходилось быть самим собой, и Бестужев был счастлив открыть в ее чувстве к себе полнокровность и здоровый дух, не

* Из письма к брату Павлу («Отечественные Записки», 1860, май — июнь — июль) и к братьям Полевым («Русское Обозрение», 1894, X).

тронутые искусственным воспитанием. Иногда он вспоминал отца, Александра Федосеевича. Не то же ли самое происходило с ним, когда он решил жениться на нарвской мещанке Прасковье Михайловне? В минуты таких воспоминаний Ольга казалась ему бесценной находкой, — гораздо менее, чем просто любовница, но неизмеримо более, чем друг. Целуя девушку, он говорил от всего сердца:

— Оленька, невеста моя...

Грубые шутки старого конфидента всех бестужевских романов в Дербенте, Жукова, странно тревожили Александра Александровича. Он не только не бахвалился победой над голубоглазой белошвейкой, но с какой-то смешной стремительностью старался обежать в разговорах эту тему. Положительно, Ольга не была для него тем же, что остальные женщины...

Вечером 23 февраля 1833 года Бестужев пил чай у Жукова. За чайным столом собрались живший внизу вместе с Бестужевым городской лекарь Попов, застенчивый и даже робкий молодой человек, штабс-капитан Корсаков и гарнизонный священник Демидович. Денщик Жукова, Аксен Сысоев, вошел и вытянулся у притолоки:

— Александр Александрович, пожалуйте к себе, — девка бельецо принесла...

Лицо Жукова приняло цвет гранатового яблока. Он громко захохотал — не горлом и не грудью, а животом:

— Беги, дружище... Ай, да Аксен! Ишь, как иносказательно об'ясняется...

Гарнизонный священник ухмыльнулся в бороду. Он был похож на кучера в рясе, угловатый и румяный.

Бестужев не поддерживал шуток; они ему крайне

не нравились, когда касались Ольги. Как остановить их? Способ один: сказать, что Ольга — невеста. Но... язык не поворачивался. Александр Александрович спустился вниз.

Прошло минут пятнадцать. За чайным столом Жукова было очень весело, когда болтовня вдруг оборвалась на полуслове: внизу глухо грянуло.

— Выстрел!.. С кем же это воюет Бестужев? Уж не ворвался ли к нему шальной татарин из немирных?

Жуков и Корсаков шагнули к двери и столкнулись на пороге с бледным Бестужевым. Он появился в комнате на одно только мгновение. Однако все слышали его дикие слова:.

— Господа, несчастье... Ольга ранила себя... Погиб я...

Он повернул назад, за ним все ринулись вниз по лестнице. Жуков прихватил свечу. Багровые отсветы плясали по стенам. Толпой пробежали через комнату Попова. В дальней, бестужевской, горнице валялся на полу сроненный со столика шандал. На кровати Бестужева лежала Оленька Нестерцова и стонала:

— Помогите! Ой, смертушка...

Александр Александрович дрожащими пальцами расстегивал кофточку. Мысли его разбегались, как испуганное стадо баранов. Что случилось? Ужас!.. Погибель, погибель!.. Как радостно отвечала сегодня Ольга на ласки, как целовала его руки! Как резвилась! Он забыл про пистолет, всегда лежавший под изголовьем, а курок был взведен. Вот и след огня на подушке. Неосторожное движение, и — выстрел. Но кто поверит? Пощады не будет... Гибель!

Попов осмотрел рану.

— Пуля застряла в плечевой кости, там где кость сия соединяется с лопаткой, — сказал он, поднимаясь с колен.

Жуков приказывал Аксену Сысоеву:

— Беги к коменданту, доложи о происшествии. Да, гляди, чтобы — духом...

Сысоев метнулся в растерянности, сделал круг по комнате и исчез.

— Это ты хорошо сделал, — заметил Корсаков Жукову, — пускай Шнитников наряжает следствие, а не Васильев.

Бестужев слышал эти отрывочные фразы, но то, что говорила Ольга, казалось ему сейчас важнее всего. Она пришла в себя после короткого обморока и, перебирая пальцами какую-то оборочку на окровавленной кофте, повторяла с закрытыми нето от стыда, нето от слабости глазами:

— Господа, как перед богом... Не виноват он, Александр Александрович... Резвилась я... Прыгала по горнице... Потом на постели прыгала... Подушку плечом двинула... Вот и все... А он, господа, у печки стоял, у печки... Не виноват он!..

— Милая Оленька! Живи лишь, живи...

Священник Демидович подошел к Бестужеву и деловито подмигнул.

— Сейчас ее от'исповедаю я, — крепче всех следствий будет показание перед престолом господа славы.

Через час явились следователи, назначенные майором Шнитниковым. Командир роты, в которой служил Бестужев, поручик Карабаков и городовой секретарь Тернов допросили Ольгу, Аксена Сысоева, Жукова, Корсакова, самого Бестужева.

24 февраля комиссия представила следственный материал коменданту. Показания всех свидетелей сходились между собою и с тем, что обнаружила сама комиссия, как только прибыла на место происшествия. Пистолет нашелся под изголовьем, следы выстрела были ясно видны на обожженных подушках. Показа-

ния раненой девушки и исповедывавшего ее священника уничтожали последние подозрения в том, что она была умышленно ранена Бестужевым.

26 февраля Ольга Нестерцова умерла от кровоизлияния в легкое.

В этот же день подполковник Васильев нарядил новое следствие. Для его ядовитого самолюбия было нестерпимо: дело о смерти Ольги прямо касалось солдата командуемого им батальона, а прошло мимо него, через коменданта. Началась бесконечная волокита, терзавшая Бестужева страхами и унизительными процедурами допросов. Жизнь становилась несносной до отчаяния. Работа не шла на ум. Жуков и Корсаков собирались уезжать из Дербента в конце мая, — что будет без них с Бестужевым? Он ходил бледный, худой, грустный. В начале апреля, перед пасхой, чуть не задавил его солитер рвотой, — еле выбрался из смертного капкана.

Главнокомандующий барон Розен, просмотрев 31 мая и сопоставив материалы обоих следствий, решительно не нашел Бестужева виновным.

Прошло четверть века. Легенда об убийце-Бестужеве еще жила в Дербенте. Александр Дюма, об'езжая Россию в 1858 году, заскакал на Кавказ. В Дербенте ему рассказали трагическую историю давних лет, здесь случившуюся. Дюма потребовал, чтобы ему показали могилу Оленьки. Отыскали к югу от города камень с высеченной на нем розой, — могила не без секрета. Дюма присел рядом, с записной книжкой, полузакрыв глаза и сложив в бутон толстые красные губы. Во Францию поехали превосходные стихи:

Elle atteignait vingt ans—elle aimait—c'ètait belle,
Un soir elle tomba, rose brisèe aux vent,

Oh, terre de la mort, ne pèse pas sur elle,
Elle a si peu pésé sur celle des vivants *.

«Хочу дать образчик европейской критики: придрался к «Клятве при гробе» Полевого. Кончил». Так писал Бестужев брату Павлику в Тифлис 19 октября 1833 года.

Речь шла о большой критической статье, задуманной еще в прошлом году с целью высказать взгляд на природу романтизма в литературе. Растянутый и скучный роман Полевого послужил Бестужеву поводом к серьзной и сложной теоретической работе. Правда, под руками не было источников и материалов, но в голове давно уже залегли мысли, откипев и перебродив в размышлениях. «Клятва» Полевого — исторический роман. Последние годы принесли множество произведений, в которых разрабатывались именно исторические темы. Бестужев полагает в своей статье, что причина этого явления ясна: «Мы живем в веке романтизма».

Но почему первая треть XIX столетия — век романтизма? Каковы те особенности эпохи, которые делают ее литературу романтической? Чтобы ответить на этот вопрос, Бестужев предпринимает большое дело — обзор всемирной литературы от народной поэзии кафров и чукчей до романа Полевого. Из «политического быта» народов и эпох Бестужев пытается вывести те условия, которыми определился характер их литературного творчества; в прославленных

* Ей было двадцать лет; она любила и была прекрасна.
Однажды вечером она упала,—роза, сломленная ветром,
О, земля мертвых! Не тяготи ее,
Она так мало тяготила собой землю живых.

произведениях прошлого ищет он «политическую цель», общественную направленность, и без труда находит ее уже в комедиях Аристофана и вообще древних. Это стремление завоевать судьбу волей, чувство поставить на службу мысли он считает сущностью романтизма. Доказательства бегут к нему сами. Восточные сказки романтичны, так как в них «впервые простолюдины стали играть роли наравне с визирями и ханами»; из этих сказок впервые выглянул народ, как занимательное действующее лицо, — тот самый народ, который дворяне еще «водили в ошейниках, будто гончих, и ценили часто ниже гончих», — и это — романтизм. Мещанские авторы эпохи, в которую родилось и подняло голову третье сословие, с их комедиями, сатирами и эпиграммами, высмеивавшими вельмож и дворян, — подлинные романтики. Классицизм возник из Ренессанса и должен был, по смыслу вещей, служить романтизму, но попал в руки французских академиков, считавших природу демократкой, и оказался заживо замуравленным под башнями дворянских замков и монастырей. Однако движение жизни не ушло под землю, и ключ романтизма пробивался в гениальной шекспировой драме.

Восемнадцатый век — потерянный век для русской литературы. Подражательность в политическом и общественном быту ее губила, прививая ей яд ложноклассического «миндального молока». Державин положил первый камень русского романтизма не только по духу, но и по дерзости образов и новости форм. В Пушкине русский романтизм окреп, вышел на широкую дорогу гордой самобытности. Пришло такое время, когда писатель не может не быть романтиком, если хочет сохранить молодость души и ума. Эта молодость — эквивалент любой эстетической теории, которая взялась бы об'яснять романтизм с

точки зрения приемов творчества. В ней — разгадка миросозерцания, а следовательно, и сущности художественных взглядов писателей. Вот — Марлинский. Почему в своих исторических повестях он — романтик? С величайшим беспристрастием на этот вопрос о самом себе Бестужев отвечает так:

«Исторические повести Марлинского, в которых он сбросил путы книжного языка, заговорил живым русским наречием, служили дверьми в хоромы полного романа».

Марлинский — романтик, как и все, кто поймет, какие богатства духа таятся в кряже русском.

Для всего, что сказал Бестужев в своей статье, теперь нашлись бы неизмеримо более точные слова; многое звучит, как аксиома, наскучившая в повторениях. Самые мысли эти, связанные автором по всем суставам идеалистической вожжей, сегодня бесконечно далеко ушли вперед по столбовой дороге исторического материализма. Но сто лет назад, когда писалась эта статья, — и мысли и слова ее звучали так бодро, свежо, задорно, агрессивно, как ни в одной из критических русских работ, появившихся раньше. Она была напечатана в августовском номере «Московского Телеграфа».

«Уверенность в неподвижность моего жребия не охладит моего усердия к службе, ни любви к отечеству, но за то она, лишая меня завтраго, уничтожает помаленьку и мое сегодня, даже в самой словесности она не редко делает меня работником, когда бы я мог быть художником... Да, Фаддей, нравственное положение мое незавидно»...*

* Письмо к Булгарину от 15.3.1832 («Русская Старина», 1901, февраль).

«Вообразите себе мое положение: я не могу жить ни со стариной, ни с новизной русскою, я должен угадывать все на все! Мудрено ли ошибиться?.. Для Руси невозможны еще гении: она не выдержит их; вот вам вместе и разгадка моего успеха... Знаю себе цену, и как писатель, знаю и свет, который ценит меня... вот почему меня мало радует ходячесть моя... Враждебные обстоятельства мешают мне жить, не только писать»*.

Так писал Бестужев в самый разгар своей славы. Трезвость взгляда равна беспристрастию; а беспристрастие — горечи отравленного самосознания. После смерти Ольги Нестерцовой и от'езда Жукова и Корсакова, под жесткой ферулой бурбона Васильева, в городе, кишевшем сплетнями и обидными намеками, жизнь была страданьем и любимый труд каторгой. Бестужев слышал много хорошего о недавно назначенном командире Куринского пехотного полка, полковнике Клюки-фон-Клюгенау. Это была фигура романтическая, в полном смысле. Да и Куринский полк постоянно бывал в делах, — для разжалованного находка. Александр Александрович просил брата Павла похлопотать в Тифлисе о переводе в Куринский полк. Обещали. Просил Клюки, — он не был против. Дело ладилось.

В июне приехал в Дербент полковник генерального штаба Гене. Его задачей было снять кроки Табасаранских гор. Полковнику нехватало знания татарского языка. Бестужев сумел прихвастнуть свободным разговором по-татарски, и Гене выпросил его у Васильева к себе в конвой. 15 июня выехали из Дербента и целый месяц таскались по табасаранским трущобам. Бестужев оказался очень полезным помощником

* Письмо от 18.5.1833 («Русский Вестник», 1861, т. 32).

полковнику и при самой с'емке. Ездили, переодевшись татарами, что очень нравилось Александру Александровичу. Были в Кумыхе, слушали воинственные песни аварцев, наблюдали горские нравы и в буйном пьянстве пирушек, и перед лицом жестокого деспота Аслан-хана казикумыхского. За месяц Бестужев присмотрелся к горцам и заметил много такого, о чем понятия не имели русские военачальники. Ястреб, ружье, водка и жены — вот все, что интересовало любую ханскую ставку. И этим людям помогают русские и за них держатся. Среди ропота горных речек, в водопадах света, играющего на свежей зелени деревьев и яркой белизне снегов, в самом сердце радостнейшей природы, феодалы втаптывают в землю голодный народ. Как же не восставать отчаянным людям, на спинах которых черные лопатки бегают острыми углами, а ребра обтянуты коричневой кожей, словно остов палатки в дождь? Бестужев увидел живой общественный быт, со сложными внутренними отношениями, богатство и бедность, борьбу одних групп населения с другими, гнет и ненависть, — Кавказ романов и тифлисских штабов оказался мифом.

«Трудно понять, писал Бестужев, как, живя рядом, можно иметь о соседях столь ошибочные понятия о политическом составе управы между горцами и о личности видных между ними людей»*.

Впрочем, в Кассим-Кейте Александр Александрович принял от местного владетеля в подарок коня, и знатные горцы были без ума от его татарского языка, ловкости и смелого наездничества. В середине июля Гене и Бестужев вернулись в Дербент, где Александра Александровича ожидало известие, свалившее его с ног: в Георгии ему было отказано.

---

* Письмо от 28.7.1833 («Русское Обозрение», 1894. X).

Лежачего били. Васильев запретил ехать с полковником Гене на новую с'емку. Бестужев четыре дня пролежал в горячке, глотая меркурий... Поднялся, но ходил согнувшись от рези в животе. Васильев разрешил отправиться к горячим водам — на трое суток, не более. Подходили осенние смотры, предстояло маршировать по шесть часов стянутым. Бестужев совершенно упал духом. И в это время он получил от брата Павла письмо. Хлопоты о переводе из Дербента увенчались успехом. Но лучше бы не было этого успеха! Бестужев был назначен к переводу, однако не в армейский полк, а в другой линейный батальон, стоявший в Ахалцыхе. Игра не стоила свеч. Бросить налаженный жизненный обиход для того, чтобы, может быть, не найти приюта; завязывать отношения с новыми бурбонами, кланяться, пресмыкаться — для чего? Чтобы быть попрежнему гарнизонным солдатом.

Васильев посчитал приказ о переводе за евангелие и принялся гнать Бестужева из Дербента. Зима была не за горами,—уже и по эту сторону гор чувствовались ее прохладные вздохи. У Бестужева не было теплой одежды для переезда.

Новая болезнь оттянула его отправку в Ахалцых. Больной лежал в лазарете. Лекари обещали продержать на койке до весны. Хоть это хорошо. Впрочем, медицина дербентского лазарета — дубовая кора да морская вода — была не для больных. Люди умирали дюжинами от желчной лихорадки. Брат Павел обещал прислать какой-то целительный медикамент из Тифлиса. Бестужев тяготил изможденным телом госпитальную койку и ждал.

Чем сильней подавлялась личность Бестужева, тем ярче била индивидуалистическая струя в его творче-

стве. Томительное настроение находило выход в создании произведений, каждое из которых как бы проектировало идеально воображаемую жизнь. Страшное существование рождало страстные характеры действующих лиц. Мулла Нур, герой одного из «Кавказских очерков», — именно таков. Этот разбойник — носитель всех качеств правды и чести, живой укор обществу людскому. Самая порочность его гражданского положения лишь вызывает в читателе гнев по адресу общества, вытеснившего из своего круга такого замечательного человека. «Кавказские очерки» Бестужева печатались в «Библиотеке для чтения» О. Сенковского, начиная с 1834 года, и имели громадный успех—прямое доказательство того, что и читатели Марлинского разделяли ощущение жестокой тягости неосмысленной жизни и стремились уйти из нее, подняться над ней.

Но при всей широте и остроте общественных тенденций, заложенных в кавказском творчестве Бестужева, оно — творчество русского офицера-победителя, досадующего, что победа не обошлась дешево. Отсюда, с одной стороны, некоторое презрение к горцам; с другой — романтические преувеличения тех свойств, которыми определялась способность горцев к сопротивлению русским. Первое потребовалось Бестужеву для того, чтобы подчеркнуть превосходство европейца-колонизатора над полудикарями*; второе, чтобы оправдать удары, которые наносились горцами своим победителям. Страсть к свободе, могучая и неистовая, —

* Это—несмотря на то, что Бестужев отлично видел первичные результаты внедрения русских колонизаторов на Кавказ: «Вот наши колонии! Посмотрите, что теперь Эривань, что Ахальцы под нашими знаменами — это жалкие груды развалин, обитаемые шакалами. Все бежит, все сохнет». Письмо Полевому от 14.12.1832.

одно из таких оправданий. Захваченный сюжетом, всегда занимательным, полной грудью вдыхая аромат романтической небывальщины, читатель увлекался потоком красочных изображений, психологических тонкостей, резких противопоставлений, цельных характеров.

Романтизм Бестужева кавказской эпохи его творчества — прямое предвещание реализма в русской литературе. Быт, исторические отступления, верность типов, психологическая мотивировка поступков, — все это несомненная дань реализму. Едва ли можно было требовать от Бестужева большего. Он исчез из сферы живых литературных интересов в тот момент, когда ступеньки к сущности реалистического творчества еще только нащупывались. Он унес с собой разбитое и затемненное страданиями воспоминание о характере переходного периода. С этим воспоминанием он жил в ссылке, дорожа им и вместе с тем утрачивая способность понимать ход дальнейшего развития литературы: он был наглухо отрезан от той сферы, где развитие совершалось, и мыслил памятью. Воспоминания еще приковывали его к прошедшему, а между тем свободный гений Пушкина уже привел литературу к «Борису Годунову» и «Онегину». Если бы Бестужев присутствовал при зарождении тех условий, в которых Пушкин творил эти произведения, он понял бы все, и реальная драма и реальный роман Пушкина не показались бы ему неожиданным прыжком в неизвестное. Но он был оторван.

Вот уже чемодан и книги почтой отправлены в Ахалцых. 2 апреля — день выезда. Путь — через Кубу, Нуху, Тифлис. Накануне Бестужев ходил к морю прощаться; долго смотрел на кипучие синие валы, заключенные в песчаной тюрьме берегов; слушал стоны необозримой, бурно дышащей груди.

Армяне, татары, персы, русские,—половина Дербента провожала Бестужева в далекий путь. Бестужева любили в ненавистном для него Дербенте. Его добрый и веселый нрав, хорошее знание татарского языка, грустная и непонятная для многих судьба, — все это привлекало сердца и мысли дербентцев к изгнаннику. Верхом и пешком двигалась толпа провожавших за дорожной повозкой верст двадцать, — до самого Самура. Палили из ружей в прозрачное небо; пускали ракеты; жгли факелы; били в бубны, пели, плясали... Каждый провожал по-своему. Но когда повозка стала осторожно спускаться к Самурской переправе, вся эта разноцветная толпа закричала, завизжала, завыла:

— Прощай, друг Искендер-бек! На пути твоем, Искендер, лежат наши пожелания. Прощай!

АПРЕЛЬ 1834 — МАЙ 1836

Принципы — это автор.

Бальзак.

БЕСТУЖЕВ обогнул Боржомское ущелье по гребню, повисшему над бунтовавшей Курой. Река залила и размыла нижнюю дорогу, сорвала мосты. Дикие, грозные картины поднимались со всех сторон. Бестужев часто соскакивал с седла и, пустив послушную лошадь, бродил по скатам ущелий и краям бездонных провалов с узенькими полосками освещенной солнцем яркой зелени на стосаженной глубине. Его карманы были полны кусками базальтов и шиферов, наплывных пудингов и никому неведомых горных пород. Так и в'ехал он с этой богатейшей коллекцией в Ахалцых, представлявший собою груду сонных развалин.

Бестужев чувствовал себя хорошо. Здоровье вернулось.

«Да и надо, правду сказать, иметь медвежьи ребра, чтобы итти с голыми кулаками на судьбу»*.

Скоро Александр Александрович сделался любимцем незатейливого ахалцыхского общества. Впрочем, он был теперь мало похож на прежнего разговорчивого и весело-общительного Бестужева. Когда ему хотелось говорить, он садился писать; и возможности слушать предпочитал чтение. Он аккуратно проглядывал высылавшиеся ему из обеих столиц все журналы и, наталкиваясь на хвалебные статьи о «Русских повестях» Марлинского, иной раз сладко засыпал над дифирамбами.

Однажды свежий номер «Молвы» со статьей, оригинально озаглавленной — «Литературные мечтания — элегия в прозе» и подписанной неизвестным именем — В. Белинский, приковал к себе взволнованное внимание Бестужева. Из первых же строк статьи было видно, что автор бил по литературным авторитетам.

«У нас еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, детское благоговение к авторитетам: мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и боимся говорить вслух правду о высоких персонах... Дети, мы еще все молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания».

Новые, смелые, свежие слова! Бестужев читал их с замиранием сердца. Если так, то сейчас Белинский

---

* Письмо от 2.8.1834 («Русский Вестник», 1861, т. 32).

скажет и о Марлинском... Выйдя на бой с авторитетами, он не может миновать Марлинского... сейчас... сейчас... Глаза прыгали через строчки, жадно отыскивая. Вот!

«Почти вместе с Пушкиным вышел на литературное поприще и Марлинский... На безлюдье истинных талантов в нашей литературе талант Марлинского, конечно, явление очень примечательное. Он одарён остроумием неподдельным, владеет способностью рассказа, нередко живого и увлекательного, умеет снимать с природы картинки — загляденье. Но вместе с этим нельзя не сознаться, что его талант чрезвычайно односторонен, что его претензии и пламень чувства весьма подозрительны, что в его созданиях нет никакой философии, никакого драматизма, что вследствие этого все герои его повестей сбиты на одну колодку... Натяжки у Марлинского такой конек, с которого он редко слезает. Ни одно из действующих лиц его повестей не скажет ни слова просто, но вечно с ужимкой, вечно с эпиграммой или с каламбуром... каждая копейка ребром, каждое слово завитком. Надо сказать правду: природа с избытком наградила его этим остроумием, веселым и добродушным, которое колет, но не язвит, щекочет, но не кусает, но и здесь он часто пересаливает... По мне, лучшие его повести суть «Испытание» и «Лейтенант Белозор». В них можно от души полюбоваться его талантом, ибо он в них в своей тарелке. Он смеется над своим стихотворством, но мне перевод его песни горцев в «Аммалат-беке» кажется лучше всей повести, в них так много чувства, так много оригинальности, что и Пушкин не постыдился бы их назвать своими...»

Номер «Молвы» выпал из рук Бестужева. Такого удара он не ожидал, не мог ожидать. Белинский прав; но бывает правда хуже лжи, когда речь идет об од-

них фактах и в расчет намеренно не принимается почва, из которой выросли факты. Что может быть уродливее, болезненнее, жалче унылого затворничества в гарнизонах, которое родило и «Аммалат-бека» и все прочее, написанное Марлинским? А пламень чувства, заливаемый ледяными потоками страха, а философия, раздавленная отверженностью, а драматизм, кажущийся выдуманным, когда он — только бледное отражение поразительных происшествий собственной биографии автора, — как судить обо всем этом критику, сидящему за письменным столом у себя в кабинете? И все-таки Белинский прав. Но он не сказал ничего нового автору, — Бестужев никогда не ценил своих произведений так высоко, как его редакторы и читатели. Он всегда знал их недостатки.

Статья Белинского произвела на Бестужева тяжкое впечатление. Не задумываясь, он присел за стол и написал генералу Вальховскому французское письмо с самой убедительной просьбой отправить его в экспедицию:

«Пока я существую, я могу наносить хорошие удары и пасть, не отступая»...*

В начале октября 1834 года русские войска, назначенные в экспедицию, стояли лагерем на реке Абине в земле закубанских шапсугов, строя здесь укрепление на один батальон. Это был трудный лагерь: каждая фуражировка—бой; каждый клок сена, сучок дерева, пригоршня мутной воды стоили людей и крови. Бестужев дышал дымом пороха и пожаров. С утра выезжал он джигитовать на пистолетный выстрел от неприятеля и кончал эту забаву под вечер. Стрел-

* Письмо от 25.6.1834 («Новое Время», 1891, 15 апреля).

ки шли занимать лес, громить аул — Бестужев с ними, и всегда впереди. Казаки скакали разгонять партию наездников — Бестужев тут как тут. Шапсуги умели драться, были спокойны даже под картечью, и яростно кидались в шашки на пешую цепь, — прелесть, что за народ! Среди них у Бестужева завязались знакомства; кое-кто из закубанских удальцов помнил лихость Якубовича — верный повод для огневого куначества, — и уж эти кунаки ни в кого не стреляли, кроме как в Бестужева. Александр Александрович дрался без цели, без долга, вполне бескорыстно, для удовольствия, — наслаждаться жизнью может только тот, кто не дорожит ею. В этом — вся поэзия личной храбрости.

Между Ольгинским тет-де-поном * на Кубани, откуда вышел отряд, и укреплением на реке Абине, которое он строил, лежали непроходимые Лагофишские и Аушедские болота. От Абина до Геленджика, куда предстояло отряду пройти походом, горная дорога была загромождена завалами, перекопана и изрыта. Солдаты говорили:

— От Кубани до Абина — первый перевод людей, на Абине — второй перевод, до Геленджика — третий.

10 октября 6 тысяч человек с 28 орудиями выступили под град и ливень с Абина через Атакуаф на Геленджик. Буря ревела, горы стонали, дробя и перекатывая в ущельях пушечные выстрелы. Горцы бросались в шашки, раненые и убитые срывались с откосов и стремглав летели вниз, звон саперных топоров визгливо перекликался на грозных скалах, заросших колючкой, засеки и завалы вырастали через каж-

* Предмостное укрепление.

дую полуверсту. Шли медленно, — за день не больше пяти верст; лес заплетал дорогу терном, — с боем рубили чащу. 13 октября вышли в глубокую котловину, на перекрестке многих ущелий, в ложе полувысохшей речки Шадо-Гопе. Начальник экспедиции генерал Вельяминов, рыжий чудак, любивший все грандиозное, с четырьмя батальонами пехоты выступил на гору для разведки дороги через громадную сахарную голову хребта Маркоч, изрытую глубокими лесистыми стремнинами. Из оврагов свистели пули, с вершин валились камни; подвывая ветру, через горные гребни летели стрелы. Два часа продолжался под'ем, и Бестужев полз, хватаясь за корни деревьев, похожих на гигантские ящерицы, за кусты и острые выступы камня. С темени Маркоча в ослепительном блеске солнца открылось зелено-голубое море с пенящимися заливами, и под быстро бегущей ниже ног тучей обозначился черным пятном Геленджик — город землянок, крепость мучеников. До 22 октября отряд расчищал дорогу — камень горел под кирками, порох разносил в клочья скалы. Наконец, вышли к морю, стали биваком на геленджикской эспланаде, и тихая, полумертвая крепостца превратилась в шумный стан — солдаты грелись у костров, казаки скакали с поручениями, земля дымилась от множества огней и ухала под конскими копытами.

Бестужеву был люб этот сумбур бивачной жизни — не оставалось времени для дум.

Пошел дождь. Бестужева втолкнули в землянку. Сквозь крышу проливались теплые потоки мутной воды. И это — пустяк! Бестужев был доволен — недоставало только зонтика. Походный архив — в боковом кармане шинели, остальное — на артельной ротной повозке.

К середине ноября Бестужев был в Ставрополе, где стоял штаб кавказской линии; не без увлечения вспоминал впечатления похода и дивился самому себе: улетела вера в то, чтобы свинец мог коснуться, и свист пуль стал тем же, что и свист ветра, — даже и того незаметней. Жаль — все прискучивает, и кровь перестает зажигаться.

«После восторга любви я не знаю высшего восторга для телесного человека, как победа, потому что к чувству силы примешано тут чувство славы» *.

Бестужев ничего не писал. С какой-то новой, никогда раньше ему не свойственной деловитостью, улаживал он свои материальные дела. При этом меньше всего думал о себе; судьба матери, сестер, каторжных братьев начала жестоко его тревожить. Что будет с ними потом? Вопрос о собственной конченности был для него решен бесповоротно. Срок его не беспокоил — хоть завтра!

В Ставрополе Бестужев жил вместе со старшим ад'ютантом штаба линии П. А. Кохановым. Это был добродушнейший толстяк, проводивший вечера и ночи в гостинице грека Найтаки за игрой в горку, утра — в постели, а дни — в штабе. В ночь на 11 января Бестужев выпил крепкого чая и лег в постель, завернувшись до подбородка, по старой кадетской привычке, в теплое одеяло, как в мешок. Он быстро заснул и так же быстро проснулся, сев на кровати в припадке страшной физической тоски. Быстрые судороги в груди перехватывали дыхание, сердце умолкало, падая вниз, руки и ноги ощущали ледяной холод смерти. Но мысли скользили в голове, — ясные и прозрачные. Смерть! Почему же нет никакого страха? Что это? Апатия духа или мужество тела? Бестужев

---

* Письмо от 20.11.1834 («Русский Вестник», 1861, т. 32).

хотел крикнуть и — не мог: голоса не было. Он уже не знал, существует ли еще сам. Кто-то повалился на постель и захрипел. Бестужеву казалось, что он смотрит на себя со стороны. Дверь распахнулась, и Коханов вошел, игриво напевая из «Фанеллы», — очевидно, он был в выигрыше. Услышав хрип, остановился, нелепо притопнув ногами на месте, испугался.

— Кто это? Что такое? Бестужев — вы?

Сообразив, бросился вон из комнаты будить денщика, искать лекаря. В течение ночи странный припадок пять раз повторялся с Бестужевым. Утром ему пустили кровь. Сердце забилось ровнее, судороги прекратились, но бессонница, головная боль и ощущение какой-то холодной пустоты в груди больше уже никогда не оставляли его.

Из Ставрополя Бестужев выпросился в линейный отряд генерала Засса. Сделав в феврале два воровских набега за Кубань на аулы немирных горцев, спалив несколько селений, отбив тысяч восемь баранов, отрезав десяток краснобородых шапсугских голов (генерал Засс платил линейцам по червонцу за голову, — он отсылал их в берлинскую академию для исследований), зассовские казаки вернулись домой и разместились по станицам. Бестужеву полюбились эти лихие зимние наезды, когда земля, покрытая снегом, не звучит под нековаными копытами, ничто не брякнет, ни слова, ни огонька; на рассвете пар белеет над конями; горы румянятся заревом утра; аул; дым вьется из труб, петухи поют; и вдруг — команда; в полный скок несутся казаки; из-за частокола повизгивают пули абадзехского караула; крики, вопли, детский плач, лай собак; ворота дрожат под бревнами,—упали; три сотни казаков рассыпались по аулу,— он пуст, жители ушли; квакают гранаты, грохочут взрывы, огненными птицами прыгают по соломенным

крышам ловко брошенные палительные свечки; за черной завесой дыма сверкает золотыми молниями пламя. Аул разграблен. Назад — с боем, до самой Кубани. Он полюбил эту бесцельную, бессмысленную войну, если война и налеты грабителей — одно и то же. Не жалея себя, он не жалел и горцев, хотя вовсе не чувствовал к ним злобы, как к врагам, и искренно удивлялся, когда их упрекали в неблагодарности. За что им быть благодарными? Или русские штыки и картечь — благодеяние? Сами русские возвели разбой на степень войны, и все это для того, чтобы вывозить в Россию дрянной шелк, кислое вино, подмешанный шафран и крап для карточной фабрики.

«Из короба не лезем, в коробе не едем и короба не отдаем».

Впрочем, теперь ему было все равно. Бессонница и звоны в ушах не прекращались. 13 мая 1835 года Бестужев подал рапорт о разрешении отбыть на Пятигорские воды для излечения от судорожных биений сердца.

В «Библиотеке для чтения» О. Сенковского появилась заметка:

«Мы получили прискорбное известие, что А. Марлинский был долгое время болен и что здоровье его еще не восстановилось. Одно это обстоятельство доселе лишает наших читателей удовольствия наслаждаться... трудами этого блистательного писателя. Мы надеемся, однако ж, скоро получить от него несколько статей».

Бестужев проводил отпуск на Пятигорских водах. У Николаевских ванн гремела военная музыка; под звуки «Нормы» катилась по главной улице города, по бульвару, к Елизаветинскому источнику цветистая

толпа гуляющих. Степные помещицы с бледнолицыми дочками жадно смотрели на молодых людей. Несколько заезжих петербургских бездельников в песочных фраках и громадных циммермановских шляпах ловко вскидывали монокли, небрежно осматривая встречных женщин. Офицеры — один-два гвардейских, прочие кавказцы,— с хлыстиками в руках, делали марши в самых разнообразных направлениях для удобства наблюдений. Все это шумело, болтало по-французски и по-русски, искрилось смехом и веселыми шутками.

Бестужев обычно гулял у источника, желтый, бледный, в венгерке, в фантастической шапочке, окруженный гирляндой дам, упивавшихся разговором с живым Марлинским. В этом виде он был похож на нарядный венский пирог, долго простоявший за окном кондитерской. Кто-то указал Александру Александровичу на богатейшего польского магната князя Сангушко, высланного солдатом на Кавказ после восстания 1830 года. Сангушко был в рыжей папахе и солдатской шинели, провонявшей махоркой. Сбросив венгерку и отличие «порядочных» людей — брейтигамовские сапоги, Бестужев стал являться к источнику тоже в шинели. За обедом у генерала Вальховского, проживавшего с семьей на водах, спросили Бестужева:

— Правда ли, что Аммалат-бек и Салтанета взяты из жизни? Правда ли, что Салтанета такая красавица?

— Правда,— отвечал Александр Александрович,— все так и было. Только Салтанету я немножко прикрасил. На самом же деле, она была здоровенная тютюля...

Весь стол захохотал. Бестужеву стало грустно. Он больше не любил своих героев. Ванны не помогали

ему. Опять шевелился солитер, плясало в судорожных прыжках сердце. Бестужев свалился в постель. Прощай, чугунное здоровье! В постели узнал он о своем производстве в унтер-офицеры. Эта «милость», которой он ждал шесть лет, очевидно, вела к получению офицерского чина, но и это не радовало, — поздно, все поздно... Почти одновременно попалась ему в руки новая статья В. Белинского «О русской повести и повестях Гоголя». На этот раз критик признавал Марлинского «зачинщиком русской повести», но решительно отказывался признать его произведения реальной поэзией, так как не находил в них истины жизни, действительности такой, как она есть. Он не считал их и идеальной поэзией, полагая, что яркая цветистость слога никогда не бывает следствием глубокого, страдательного и энергического чувства. Европейская манера письма, ум, образованность, отдельные прекрасные мысли — вот, по мнению Белинского, причина успеха повестей Марлинского, успеха чрезмерного.

Бестужев видел, что для Белинского спор классиков с романтиками — прошлое, очень мало интересное; что и романтизм — тоже прошлое; что новое, называемое Белинским реальной поэзией, сбрасывает со счетов сегодняшнего дня попытки Бестужева овладеть сложной простотой жизни. А он еще жил этим прошлым, заброшенный, одинокий. Оставалось — или подняться во весь рост в каком-нибудь большом романе и опрокинуть нападки, или смириться.

«Ей-богу, лучше пуля, чем жизнь, какую я веду... Мое нервозное сложение — эолова арфа... непогоды ржавят струны и ветры рвут их, а милые читатели упрекают: «что вы ничего не пишете?» Положил бы я их на мою Прокрустову кроватку, да впрятал бы в

мою дырявую кожу, — посмотрел, много ли бы они написали романов?»*

Не кончив курса лечения, Бестужев отправился в экспедиционный отряд на Кубань.

«Бивуак—плохой верстак для поэзии, а дух мой чернее, нежели когда-нибудь», — писал Александр Александрович брату Павлу из Екатеринодара 30 августа 1835 года.

Он шел омывать кровью свои унтер-офицерские галуны без всякого душевного под'ема. Из Ольгинского тет-де-пона выступили в составе трех полков — Тенгинского, Навагинского и Кабардинского егерского, с полевой и горной артиллерией, с черноморскими казаками. Бестужев шел с черноморцами, хотя и был прикомандирован к Тенгинскому полку. Цель похода заключалась в рекогносцировке от Абина к Геленджику (вернее, к Суджукской бухте) через перевал Нахо и в прокладке путей к новому береговому укреплению св. Николая. Опять — ливни с неба и свинцовые — с гор; молния освещает голые вершины и по ребрам скал пробегает огненными змейками; летучая палатка для разжалованных — солдаты называли ее «дворянскою» — дрожит под ударами бури; невыносимы усилия тела; жестоки опасности в стрелковой цепи, шинель исстреляна, конь ранен, но пули не берут...

26 октября двинулись назад к Абину, а оттуда к Ольгинскому лагерю, где и стали на четырнадцать дней в карантин, так как в азиатской Турции открылась чума. Скучен карантинный лагерь, но еще скучнее оказалась стоянка в деревне Ивановке, штаб-квартире Тенгинского полка. Три недели падал с не-

* Письмо от 19.8.1835 («Русский Вестник», 1861, т. 32).

ба прозаический мелкий дождик с сумасшедшим постоянством. Дороги исчезли. Всегда грязное Черноморье превратилось в густую и скользкую прорву, в которой барахтались люди и телеги застревали по ступицу. В хате, отведенной Бестужеву под постой, не было ни пола, ни стола, ни стула. Дым слепил глаза, и слезы на них не высыхали. Лихорадка с неумолимой точностью через день швыряла Бестужева на кровать. Осенняя экспедиция доконала его.

Вспоминая боевые труды, в которые впрягся он, как разбитая почтовая лошадь, и которые стоили ему, при его слабости, втрое дороже, чем другим, Александр Александрович недоумевал, как он мог все это вынести. И вот — результат: он не в силах пятидесяти шагов пройти, таково изнурение; скука в грязи — эмблема существования; четырехдневная горячка, еле прерванная самыми сильными средствами, — награда за подвиги, дважды упомянутые в реляции о походе. А ведь у генерала Вельяминова даром не только строчки, но и запятой не достанется...

«Меня можно вставить в фонарь вместо стекла»...

Жизнь явно подходила к концу, но бремя ее не становилось легче. Жизненное бремя... Да это какой-то чурбан, с которым бегаешь до смерти. То на голове понесешь, то на спину взвалишь, то просто по земле волочишь его... И с грузом этим так никогда и не выбьешься из жизненной давки.

Бестужев отстроил свою постойную избу: солдаты-печники переложили печь, плотники настлали пол и поставили конюшню из хорошего теса, под крепкой крышей. Все было готово к зимовке, и Бестужев уже развешивал по невыбеленным стенам ковры, амуницию, гольденбаховское ружье, присланное братом из Тифлиса, превосходные кухенрейтеровские пистолеты.

В декабре его вызвали в штаб полка. Писарь про-

тянул предписание. Бестужев взглянул и еле устоял на ногах: перевод в крепость Геленджик, в 3-й черноморский батальон... Александр Александрович бросился к ад'ютанту.

— Позвольте... Почему же перевод об'явлен мне сейчас, когда я уже обстроился и обставился на зимовку, затратился очень, а не раньше? Ведь это с издевательством схоже...

Ад'ютант смущенно разводил руками. Бестужева охватило бешенство. Опять преследуют...

«За что подозревают меня? Ей-богу, не приложу ума. Никогда и ни с кем не говорю о политике, ничего не делаю противного самой привязчивой службе — все напрасно; у меня прежнее лежит будущим» *.

Вернувшись в хату, для чего надо было переплыть через черную бездну грязи, Бестужев в бессилии сел за тесовый, некрашенный, только-что сделанный для него столик. Геленджик — зеленое море, лавровые веники в бане, камбала, много моряков, добродушный комендант...

Чорт с ней, с Ивановкой! Все равно.

Единственное разумное об'яснение своего перевода в Геленджик Бестужев видел в желании начальства устранить возможность встречи собиравшегося посетить Кавказ императора с ним, Бестужевым. Он ошибался. Начальство хотело совсем другого.

Геленджик представлял собой кучу землянок, душных в жар, грязных в дождь, сырых и темных всегда. Крепость сидела у моря, на берегу залива. Два батальона составляли ее гарнизон. Люди, посаженные

---

* Письмо от 31.12.1835 («Отечественные Записки», 1860, май—июнь—июль).

в этот страшный мешок, не могли круглый год высунуть нос за стену, так как горцы били даже часовых на валу. Почты не было. Сообщения с миром были возможны только по морю и зависели от редких визитов казачьих баркасов или пароходов Черноморской флотилии. В жизненных припасах была вечная нехватка. Зимой горцы отбили весь лазаретный скот. Гарнизон питался солониной. Скорбут и желчная лихорадка держали треть людей в лазарете; две других трети по очереди караулили крепость от неожиданного нападения и отдыхали. Солдаты и офицеры имели истомленный и жалкий вид — беспокойство, болезни, тоска их снедали. Хоронить не успевали; из мертвецкой палатки на задах лазарета торчали синие руки и ноги покойников, дожидавшихся погребения за крепостной стеной. Да и похороны никогда не обходились без жертв: горцам с прибрежных скал было удобно расстреливать живых, когда они прощались со своими мертвыми.

В таком-то гнезде предстояло Бестужеву «нести орлиные яйца» русской словесности, которых требовали от него издатели, критики и читатели.

«Я заметил, что чем больше стараюсь я выслужить что-нибудь доброе, тем хуже мне это отзывается. Сижу спокойно, и меня оставляют в покое. Это однако ж не охладит моего рвения к службе. Есть за меня потомство, если нет современников» *.

Бестужев усердно занимался итальянским языком. Надо же чем-нибудь заниматься! Данте, трубка и мысли подгоняли время, медленный ход которого отдавался в ушах болезненным воем. Сердце опять плясало.

---

* Письмо от 25. 4. 1836 («Отечественные Записки», 1860, май—июнь—июль).

В мае он заболел и свалился на койку.

«Геленджик меня уходит. Да и можно ли быть здоровым в климате, где на ногах сапоги плесневеют, где под полом лужа, а кровля — решето. У меня род горячки со рвотою; отдало было, да теперь вновь хуже прежнего. Здесь еще холодно, трав нет, смертность в крепости ужасная, что день от 3 до 5 человек умирают... Отряд должен скоро быть сюда, и если меня не прикомандируют к нему, я право не знаю, как я вынесу эту мерзкую жизнь» *.

Он лежал без сил на колченогой своей постели, вдыхая затхлый воздух двухоконной землянки и проглядывая номер «Русского Инвалида» от 3 мая, успевший уже пожелтеть за девятнадцать дней, в продолжение которых чудом добрался из Петербурга в Геленджик. Десятки незнакомых фамилий мелькали в глазах — производства, награждения, перемещения, отставки. Вдруг Бестужев живо повернулся на бок и, опершись локтем на подушку, поднес газету к лицу. Что такое? Кто, какой Бестужев? Побледнев, он упал навзничь; в горле булькало, жесткий комок распер грудь, под веками — огонь слез.

«Производятся... унтер-офицер Александр Бестужев в прапорщики»...

О, этого не вырубишь топором! Он вскочил с постели и, шатаясь, подбежал к окну с газетой. Действительно, он — офицер. Бестужев не читал дальше. Только через час какие-то прапорщики и поручики, ввалившиеся к нему в землянку с бутылкой рома для поздравления, пальцами показали на вторую строчку приказа: «с прикомандированием к Черноморскому № 5 батальону».

---

* Письмо от 26. 5. 1836 («Отечественные Записки», 1860, май—июнь—июль).

— Это, брат, Гагры и Пицунда — самый гробовой гарнизон на побережье... Это, брат, похлеще нашего Геленджика... Ишь, нашли для тебя место...

Пусть! Пусть это не больше, чем маска смерти. Пусть это значит только, что при похоронах будет целый взвод, а не один артельщик. Но есть еще время до смерти и похорон, — время это полно громадного смысла: он уже не вещь, а лицо; уже нельзя унижать его безнаказанно первому встречному. Это не была ребяческая радость первого офицерства, когда белый султан и шитый воротник сводили с ума и хотелось расцеловать часового, отбрякнувшего «на караул». Теперь с офицерством открывалась частичка мира, выстраданная, выбитая штыком. К вечеру Бестужев лежал на койке в жестоком припадке болезни — нежданная радость иногда убивает скорее, чем нежданная беда. Но утром ему уже казалось, что он здоров. Прежде всего — вон из Геленджика!

МАЙ 1836 — 7 ИЮНЯ 1837

> Чем ближе я к пределу моего течения, тем попутнее становятся ветры.
>
> *Лунин.*

КАВКАЗСКИЕ шутники называли Керчь недоноском Одессы. Это был город-декорация, средоточие мещанского великолепия и пышных затей, очень мало отвечающих действительности. Вокруг высокой горы, носящей громкое имя Митридатовой, развернулись шеренги лачужек. На полугоре — музей в виде Тезеева храма, с широкой каменной лестницей, украшенной

двумя грифонами. Впрочем, рыхлый плитняк, из которого сооружена лестница, уже распадался на части, а у грифонов городские мальчишки давно отбили лапы и крылья. Пустынные голые курганы со всех сторон навалились на город, в котором три чахлых деревца почитались жителями рощей.

В Керчь Бестужев приехал, чтобы выдержать здесь установленный карантин и обмундироваться.

В перерывах между пароксизмами лихорадки он ходил по городу, собирая обломки горшков и древних стен, — в надежде натолкнуться на пантикапейскую древность. Любовался бухтой, где всегда стояло на якоре до полусотни судов. Волны ударялись о берег; море бежало к Бестужеву; с ним бежали к нему тревожные мысли. Солнце золотило живую поверхность моря. Лазоревые тени неслись по ее сверкающей чешуе. В лиловой дали тонула бледная полоска кавказских берегов. Чайки кричали, скользя по воде, качаясь на ее пенистых гребешках, то взносясь в высокие розовые просторы, то стремительно падая вниз.

О будущем Бестужев почти не думал, оно было безотрадно и обманчиво, как всегда; передумывая прошлое, он в тысячный раз проходил мыслью «зады грозного подушкинского пансиона». Довольно! Довольно с раскаяниями обращаться к тому, что было, и с мольбой простирать руки к тому, что будет, — ответа нет ниоткуда...

Надо было ехать в отряд за получением бумаг, а оттуда через Тифлис к месту назначения. Так сложилось, что корвет «Ифигения», на котором путешествовал новороссийский генерал-губернатор граф М. С. Воронцов, заглянув в Керченскую бухту, захватил нового пассажира — Бестужева. Воронцов — ревнивый враг Пушкина, englизированный русский вельможа, презиравший грубое российское рабство,

бледневший при слове «кнут», генерал культурный, любезный и хитрый, тотчас отметил Бестужева, служившего отличным гидом для собравшегося на корвете общества. Ему понравилось слушать рассказы Александра Александровича о Кавказе. Мысль рассказчика была похожа на туго свернутую пружину — вдруг вырвется наружу и ударит, — всегда в цель. Воронцов ценил в людях ум и образование. Бестужев пришелся ему по вкусу. Сам Александр Александрович из сил выбивался, чтобы завладеть графским вниманием. Ловкая искательность Бестужева не осталась без последствий. Воронцов согласился передать начальнику Третьего отделения Бенкендорфу ходатайство Бестужева о переводе на гражданскую службу, подкрепив его своим «мнением»: граф считал полезным назначить ему жительство в Керчь-Еникале «с употреблением на службу при тамошнем градоначальнике». Полный надежд и ожиданий, Бестужев покинул корвет «Ифигения».

Кавказ представлялся далеким русским обывателям страной людей долга и чести, чудаков и разочарованных мечтателей, куда они ехали топить горе, искать смерти или обновлять душу в геройских подвигах. Марлинский немало способствовал своими произведениями установлению такого взгляда. Но Бестужев уже давно пережил эти настроения, и наедине с собой, в лихорадочном полубреду спрашивал себя с тоской:

«Отчего на этих местах истребления и запустения не могла бы процветать мирная культура?.. Ведь русские так великодушны, добродушны и справедливы... и горцы — они честны и по-своему добры... Отчего им не покинуть свои предрассудки и не стать нашими братьями по просвещению?.. Опять набеги, опять убийство! — Когда-то перестанет литься кровь на угорьях?»

Бестужев не понимал смысла кавказской войны. Но он все-таки поставил перед собой вопрос о ее смысле. Этого было достаточно, чтобы сознание ложности и фальши своего участия в побоище — гуманист и философ режет, стреляет, жжет, грабит, — уничтожило теперь все то, чем раньше оправдывал он свою боевую горячку. Да, для нее не было больше оправдания...

С такими настроениями Бестужев проделал осеннюю экспедицию 1836 года с Кубани через хребет к Суджукской бухте и Анапе, вокруг которых развернулась «мелкая» истребительная война. Несмотря на свое новое, вполне отрицательное отношение к этой войне, Бестужев напросился на участие в экспедиции, — действовал личный интерес: ему хотелось быть, по крайней мере, раненым. Только это могло помочь отставке из военной службы и возвращению на родину. Но экспедиция не принесла ничего, кроме бесконечного утомления и вторичного прикомандирования к Тенгинскому полку. Тоска по нормальной жизни, простом существовании деятельного человека, литератора, посильно служащего России пером, стала основным чувством, которое еще не растратил Бестужев. И смутные желания, в которых ему долгое время было неловко признаться самому себе, начинали одолевать его: он хотел видеть вокруг себя семью, свою собственную семью, которой можно было бы передать лучшее из того, что пронес он в душе через потоп несчастий и ураган борьбы.

10 ноября отряд генерала Вельяминова, в котором Бестужев делал поход, вернулся на Кубань и стал лагерем у Ольгинского тет-де-пона. Холод, снег, слякоть, палатки, хворост вместо дров, летнее платье, усталость после походных трудов, нервное раздражение после пяти горячих схваток, в которых побывал Бе-

стужев за два месяца экспедиции, — давно знакомые вещи.

Лета уходят... Бестужев готовился перевалить за сорок, — время, когда человек начинает жить в крепости, которую осаждает смерть и непременно возьмет. Эти предсмертные ощущения были сильны в нем; он говорил, что живет гальванической жизнью.

23 ноября стало известно, чем кончились хлопоты Воронцова о переводе Бестужева с военной службы в гражданскую; они кончились его переводом по инвалидности... из Гагр в 10 Черноморский батальон, стоявший в Кутаисе *.

«Видно, только в могиле успокоюсь я» *, — писал Александр Александрович брату Павлу из Тамани, в которую заехал по дороге в Тифлис, откуда надо было отправляться в Имеретию.

Страшное отчаяние владело им в это время **.

Конец зимы Бестужев провел в Тифлисе, опять добиваясь назначения в экспедицию. Главнокомандующий барон Г. В. Розен, мрачный немец, принял его довольно милостиво и охотно согласился прикомандировать к Грузинскому гренадерскому полку, который должен был участвовать в весенней экспедиции. Этого только и надо было Бестужеву.

Он жил в Тифлисе у походного приятеля прошлых лет, полковника Потоцкого. Познакомившись в его

---

* На докладе Бенкендорфа 20.9.1836 наложена императором Николаем такая резолюция:

«Мнение гр. Воронцова совершенно неосновательно; не Бестужеву с пользой заниматься словесностью; он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы. Перевесть его можно, но в другой батальон».

** Письмо от 19.12.1836 («Отечественные Записки», 1860, май—июнь—июль).

доме с переводчиком при Розене, нухинским жителем Мирза-Фехт-Али (Ахундовым), принялся, чтобы не терять времени, брать у него уроки восточных языков. Здесь в середине февраля донеслась до него страшная весть: Пушкин убит. Какая-то генеральша, возле которой Бестужев устало повторял молодость, сообщила ему об этом как новость, только-что услышанную во дворце главнокомандующего. Александр Александрович схватился сперва за сердце, потом за голову, зашатался и упал на диван в оцепенении. Ночь прошла без одной минуты сна. Тишина говорила, кричала голосом погибшего поэта. Тьма сверкала его глазами, улыбкой, по-юношески беспечной, — другой Бестужев уже не видел. Несколько раз Александр Александрович ловил себя на беззвучном рыдании — челюсти щелкали, грудь сжималась, — нет Пушкина!

На рассвете он побежал к монастырю св. Давида и, позвав священника, велел петь панихиду на могиле Грибоедова. Странным образом, — он не спрашивал себя, почему это, но знал, что это правильно, — оба поэта, жестоко, насильственно выброшенные из жизни, соединялись в его сердце и одним мучительным горем его наполняли. Он плакал огненными слезами о друзьях, о товарищах по любимому делу, о самом себе. Священник возглашал надтреснутым тенором, словно тарелки бил:

— О блаженном успении вечный покой... О упокоении душ убиенных боляр Александра и Александра...

Бестужев шептал, закрыв лицо ладонями горячих рук:

— И я, и я...

Он тоже был болярин Александр и не сомневался в том, что его смерть близка и жестока. Не только напоминанием, но и предупреждением звучали мрачные панихидные песни. Поп пробормотал последнюю мо-

литву и ловко спрятал ассигнацию в набрюшный карман, под крест.

Бестужев медленно спускался с горы и думал: «Какая тяжелая судьба всех современных поэтов! Что же касается Дантеса, виноват ли он, или просто несчастлив быть убийцей Пушкина, — бог мне свидетель, что мы не разойдемся при первой встрече. Берегись, Дантес!» Эти самые слова вписал он в грустное послание брату Павлу от 23 февраля 1837 года.

Живя в Тифлисе, Бестужев вновь ощутил с неожиданной силой наплыв тоски по семейному счастью. Офицерские эполеты, которые он теперь носил, мало изменили политическую сторону его положения, но они рождали в его впечатлительной, взволнованной душе теплые иллюзии. Как это случилось, почему это вдруг показалось возможным и желанным, — он и сам не знал. Но он это сделал: сел и написал письмо в Москву, к белокурой княжне Дашеньке Ухтомской, с формальным предложением руки. Ему было известно, что она не замужем.

13 апреля он был в Кутаисе и явился в Грузинский гренадерский полк, с которым ему предстояло делать экспедицию сперва в Цебельду, а затем на мыс Адлер.

«Термопилы перед этой дорогой — Невский проспект», — писал Бестужев из Кутаиса Прасковье Михайловне *.

Речь шла о походе в Цебельдинское горское общество — подоблачный притон «хырзысов» **, беглецов от кровомщения и русских дезертиров. Диверсия в

* Письмо от 13.4.1837 («Отечественные Записки», 1860, май—июнь—июль).

** Разбойников.

Цебельду имела целью вырвать несколько сотен пленных солдат, наказать укрывателей и укрывавшихся. Отряд вел сам Розен; с верховьев реки Кодора, где жили цебельдинцы, он хотел спуститься в Сухум-Кале, посадить здесь войска на корабли и, выбросив десант на мысе Адлер, уничтожить тамошнее гнездо контрабандной торговли с Турцией. Таков был план экспедиции.

С Цебельдой покончили в три недели. «Хырзысы» охотно отдавали пленных и предпочитали перестрелкам дипломатию. Поход обошелся без убитых и раненых. Бестужев командовал стрелковым взводом 2-й гренадерской роты — народ видный, но не обстрелянный и без всякой сноровки к горной войне. С ними Александр Александрович пришел к концу мая в Сухум. Все здесь было ветхо, гнило и грязно. Стены старой турецкой крепости, устроенные в прошлом веке французскими инженерами, подмывались морским прибоем. Деревянные бараки гарнизона разваливались. Духаны в форштадте продавали только водку, чихирь и табак. Люди были желты, худы и апатичны. Это самое ожидало Бестужева в Гаграх, если бы не удалось ему ускользнуть живым из могилы.

Дня за три до посадки на суда Александру Александровичу случилось обедать у главнокомандующего. Барон относился к загнанному офицеру не без любопытства.

— Читали ли вы, Бестужев, — спросил он,—поэму Мирзы-Фехт-Али, написанную им на смерть Пушкина?

Переводчик покраснел. Он, действительно, написал такую поэму и поднес ее Розену.

— Не читал, ваше высокопревосходительство, — отвечал Бестужев.

— Как же это? Прочитайте, да и переведите на русский язык...

В тот же вечер Бестужев приступил к делу и до самой посадки не расставался с Фехт-Али. По искренности чувства, теме и гладкости цветистых стихов поэма заслуживала перевода.

Не предавая очей сну, сидел я в темную ночь
И говорил своему сердцу:
— Отчего замолк попугай твоего красноречия?..
Отвечало сердце: — Товарищ моего одиночества, оставь меня...
Не говори мне о поэзии...
Разве ты, чуждый миру, не слышал о Пушкине?..
Прицелились в него мертвой стрелой.
Исторгли корень его бытия...
Будто птица из гнезда, упорхнула душа его.
И вот... седовласый старец-Кавказ
Отвечает на гибель его
Стоном в стихах Симбухия.

Симбухий было литературным псевдонимом Мирзы-Фехт-Али.

Амбаркация * кончилась. В ночь на 3 июня эскадра из восемнадцати судов вышла из Сухумского рейда. Корабли несли на себе десантный отряд в составе 4 тысяч человек. Бестужев попал на фрегат «Анна», с которым шли корпусная квартира, сам Розен и начальник штаба генерал Вальховский. Утро Александр Александрович встретил на борту. В солнечных лучах быстро двигался лес мачт. Солдаты на корме громко гуторили. Боцман со свистком на медной цепочке бегал, перепрыгивая через спавших. Корабли

* Посадка на суда.

шли двумя линиями. Солнце лежало на гладком, сиявшем всеми отливами чистейшего золота, море. Темной полоской маячил справа кавказский горный берег.

5-го числа гренадеры Грузинского полка приуныли. Песни замолкли, глаза неподвижны, смотрят на солнце — плохой знак. Кто-то из офицеров сказал Бестужеву:

— Вот, когда бы вам подбодрить молодцов....

Александр Александрович спустился в каюту лейтенанта Зорина и живо настрочил на клочке серой бумаги песню на голос: «Как по камням чиста реченька течет»...

Песня понравилась. Запевалы принялись ее разучивать. Через час на корме гремело:

Плывет по морю стена кораблей,
Словно стадо лебедей, лебедей.
Ой, жги, жги, говори,
Словно стадо лебедей, лебедей.

. . . .

Розену доложили. Он довольно кивнул седой головой. На следующий день под звуки бестужевской песни эскадра вышла на высоту мыса Адлер, а 7 июня подтянулась к берегу сажен на двести пятьдесят, построилась в боевую линию и бросила якоря.

— Что грустны? — спросил Бестужева флаг-офицер лейтенант Зорин, — солдат веселите, а сами... Не дело!

Это было рано утром. Бестужев смотрел на плоский берег мыса, незаметно переходивший в зеленые уступы лесистого под'ема. Налево темнел профиль горы, далеко высунувшейся в море и очертаниями своими разительно напоминавшей гигантского алигатора. То, что открывалось за лесом и за Крокодильей горой, выглядело дико-грандиозным. Вершины дальнего

хребта казались такими близкими к прекрасному небу, что Бестужеву захотелось кричать о свободе, о счастье, о вечности, несущей человеку мир и радость. Он вдруг понял, почему древние изображали вечность в виде змеи, свернувшейся кольцом: вечность жива, как природа; природа — бесконечна, как вечность.

Услышав вопрос лейтенанта, Бестужев ощупал себя руками, чтобы убедиться в реальности впечатлений, растворивших в себе его душу. Они были реальны, эти впечатления, но Александр Александрович знал, что они — последние. Сегодня он покончит со всем.

— Вы знаете, — сказал он Зорину, — нынче я буду убит. Пойдемте в каюту к вам, я напишу завещание.

Зорин пожал плечами, — отговаривать не следует: вдруг и впрямь будет убит.

Бестужев написал один за другим три экземпляра этого печального документа. Первый подписал сам. Другой как копию попросил заверить Зорина. На третьем поставил скрепу командир Грузинского гренадерского полка полковник граф Опперман 1-й.

Вот текст завещания:

«1837, Июня 7. Против мыса Адлера, на фрегате «Анна».

Если меня убьют, прошу все, здесь найденное, имеющееся платье отдать денщику моему Алексею Шарапову. Бумаги же и прочие вещи небольшого об'ема отослать брату моему Павлу в Петербург. Денег в моем портфеле около 4 500 р.; да 500 осталось с вещами в Кутаисе у подпоручика Курилова. Прочие вещи в квартире Потоцкого в Тифлисе. Прошу благословения у матери, целую родных, всем добрым людям привет русского.

Александр Бестужев».

По бугристым скатам гор тянулись вниз слои перламутрового тумана. Пробираясь сквозь зубчатые расселины, они походили на потоки лавы, стремящейся из жерла вулкана. Скалы выставляли из тумана свои остроконечные верхушки, разрезая упавшие на них лиловые облака. Ровная гладь мыса чернела галькой и взрытой землей. С флагманского корабля дали сигнал, и шлюпки, наполненные солдатами, направили грузный бег к берегу. Бестужев прыгнул в лодку со своими стрелками. На передовом баркасе стоял Вальховский, он командовал десантом. Корабельные орудия ядрами косили на берегу вековые деревья. Море и горы грохотали, отдавая эхо. Вмиг засыпало, разбросало береговые завалы. Шлюпки подошли на картечный выстрел и открыли огонь из фальконетов. Было видно, как горцы очищали свои укрепления, отходя в лес и слабо отстреливаясь. Вальховский сошел на берег с 4-м батальоном Мингрельского егерского полка и занял опушку леса застрельщиками из егерей и милиционеров имеретинской дружины. Затем вызвал охотников в передовую цепь. Бестужев подбежал.

— Не забудьте меня, ваше превосходительство.

Вальховский глянул строго.

— Не спешите, вы для другого нужны России.

— Ваше превосходительство!

Генерал промолчал, значит, согласен. В цепь пошли охотники-мингрельцы с четырьмя офицерами, Бестужев — пятый. Егеря живо рассыпались по лесу. Горцы уходили без выстрелов. Бестужев продирался сквозь чащу папоротников, перевитых колючками. По сторонам мелькали серые шинели. Вдруг все остановилось перед плетнем, за которым неистово лаяли собаки. Лес пройден, и цепь у выхода из него натолкнулась на аул. Редкие выстрелы сбивали листья с де-

ревьев; пули глухо шлепались о кору диких каштанов и чинар. Бестужев оглянулся и увидел недоуменные лица стрелков. На каждом из них был написан вопрос: а где же резерв? Действительно, никакого резерва не было. Солнце ударило сверху и разогнало величественный сумрак леса. Слева что-то сверкнуло. По блеску серебряных эполет Бестужев узнал старшего ад'ютанта штаба корпуса, драгунского капитана Альбрандта. Вопрос решался просто: Альбрандт — старший.

— Вперед! — закричал капитан страшным голосом.

«Вот сумасшедший,—подумал Бестужев, — неужели он собирается итти на аул с одной цепью? Все лягут...»

Выстрелы становились чаще, и вдруг густой град свинца прыснул в цепь.

— Вперед! — кричал Альбрандт, размахивая саблей.

К нему подошли командир имеретинской дружины князь Цулукидзе и какой-то прапорщик Мингрельского полка в новеньком сюртуке. Кажется, они уговаривали его быть осторожным.

— Вперед! Не трусить!

Горцы кинулись на цепь в шашки, — закипело жаркое дело.

— Бегите к генералу за сикурсом, — крикнул Альбрандт Бестужеву.

Цепь двигалась вперед в беспорядке, без связи. Александр Александрович приметил прапорщика-мингрельца, осторожно пробиравшегося сквозь чащу и старательно охранявшего от колючек свой франтовской сюртук.

— Господин офицер, куда вы идете?

— Не знаю, — отвечал прапорщик со злостью, — спросите ад'ютанта, который командует.

Бестужев махнул рукой и пошел назад — исполнять приказание сумасшедшего капитана. Пули сыпались горохом—не мелко и дробно, а пачками,—признак ожесточения горцев, стрелявших обычно без команды в разнобой. Александр Александрович исправно обменивал одну пулю на другую до того, что ложе ружья, которое он выхватил из рук убитого солдата, стало горячим. Горнист заиграл сигнал: «Строить карре!» Не кончив, присел, странно ерзнул на месте и запрокинулся навзничь. «Опомнились»,—подумал Бестужев и шагнул через горниста. Словно удар бревном сразмаху пришелся ему по груди и пришиб к дереву. Коленки подломились, голова отяжелела, как кирпич, и деревья закружились в солнечном блеске. «Ага, вот оно!» Бестужев крепче уперся спиной в ствол чинары и с огромным усилием поднял голову. Цепь отступала. Прапорщик в новеньком сюртуке остановился возле него.

— Ребята, взять офицера! Тащите! — крикнул он, и двое солдат подхватили Бестужева под руки и повели. Пули свистели, горцы гикали. Бестужеву казалось, что он плывет по гребню широкой, разноцветной волны.

— Бросай, — сказал один из солдат, — не дотащим...

Это было на поляне, посредине которой стоял огромный, обгорелый дуб. Опять — прапорщик в сюртуке...

— Что делать, ваше благородие? Бросать, что ли?

— Ничего, ничего, дерись, ребята, — отвечал прапорщик, пробегая мимо, — главное, до своих добраться...

Уже лежа возле дуба, Бестужев еще раз открыл глаза и увидел не меньше десятка стальных полос, со

свистом взлетевших над ним. Его рубили, и каждый удар шашки, приходившийся по теплому телу, врывался в него холодным потоком утреннего воздуха и огненной болью...

ЭПИЛОГ

Рука Бестужева, сочувственным пожатьем
Сжимавшая мою, от бранного меча
И быстрого пера оторвана проклятьем
Жестокости людской...

Мицкевич.

Мыс Адлер был занят русскими. 8 июня происходил размен телами. Труп Бестужева не отыскался. Сами горцы не могли найти его. Милиционеры гурийской милиции обнаружили, однако, на теле убитого убыха * пистолет, который многие признали за бестужевский. О занятии мыса Адлер главнокомандующий барон Розен доносил в Петербург так:

«Высочайшее указание приведено мною в точное исполнение: мыс Адлер, служивший для большей части обитателей северной покатости Кавказа привольным местом к произведению деятельной торговли с турками и других, вредных для нас, сношений, занят нашими войсками без значительной потери»...

Затем перечислялись убитые офицеры: Мингрельского егерского полка штабс-капитан князь Туманов и подпоручик Мищенко, Черноморского линейного № 10 батальона прапорщик Бестужев, Грузинского линейно-

* Горское племя, жившее на южном склоне Кавказских гор, между джигетами и шапсугами.

го № 4 батальона прапорщик Запольский, Мингрельского ополчения урядник князь Пхейдзе.

В «Литературных Прибавлениях» к газете «Русский Инвалид» появилась статья Каменского:

«Вот еще разбитая лира, еще исчезнувшая знаменитость литературная; еще утраченный писатель: Марлинский умер»...

Цензор А. В. Никитенко записал в дневнике: «Новая потеря для нашей литературы: Александр Бестужев убит. Да и к чему в России литература!»

Жалеть погибшего писателя сделалось модой. Вдруг размножились его «друзья», декламировавшие по помещичьим гостиным страницы из «Аммалат-бека». Многие из приезжих с Кавказа офицеров показывали дружеские записочки Бестужева с просьбами, вроде:

— Деньги выслал, а чаю до сих пор нет.

Серебряный эполет Бестужева оказался в Петербурге, Москве и в провинции такой же частой редкостью, как сапог Карла XII или перчатка госпожи де Сталь.

Особенно интриговали странные подробности гибели писателя: не найден труп. Как это может быт? Приезжих с Кавказа девицы осаждали вопросами:

— Ах! Скажите, там ведь ужасно: умирают и убивают?

— Случается..

— А что Марлинский? Ах, Аммалат-бек! Бедный полковник! Но сам-то Марлинский, где он теперь? Правда, что он главнокомандующим у Шамиля?

— Фи, Варя! Брат писал, что он только командует там артиллерией.

— А вот, и неправда... Он занят совсем другим — он издает в горах газету.

Бестужев вторично выступил в литературе почти одновременно с «Повестями Белкина» и «Вечерами на хуторе», в тот период, когда в русской литературе начали падать лирические жанры, и вся она, по выражению Белинского, «превращалась в роман или в повесть». В 1840 году вышло в свет 3-е издание «Русских повестей и рассказов» Бестужева. Это событие послужило для Белинского поводом к тому, чтобы высказаться до конца о творчестве Марлинского. В специальной статье критик признавал, что Марлинский не без успеха старался выйти из заколдованного круга романтической формы и, приглядываясь к людям, прислушиваясь к их живой речи, раздвинуть мертвые грани литературного языка. Но поэзия его повестей — не в мыслях, а именно в языке; не в чувстве, а в лихорадочной страсти. Марлинский — внешний талант; он достоин уважения, как и всякий другой талант, но незаслуженная такими дарованиями слава свидетельствует об испорченности вкуса читающей публики.

К критическим работам Бестужева Белинский отнесся иначе:

«При некоторых недостатках, сколько в этих статьях светлых мыслей, верных заметок, сколько страниц и мест, горящих, сияющих, блещущих языком, увлекательным красноречием, резкими, многозначительными, хотя и краткими, очерками, бриллиантовым языком! Сколько истинного остроумия, неподдельной живости ума! Сколько верных отзывов и критического в них такта... Марлинский немного действовал, как критик, но много сделал — его заслуги в этом отношении незабвенны».

Романтизм Бестужева — троякий, всепроникающий.

Этот человек был романтиком в своей жизни, — об этом говорит его биография. Он был романтиком в своем художественном творчестве, — за это осуждал его Белинский. Наконец, он был романтиком и в общественной своей деятельности, — вся история участия Бестужева в декабристском движении свидетельствует о революционном романтизме его настроений и поступков. Он — типичный декабрист той формации, к которой принадлежали Рылеев, Одоевский, Кюхельбекер, Николай и Михаил Бестужевы, а это — крупное звено в общей цепи движения. Именно отсюда черпал Герцен романтизм своей ранней революционности и этим романтизмом «очищался».

Именно о друзьях Бестужева и о нем самом были написаны замечательные слова:

«Мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало» *.

---

* Ленин. «Памяти Герцена». («Социал-Демократ», № 26 от 8 мая 1912 г.)

БИБЛИОГРАФИЯ

Ленин. Памяти Герцена. II. 1920.

Восстание декабристов, материалы, тт. I, II, III и VIII, М. 1925—1927.

Декабристы, материалы и документы. М. 1926.

Декабристы, неизданные материалы и статьи. М. 1925.

Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов. М.—Л. 1926.

Воспоминания и рассказы деятелей тайн. обществ. 20-х гг. М. 1933.

Декабристы, отрывки из источников. М. 1926.

А. Пресняков, 14 Декабря 1825 г. М.—Л., 1926.

Декабристы, материалы для характеристики. М. 1907.

Декабристы и их время. М., 1932.

Четырнадцатое декабря, сборник. Л. 1925.

14 декабря 1825 и император Николай. Лондон, 1858.

А. Бороздин. Из писем и показаний декабристов. М. 1906.

М. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. Киев, 1906.

М. Довнар-Запольский. Идеалы декабристов. М. 1907.

В. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПБ, 1909.

П. Щеголев. Декабристы. М.—Л. 1926.

Н. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев. М. 1933.

Б. Базилевский. Государственные преступления в России в XIX в. СПБ, 1906.

Н. Котляревский. Декабристы кн. А. Одоевский и А. Бестужев. СПБ, 1907.

Н. Котляревский. Рылеев. СПБ, 1908.

К. Рылеев. Полное собрание сочинений. Т.т. I и II. М. 1906—1907.

Н. Шильдер. Император Александр I, т. IV, СПБ, 1905.

Н. Шильдер. Император Николай I, т. I. СПБ. 1903.

«*Отечественные* Записки». 1860.

«*Русский* Вестник». 1861, 1864, 1867, 1869, 1870, 1893.

«*Русское* Слово». 1860, 1861.

М. Корф. Восшествие на престол императора Николая I. СПБ, 1857.

Воспоминания бывших питомцев Горного института. СПБ, 1873.

Е. Вейденбаум. Кавказские этюды. Тифлис, 1901.

К. Давыдов. Несколько слов о смерти А. А. Бестужева (Марлинского), «Московские Ведомости». 1861.

Бестужевы. Воспоминания. М. 1931.
А. Беляев. Воспоминания декабриста. СПБ. 1882.
Ф. Вигель. Воспоминания. М. 1864.
С. Волконский. Записки. СПБ, 1901.
А. Гангеблов. Воспоминания. М. 1888.
Н. Греч. Записки о моей жизни. СПБ, 1886.
Грибоедов в воспоминаниях современников. М. 1929.
Д. Завалишин. Записки декабриста. Мюнхен, 1904.
П. Каратыгин. СПБ, 1880.
А. Кошелев. Записки. Берлин, 1884.
Я. Костенецкий. Из воспоминаний. «Русская Старина», 1900
В. Кюхельбекер. Дневник. Л. 1929.
Н. Лорер. Записки. М. 1931.
М. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. II, 1922.
А. Никитенко. Записки и дневник, т. I. СПБ, 1893.
К. Полевой. Записки. СПБ, 1888.
А. Пушкин. Дневник. М.—Л. 1923.
А. Розен. Записки декабриста. Лейпциг, 1870.
К. Толь. Журнал о декабрьских событиях 1825 г. СПБ. 1910.
С. Трубецкой. Записки. СПБ, 1907.
Н. Тургенев. Россия и русские, т. I. М. 1915.
Г. Филипсон. Воспоминания. М. 1885.
И. Якушкин. Записки. Лондон, 1862.
А. Шишков. Записки, т. II. Берлин, 1870.
Полное собрание сочинений А. Бестужева в 12 томах, СПБ, 1847.
«*Полярная* Звезда». 1823, 1824 и 1825.
Альманах «Звездочка» 1826 года, — «Русск. Арх.», 1869 и «Русск. Стар.» 1883.
В. Белинский. Собрание сочинений, т. V. СПБ, 1901.
Русская проза XIX века, сборник. Л. 1926.
С. Венгеров. Критико-библиографический словарь, т. III, СПБ, 1892.
М. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПБ, 1909.
Б. Модзалевский. Роман декабриста Каховского. Л. 1921.
«*Красный Архив*», 1928, т. 29.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Зав техн. редакцией Л. ГЕРАСИМОВ
Обложка Г. С. БЕРШАДСКОГО
Гравюра на дереве А. М. КРИТСКОЙ
Корректор И. СЛОНИМСКИЙ
Издатель Жургазоб'единение
Уполномоченный Главлита Б—30214
Тираж 50 000. Зак. тип. 854. Изд. № 35
Сдано в набор 22/XII 1937 г.
Подписано к печати 11/II 1938 г.
Формат бумаги 72×110/32
Кол. п. л. 13 1/8 56 000 зн. в печ. листе
Типография и цинкография
ЖУРГАЗОБ'ЕДИНЕНИЯ
Москва, 1-й Самотечный, 17.

12.–

Цена 3 рубля

Журнально-газетное
об'единение
Москва